Виктор Козько

На крючке

Минск
2020

Белорусский писатель Виктор Козько родился 23 апреля 1940 года в городе Калинковичи Гомельской области. Воспитывался в вильчанском и хойникском детских домах. Долгие годы его жизнь была связана с Сибирью, где будущий писатель работал на шахте, в геологоразведке. Потом была журналистика, работа в газетах и на радио в Кемеровской области, заочная учеба в Литературном институте им. Горького в Москве.

В 1971 году В.А.Козько вернулся на родину. Работал в редакциях газет «Чырвоная змена», «Советская Белоруссия», журнале «Неман», был секретарем Союза писателей БССР. Первой его книгой стала повесть «Високосный год», опубликованная в московском журнале «Новый мир». Член Союза писателей СССР с 1973 г.

Автор книг «Судный день», «Колесом дорога», «Бунт невостребованного праха», «Хроника детдомовского сада», «Время собирать кости», « Сказ про кота, который смеялся» и др. Книги В.Козько издавались в Польше, Болгарии, Чехословакии.

Виктор Козько – лауреат Государственной премии имени Якуба Коласа, премии Ленинского комсомола, премии Ежи Гедройца (за книгу «Час збіраць косці»).

Исповедь дорог
и преткновений

Перевод с белорусского автора

Эта книга, насколько должно быть прозе, насквозь автобиографична. И в то же время моя фактическая биография отсутствует в ней почти начисто. Я только приближаюсь к прожитому и тут же бегу от него. Это больше биография с географией пространства и времени, в которых я вольно и невольно пребывал счастливо и не очень, вынужденно и по собственному хотению. Отсюда и такой кажущийся сумбур, единение автора с обстоятельствами его движения по жизни: одновременно – биография, география, время, действительность и воображение. Истинно и неопровержимо наше, с чем приходим и уходим.

И потому такие крутые повороты. Разобщение, слияние и разбежка времен. Опережение, забегание вперед себя, топтание на месте и вздернутость. А вместе с этим осознание предписанного течением судьбы и ее диктатом. Всплески, гоны и погони, сон и миражи – мерцание во сне и наяву. Созерцательно горькое пленение бытом, невозможность или не желание его переменить. И бунт, отторжение – предопределенное иной раз кажется случаем. А в действительности – судьбой, сутью натуры, характера, что и определяет нас как сущность. Так было, так есть, так будет. Таково уж свойство нашей природы, а в большей степени нашей мятущейся памяти, диктующей спиральность нашего бытия и несбыточность благих намерений.

Ощущение близости и, может, даже соприкосновения с кем-то равным или даже превосходящим тебя. Подобно изобретению велосипеда– открытие себя и окружающего мира. Осознание, радость и щемящая горечь близости и недоступности того, с чем ты приходил сюда. И надежда, что дальше, в следующий раз…

Все это я по мере моих возможностей отслеживал в себе. Добросовестно ловил мгновения, увы, уже отошедшие, запоминал, хранил в памяти, что впрочем, присуще каждому из нас и является нашей внутренней биографией, жаждущей дления, поиска, движения, дороги, правдивой и обманной памяти.

Виктор Козько

На крюке

Рыбацкая повесть в рассказах

Вязкая горечь памяти

Недаром у нас на Полесье говорят: на Марка и бабе в хате жарко. Оправдалось это и в Москве. Как раз на этого самого Марка, в ночь с восьмого на девятое мая, словно какая-то неведомая сила выбросила меня с друзьями из прокуренной, заваленной учебниками комнаты общежития Литинститута в предпраздничную дрожь улицы. Решено было не менее не более, как немедля ехать на рыбалку. На Оку. Почему взбрела в голову та Ока, ни я, никто другой не знал. Но именно я загорелся желанием рыбалить, и именно на Оке.

Ни во сне, ни въяве никогда не виденная мной Ока мысленно ожила в красках и звуках. Игривая, струйная – влекущая. Будто невидимый бес подталкивал меня в спину и тащил за воротник к ее омутным водам, с обжигающе огненного бездонья которых одноглазым цербером вызревало солнце. Я явственно слышал его зазывный клич, посвист моей рыбацкой лески. От перьевого поплавка с красноголово торчащим над водой завершьем кругами расходилась вода.

Все это словно выхватилось из цветного детского сна. Сна ребенка беспамятного, может, и не рожденного еще – в водном лоне матери. Такая призрачная зыбкость окутывала и колыбельно покачивала в своих объятиях и многомиллионный город с призрачными в движении прохожими, в один цвет машинами, цветно мигающими светофорами, выразительно обозначенными повисшими в полусумерках над чернильным асфальтом пастями подземных переходов. Надо всей Москвой с искусственно завышенным освещением неземным серебром сверкала Останкинская башня, словно кто-то из далёкого космоса распростер над городом громадный медицинский шприц. И мы неуклонно и торопливо набегали на его прозрачно подманный свет, как возбужденно стремятся к свету в темени ночные мотыльки и бабочки, окрасом, сыпким прахом крыльев и объёмами вздутого тела похожие на нежить не наших миров.

Улицы были полупустынны. Мы бежали, гулко и далеко вперед тупая по асфальту, похоже, сразу спешно вымершего города. Встречно и попутно смотрели в лицо и спину насупленными татарскими тюбетейками и искушающими матрешковыми косынками державные лобасто-головастые башни и округленные купола церковных православных храмов – родоводные инь и янь Московии. Парализованно испуганно гасла и зажигалась вновь реклама

зарешеченных и замкнутых магазинов. И лишь железнодорожный вокзал, не деля время на ночь и день, бредил, тризнил движением и жизнью, призраками скособоченных, искривленных фонарными тенями людей, плоско втоптанных и стоптанных теми же людьми.

Но, несмотря на это, мы почувствовали облегчение. Дородные старушки на привокзальной площади профессионально и бойко торговали подмосковной, еще не набравшей действительной своей краски и силы ранней сиренью, привозными, скорее узбекскими, перекупочными тюльпанами. Торговая жажда вытолкала их ближе к фонарям, ночь же и темень отступили и хищно притаились в едва проглядных оскалах переулков и скверов. Над громадой вокзала проломно лежало вокзальное небо, будто огромная овчина, просторядина, произведенная, сотканная на около-железнодорожных кроснах из вязи языков, наречий, одеяний, люда, который тут роился.

Людское штатское сонмище было густо разбавлено солдатами, которые, похоже, кого-то или что-то искали, выслеживали. Воздух был наполнен настоем отживших цветов, дешевой женской парфюмерии, солдатского гуталина – предожиданием слияния, соития их.

Отособленное вокзальное небо игриво подрагивало, словно женские груди в движении, созданные лишь ради того, чтобы должить жар и страсть полесской женщины в Марков день, а скорее, его ночь, пробуждая тусклые догадки: несовместимости уличных запахов первых цветов, скипидарной пронзительности того же гуталина, праздника и праздничности, а за этим светлого желания собственного дления, невольно излучаемое едва ли не каждым на привокзальной площади, самой площадью.

Душа утешно сжималась, радостно откликалась на все свои и чужие движения, цвета и запахи. И было непонятно, почему и откуда это, где заканчивается одно и начинается другое. Все было касательно слито в одно единое целое, но одновременно и разное. Кто-то невидимо ткал из нашего сознания реальность и нереальность нашего прошлого, настоящего, а может, и будущего.

Время было позднее и не определенное, шаткое и сумбурное. Последняя электричка ушла в ночь. Вокзальные сутолока и томление, преддорожная парализованность ожидания бросали нас из одного зала в другой, пробочно выталкивали в закупоренность обманного рассвета, гнали на платформы, на улицу. Ситцево накрапывал мелкий дождик-ситничек. Влажные, пахнущие свежей краской скамейки не в силах были охладить наше нетерпение и молодое ожидание.

Серпухов потягивался и позевывал, только-только просыпался, когда мы оказали себя в нем. Свежеумытые, блестящие утренним лаком автобусы

обручальным кольцом полонили посреди площади города единственный, как указательный палец, столб с массивными, вроде грачиного гнезда, часами на самой его верхушке. На площади возле этого столба подрёмывали в ожидании, когда утреннее солнце подымет и распрямит стрелки часов, водители автобусов с кондукторами. Гламурно оманикюренная молодая листва, неспособная еще даже удерживать на себе солнечных лучей на обезглавленных или стриженных под Котовского тополях, застывший в одуме над своей метлой горбатенький дворник и сами водители автобусов на скамейках под часами и в сквере, разомлело и сладко выжидали, докуривая, паля время, того же мгновения. Ждало его утро. Ждало солнце. Ждало небо вместе с нами.

Но вот взорвались боем куранты. И все пробудилось. Зашаркал метлой, запоклонялся площади горбатенький гном-дворник. Взнялись со скамеек водители автобусов. Асфальт, листва дерев и сами дерева занялись усмешкой утреннего солнца. Его приветливость оживила и нас – словно и не было обморочной ночи и нашей бессонной суеты и глупого нетерпения.

Ока уже была рядом. Автобус рушил тишину, поглощая дорогу, ведущую к Пущину. Над сиреневo окрашенным утренним асфальтом курились и скрадывались рассветом то ли дымок, то ли еще ночная шоссейная испарина, синенький туманок обочинных кюветов. Такой же, только гуще и взлохмаченно белесой и цепкой синевой была застлана и река, наплывающая на нас, будто подвешенная в невидимой зыбке.

Узенькая, но до твердого протоптанная тропинка своенравно и круто повернула из-под наших ног среди голого поля. Захудалыми шаткими мостками, паутинчато висящими над пастями, прорезами рвов и старых оврагов, поросших прошлогодним, но все еще сохраненным и колким на вид репейником, полынью, татарником, а кое-где и редким кустарником, потянула, повела нас от хрущобно-хрушчевского Пущина к Пущину пушкинскому. Древне-деревянному, с задумчиво застывшими белым пухом, сивизной вечности над красно нависшими глинными обрывами, укрытыми белым цветом слив и груш, будто саваном или свадебной фатой невесты.

Довела и явила нашему оку уродство, едва ли земное. Надо сказать, уродство прекрасное, но тем не менее. Нечто ползущее, подвижно гибкое из глубин земли, словно заарканившее саму Землю. Длиной под добрый километр, плетеное из белых, кругло гнутых ребер, вроде скелета громадного доисторического ящера, в свое время прилегшего тут, да так и сотлевшего. Мне в первое мгновение показалось это продолжением или порождением Останкинской телебашни. Так оно, по-всему, и было.Так задумывалось и создавалось. Антенна – стетоскоп или шприц для подкожно-мозгового вливания и всеслышащее ухо в прошлое и будущее: Родина слышит, Родина знает.

Между этим прошлым и будущим тогда весело и светло струилась река. На бледноватом меловом обрыве над ней сумрачно покачивался молодой послевоенный уже лес, к которому тулились старинной цветной росписью доживающие свой век хатки.

Последний поворот тропинки. Последний дом – длинный полуобгорелый барак, присадисто припавший к земле, неуклюжий, как грач на голой зимней груше. А за ним – всем ветрам нараспашку прошлым годом вспаханное и уже горбушечно серо зачерствелое поле. На краешке его – белая кипень черемухи. Такая свадебная фата, что у невесты-черемухи и ног не видать. Одно только – вольный разлив весенней воды, речке не хватает челна да весла. А может, они есть, но полностью сокрыты пеной фаты.

Чумазый рябой работяга-буксирчик хромой уткой ковыляет по волнам. Тащит длинное веретено барж. Баржи одна в одну большие, утконосые, толстозадые. Идут не очень охотно, словно волы в ярме и на веревке. На песчаную косу лениво накатываются речные волны, теряют сукровично-рыжую пену и беззвучно возвращаются опять в речку. Каждый наш шаг кладется печатью на влажном песке.

Берег остро оскален сухими бамбуковыми зарослями, густо заставлен памятниково-окаменелыми фигурами рыбаков. Мы подошли к одному из них. На длинном кукане равнодушно зявил жабры, хлюпал ртом, чуждаясь, похоже, реки, сизый в холодной воде и уже порядком обессиленный окушок. Весь улов. Вопреки теплому парному утру, на рыбаке – солдатский бушлат, зашпиленный на все пуговицы под горло. Возле него под раскладным стулом сиротливо стыла консервная банка из-под кильки в томате с червями. На стуле в спичечных коробках – мурашиные яйца с заполошыми муравьями, мотылём. В отдельных баночках, скляночках и тюбиках из-под зубной пасты – перловка, тесто, опарыши и еще что-то, уже неведомое нам: семью прокормить можно, и себе на закусь останется.

– Не желает, хоть застрелись, не берет. Хоть ты его дустом или сам на крючок. Окунь, понятное дело, еще нерестится. Щука после зимы зубы меняет. А тут еще то ли новолуние, то ли полнолуние. И ветер восточный, и год високосный…– В продолжение своего печального монолога рыбак не сводил глаз с посинелого в одиночестве окунька, словно жаловался на него и ему. Тот же лишь по-птичьи пошевеливал жидким еще хвостиком.

Буксир давно уже минул нас, черными и белыми дымами потерялся в разливе воды, словно растаял. Ока опустела, даже движения воды, течения не чувствовалось. Лишь изредка и местами, скорее, на вирах и ямах, расходились, забирая вширь, как по циркулю, водные круги. Будто кто-то там, в глуби, хотел пробиться на белый свет, вдохнуть воздуха. Хотел и не мог, а может, не давали.

Заблудившийся, пробегающий мимо ветер сорвал с одинокого вблизи берега дерева – корявой и загущенной при корнях и с боков пасынками, дикой порослью грушки – подбросил к моим ногам саванные останки так до конца и не довитого птичьего гнезда. Вконец разрушенного, с торчащими во все стороны космами пакли, небрежно оббитой и невытрясенной кострицей, пожелтелыми былинками сухой травы, мятого птичьего пуха. Не жертвенно ли выскубанного птахой из своего материнского тела.

Какому божьему творению принадлежало гнездо – синичке, камышовке, малиновке, зорянке? Как же изнемогала она, нося в клюве, в ломких спичечных лапках, раскиданное по берегу для всех прочих непотребство, а ей – дом. И один порыв ветра – и все прахом. Неуютно, горько и слезно глазу от чуждости белого света, его равнодушия перед жизнью и живым.

В поисках клёвого места мы брели вдоль берега вверх по течению Оки, высматривая тихую и неглубокую прогретую заводь, где щука, может, поменяла уже зубы, а окунь отнерестился. Неожиданно укрытый вербами плёс отвел нас от реки, заброшенным просёлком спровадил к озеру с покатыми берегами. Подходы к нему дались нам с трудом. По всей озерной глади царила половодная ровность воды, из которой выбивалась прошлогодняя бурая трава. Под ней, очевидно, бралась уже и новая травица. Купами чернели лозовые кусты, отмершие или бессильные в воде брызнуть молодым листом.

Царили тишь и покой. Только изредка всхлипывала потревоженная, наверно, нами же птица. Не та ли, бездомница, потерявшая хату. Молилась небу, прося у него и, не исключено, у нас милосердия и крова.

Среди травы и лоз мы нашли окошко. Сделали по первому забросу и сосредоточились на поплавках. А они стояли нерушимо. Нам оставалась, как на свечку в церкви, только молиться на них. Медитировать, подобно йогам или заклинателям змей.

Безмятежная сонная синь неба, запрокидывающееся за горизонт озеро, нежная и ярая одновременно зелень трав, трогаемых только шмелями – все было так повторяемо обычно, и в то же время так ново, что вскоре мы, словно молодые телята, впервые выпущенные на выпас, забыли, зачем и почему оказались на берегу этого озера. Забыли о современном и древнем Пущине с его подслушивающим уродом. Напрочь забыли о наших молчаливых поплавках и лесках, впаянных в ртутную неподвижность озера.

Вскоре я уже просто полеживал в траве, ни о чем не думая, смотрел в небо и как бы сквозь него, не сознавая этого, а также и того, что это я тут разлегся посреди России. Поседелые, дымчатые облака тихо сплывали в никуда, подхватывая меня и заколыхивая. Я заблудился, потерял себя среди молодо восстающей травы, неба и тиши. Не знаю, как долго это длилось. Нашелся, восстановился спешно, неожиданно и сразу. От захвативших врасплох непо-

нятных голосов и звуков, пронзивших и потрясших меня. Словно я поменялся с кем-то телом и сам начал голосить и звучать. Будто во время церковной службы только-только зачинает одной единственной сорванной нотой подавать голос прихожанам и небу с колокольной высоты орган.

Звук повышался, безостановочно и безмерно множился вширь, даль и даже вглубь, в землю, на которой я лежал, будто оттуда он и исходил или я сам его рождал. Разрастался, набухал басами, входя в силу, так что дрожало и небо. И было тревожно за него, чтобы не разверзлась земля, и оно не провалилось в тартарары. Озеро зыбисто, качельно и игриво дышало на полную грудь в своем ложе, словно со дна его раскачивали или кто-то там умывался его донными криницами и напевал вспоенную ими песню без слов, подхваченную озером и всем вокруг него. Захлебывалось от умиления, хохотало поверхностно и глубинно, теряя смех в голубизне неба и его облаках.

Во мне словно что-то порвалось, струнно лопнула какая-то жилка, может лишняя, на эту минуту ненужная, или очень уж впечатлительная. Мне стало так жаль ее, что я готов был заплакать. А может, уже и плакал невидимыми слезами. Звенело рыбацким колокольчиком и детской погремушкой с горошинами в пустоте. Родилось ощущение, что все – увиденное, услышанное и пережитое – сейчас и ночью вчера, утром сегодня уже было со мной. Я осужден на повторение себя.

А озеро пенилось, пело и преображалось, хорошело на глазах, избавляясь будничности, одичания, заброшенности, смывая их волнами. Пело и подтанцовывало, музыкально подтверждая единение с землёй, небом и в какой-то мере и со мной, будто зольно сжигая меня на языческом жертвенном капище, когда человек уже и не человек в упрямой поглощенности верой и поклонением своему же безжалостному идолу и палачу – пламени, дыму и вознесением в вечность.

Хотя огонь во мне был еще легкий, сдерживаемый мною же. Только эта сдержанность казалась способной в любое мгновение схватиться пламенем. И я – сразу же в небытие. Но тут песенная озерная волна накрыла и спрятала меня от огня, обняла, охватила с ног до головы и даже что-то успокоительно ласковое шепнула в уши. Я ощутил прохладу, и не только в себе и на себе, но и в воздухе, исцеляющую и спасительную.

А в озере ничего не изменилось. Оно продолжало петь, подтанцовывать и даже кружиться, будто в нем правили день рождения, крестины, свадьбу – не само ли озеро праздновало свою же помолвку. Цугом, только белые гривы невидимой шестерки коней по ветру, скакали в свое судьбоносное начало или продолжение, а может, и в будущее, запуская впереди себя то серебряных змеев, то белых ангелов-ярочек. Первые, очевидно, были пастухами, погонщиками ярочек.

Белые ярочки-ангелы и серебряные лели-пастухи лианно-омельно сплетались в одно единое. Скорее всего, они же и пели, хором и невинно, как дети на клиросе. Голоса были чистые, кринично-звонкие, когда та же криница вприпрыжку катится по гальке. Катится, катится да вдруг упирается лбом в тупую несдвигаемость камня. Шипя и смеясь, струйно обнимает и минует его, как стрекоза, невидимым взмахом моргающих крыльев ввинчивается в солнечно согретое пространство.

Я начал уже распознавать и припоминать что-то щемящее знакомое и близкое мне в былинных переборах гуслей, напряженном стоне струн пианино и органном гуле в общем-то чужой мне воды. Что-то вскинулось в моей совсем не музыкальной, надо признать, крепко порушенной полесским медведем памяти, но очень уж невыразительно тускло, стёрто. Ко всему, прояснить память мне помешали.

Приспело время прощаться с озером. Мы ничего в нем не поймали. Даже глупого байстрючка-окушка, что полоскался на кукане встреченного нами на берегу Оки удильщика. У озера я совсем забыл про какую-нибудь рыбную ловлю. Про все забыл. Слышали или нет мои приятели озерные песни, а мне они звучали вслед, выстилали, торили тропу до самого Пущина.

Гармошками и гармониками, баянами, монистовой россыпью девичьих и женских голосов полнился и городской посёлок. На широкую улицу, похоже, высыпались все жители окраинных бараков, у каждого из которых – по высокому крыльцу, а на крыльце – по музыканту да не одному. Безгармонные наяривали на расческах с заложенной в ней папиросной бумажкой. Изредка баяны, трофейные, такого же происхождения аккордеоны, как бары, а больше гармоники – трёхрядки, тулки. В бараках доживали век преимущественно давние эвакуированные, беженцы, одной профессии – строительные чернорабочие: рязанцы, костромичы, тамбовцы. Оканье, аканье, цоканье:

Милка, цё, милка, цё,
Осерцяла ты на цё,
Али люди цё сказали,
Али выдумала цё?

Частушки, припевки с прихлопом и притопом, полупозабытые народные, фронтовые и лагерные песни с надрывом, слезой и неподдельной тоской. Пестро мелькали над головами вышитые мулине и оздобленные гарусом носовые платки и цветные, под цыганские, или цыганские яркие платки на плечах и в руках молодух. Женщины сноровисто разминали слежалую за зиму землю. Уже в годах топтуха с неохватной и довольно нахально выпирающей грудью, подобной слуцким бэрам или грушам-дулям, беспрерывно стремя-

щимся хоть на миг бесхозно погулять на воле, исповедовала хорошо подпитого мужчину, видимо, мужа:

– День Победы? А ты воевал? Ташкент штурмом брал!– Маломерная, но объёмистая, коренастая. Руки в бока, на клубы, надвигалась на туго уже соображающего, склоненного вербой мужичка: – Я тебе Смоленск, Сталинград и Берлин в одном кино покажу! И на Курской дуге не схоронишься. Таких плескачей навешаю, обалдуй, пьянь рязанская!

Женщина верещала на всю округу закладывающим уши противным высоким голосом, по-деревенски безоглядно, по-домашнему бесстыдно. Но без настоящей злости, по пилочно-женской натуре. Это понимал и ее муж, у которого на уме было только одно – закрепиться и устоять, понимали и неутомимые в танцах девчата, женщины и мужики, обсевшие гармонистов на крыльце. Сами не танцевали, подливали масла в огонь, подначивали женщину:

–Так ему! Так, пока он тёплый! Куй железный, пока горячий…

Женщина радостно распалялась, неистовствовала от возможности принародно излиться. А муж, по-всему, только привычно глупо и просительно усмехался, сыпал голубино седеющие волосы на шапочно разграниченный – загорелый и белый лоб. Ноги его уже совсем не слушались, но он не сдавался, как не сдавался и благоверной, пытался танцевать, опираясь головой на груди жены, потому что оторваться от нее и обойти был не состоянии.

Жена пыталась заглянуть ему в глаза. Но и тут он не давался – мужик все же. Делал вид, что глаза ему слепит солнце. А солнце и впрямь старалось, как за деньги, светило подвеселенному самодельной бражкой и магазинной горелицей поселковому люду, как никогда, как до войны еще, маёвничало в мире и согласии с ним. Не без его, солнца, участия столько похоронено на стенающей от боли вдали и вблизи войне, вот оно и оправдывается сейчас, прикрываясь сукровичным Днем Победы, праздником. Горячечно идя на закат, бережно припадает к молодой листве тополей, еще не оплаканной грозами и потому сопливой, слюнявой и скользкой. Зеркально дробится на ней и лучистым крошевом падает долу, под ноги танцорам.

И перемежающаяся игра света и тени, пестрые одежды и обновы – все лучшее и броское на себя, напоказ барачному люду, а ко всему трели, переливы и переборы гармоник, баянов, с быстрым лётом их перламутровых, цветных, зубков-пуговиц придавали улице праздничность, нисколько не заслоненную ни довольно грязным проточным ручьем на проезжей части дороги, ни вздыбленным бугром земли почти посреди улицы, ни видом и наносным запахом отходов обочь. Скорее, может, именно это повседневное и обыденное лишь подчеркивало ненадуманность и искренность праздника и празднования.

Потерявшая молочный зуб девчушка, притопывая в хвосте равнодушной к ней веселящейся толпы, плела венки из желтенькой подзаборной мать-мачехи и, старательно пряча щербатость, закрываясь ладошкой, одаривала ими взрослых. Стеснялась собственной смелости и щедрости. Пряталась под крыльцо, прыская смехом в смуглый кулачок.

Поселковое гуляние с песнями, музыкой и даже откуда-то появившимися бубном. Хотя, может и не такое ладное и милозвучное – нет-нет да и прорывалась в нем застарелая кручина. Оказывала себя порой даже зло, как это происходит с раной, казалось бы, уже давно зажившей и зарубцевавшейся. Но старый рубец вдруг ни с того ни с сего вспыхивает и загорается огнем отболевшей уже раны.

Я опять поймал себя на мысли, что уже видел и пережил все это. От сумасшедшего гона по белокаменной к ночной электричке под потустороннее сияние космического шприца Останкинской башни к вавилонскому смешению запахов на вокзале до музыкального песенного озера и шабашного гулянья поселково-барачного люда древнего и современного серпуховского Пущина – все ведомо мне до слезы и горечи. Одно только не мог представить, откуда во мне это веданье, эта слеза, эта боль и горечь одновременно с радостным возбуждением познавания. Когда и где я пережил эту ночь, день, вечер? Какая чистая и нечистая сила так изобретательно изводит меня призраками, привидениями, былью и небылью?

Но и на этом день не окончился. В дополнение ко всему нам пожелалось еще и «кина». «Встреча на Эльбе» – старая военная картина, уже виденная и даже приевшаяся. Только смотрели ее свежими, сегодняшнего дня глазами. И потому вышли из клуба присмиревшие и молчаливые. Уже вечерело. Девочка, которая плела и раздаривала венки взрослым, сейчас ловила майских жуков. Те прятались от нее в листве березы. Девочка на цыпочках отслеживала их. Один из самых, наверно, бойких сорвался с дерева и заплясал у ее головы. Девочка попыталась сбить его ладонями. Он не дался. Девочка обиделась и заплакала. Мы бросились на помощь.

Сталкивались друг с другом, словно играли в кучу малу, неуклюже размахивали руками и шапками. Каждому пойманному жуку радовались, словно золотому самородку, как только можно радоваться в детстве, в возрасте девочки. Пойманного мной майского жука я посадил себе на нос. В прошлом, когда я еще учился в школе, у нас была примета: переползет жук с носа на лоб – переползешь в следующий класс (в нашу бытность в школе еще оставляли учеников на второй, а то и третий год). Теперь я загадал на институт – одолею курс или сорвусь, срежусь на каком-нибудь марксизме-ленинизме с их истматами.

Жук долго щекотал и елозил, словно на жучихе, по моему уже вспотев-

шему носу. Нестерпимо хотелось чихнуть, но я терпел, как в детские школьные весны. Сейчас не получилось. Жук сорвался, хотя нос у мены был без преград, совсем не орлиный, не горбатый – типичный нос полешука, слегка лишь вздернутый. Но и этой курносости хватило, чтобы жук побрезговал мной. Дробным камешком, но тяжелым, будто и вправду самородок гупнулся мне под ноги. Свинцовой, мне предназначенной пулей на излете. Я почувствовал, как у меня солонеют глаза, хотя и не успел осознать – смеяться или плакать. И устыдиться не успел.

Вспомнил. Вспомнил все. Словно не жук щекотал мой нос, а все же пуля и не на излете или осколок мины из далёкого прошлого высмотрели и нашли меня, горячим металлом елозили в моей растревоженной совсем не майским жуком памяти, зовом воды, заключенным в ней прошлым и будущим временем, неисчерпаемым ни сегодня, ни завтра, никогда. Временем, которое всегда в нас, только никому не дано знать, благосклонно ли оно к нам. Не дано знать и самой воде.

Она меня завлекла и искусила, как змей Адама с Евой, еще до моего рождения, беспамятного. А уже при пробуждающейся памяти, когда мне не исполнилось еще и года, а мир, хотя еще и шаткий, понуждал двигаться к его познанию на заднице и на четвереньках, раком, стал наполняться искусом. Видимо, следуя его зову, я добрался до нашей безымянной речушки, а скорее, ручья. Мы поняли друг друга, и я вошел в него. Он обнял меня, подхватил и понес, может, к настоящей, большой воде.

По свидетельствам наших стариков, дети до одного года не тонут. Пузыри. Но вода, в конце концов, прибирает и их. Меня спас идущий в поездку машинист паровоза, у которого квартировали тогда мои родители. По его словам, я плыл, словно утёнок, пускал пузыри и в голос смеялся. Сам этого я, конечно, не помню. Хотя, хотя… наша жизнь складывается вовсе не из того, что мы помним или не помним, что внушили по той или иной причине мы сами себе. Наша память зачастую чужая нам, ее нам кто-то подсказывает и создает такой, какой бы мы хотели ее иметь. Опирается на слух и язык – свидетельства опять же бывалых людей, иными словами – очевидцев. Но и здесь недаром говорят: врет, как очевидец. А сама же наша память как верная жена, заверяющая мужа, что никогда ему не изменяла. Клянется, и сама уже верит этому. А на самом же деле – изменяла, но не столько, сколько хотела и могла. Прочность всех наших клятв, особенно сильных мира сего. Так, видимо, и с женщинами, и с водой: цена одна. Может, именно потому мы до самого исхода такие доверчивые.

Впервые уже более-менее осмысленно я пошел за водой, а может, и по воду опять же еще без твёрдости в ногах и всех клёпок в голове. Выправился в поиск неведомой мне реки со старинным женским именем Харюта или Харута, по-нашему. Очень уж понравилось мне это манящее имя, словно

действительно из глубокой древности или даже космоса проникнувшего в наши дни. Я знал только направление, где река должна протекать, и то приблизительно, по подсказке более взрослых парней нашей улицы. Они ловили в той Харуте рыбу, приносили домой в самотканых полотняных мокрых торбах, бьющих их по бокам – рыба была еще живая. Ее с подскоком ссыпали в медные тазы, в которых до этого варили варенье. Рыбаки усаживались на табуретки неподалеку, сладко курили. Папиросный дым, рыбий – донной воды дух с серебряным и золотым живым напоминанием о неведомой Харуте, в которой эта рыба вольно плавала и резвилась, сводили меня с ума.

И вот я уже полз, продирался к Харуте напрямки через кусты. Сплетения крушины, калины и лозы были так ловко увязаны шероховатым и уцепистым диким хмелем, что я сбился с направления и забрёл в болото, в багульник с ягодой- дурницей, обозванной так нами из-за багульникового чадного дурмана, а в действительности и по-хорошему – голубикой, которую в ту пору и за ягоду не считали. Наскочил на дрыгву-трясину, только чудом не поглотившую меня, потому что был лёгкий, юркий и сообразительный. Прыгал по красно- и черносмородинным кочкам, кочкам совершенно лысым, бестравным и осоковым. На одной из них напоролся на свитую в клубок гадюку. Принял ее поначалу за пестрый бабушкин веретенный клубок пряжи. Невзначай споткнулся на нем. Не думал и не гадал, что это опасно. Но гадюка выстрелила в меня плоской головой с раздвоенным языком и вмонтированным в пасти ядовитым зубом. Укусила. Хотя и не до крови, но до сукровично-кипяточного наплыва проклюнула кожу. Я вскинул голову и заревел оповещающим мир благим криком собственного рождения. Первым криком.

Передо мной, откуда ни возьмись, выткался сухенький седой дедок. Простоволосый, с длинной, упокоенной на груди бородой, в домотканно белой рубашке, таких же штанах и аккуратных маленьких лапоточках, сплетенных видимо, совсем недавно, может, из только что надранного, еще незамаранного болотом лозового лыка. Что дедок немедленно и подтвердил:

– Лыко тут на зиму себе заготавливаю. Зима долгая, дороги длинные. Лапти быстро снашиваются.

Я сквозь слезы присмотрелся к дедку и притих. Малой, малой, но понял: не похож он на тех, кто дерет лыко и плетет лапти. Из других лаптеплетов. Очень уж чистенький, как только что от умывальника, из бани. В таких белых штанцах и сорочке с аккуратненькими просветами, прореженной, чтобы ветерок освежал, в болото за лыком не ходят. И киёчек, палочка у него очень уж приметная. У ладони для удобства с раздвоенно раскрытой пастью болотного гада, змеи, не той ли гадюки, совсем недавно клюнувшей меня. И она снова угрожала мне. И не одна, а две одновременно – с кочки и из ладони дедка.

– Нишкните уже, – повел на них оком дедок. – Свое уже сотворили. Теперь земля зимовать вас не примет. Околеете от первого же утренника.

Позже, дома уже, знающие люди просветили меня: земля не принимает змею, укусившую человека или животное. Она обречена. А еще добавили:

– На самого Белуна ты наскочил. Белун был твоим спасителем, и наш он спаситель. Посчастливилось тебе спознаться и подружиться с самим Белуном.

Так ли это, не мне судить. Но с этим дедом я встречался еще дважды. Дважды он отводил от меня неминуемое.

А в тот раз дедок что-то долго и неслышно шептал, склонившись над моей ногой. Только скоренько, скоренько, пробежно пошевеливались сухенькие, лыково морщинистые, словно подпеченные, буроватые намеки былых губ. Такой же усохлости пальцами сжимал, сводил воедино кожу пострадавшей ноги. Обкладывал, укутывал белым верховым мхом и какими-то неведомыми мне до порошка высушенными травами. Покрывал, втирал в мою боль уже не только в ноге, но и во всем теле. Боль, немного надуманную, от жалости к себе. Но она прикидывалась от рук дедка, и всамделишняя, горячечная и обморочная. Дедок же, не выказывая ни малейшего сочувствия, приказал мне не залёживаться:

– Подымайся и иди. Ступай с Богом домой. Только не оглядывайся и никуда не сворачивай. Никто тебя не трогал. Никто не кусал.

Я встал и пошел. И не болотом и трясиной, а по сухенькому, как специально сотворенному для меня, мягкому, слегка зеленоватому сверху, а из-под исподу белому верховому мху. Только дедка все же не послушался. На чистом прогальном бережку оглянулся. Дедка как не было. Пропал, исчез. Будто зашился в седую лысую кочку, на которой меня укусила гадюка. Только киечек его торчал ровно посредине кочки и укоризненно покачивался. А на верхушке его так же покачивалась свитая в клубок давешняя или уже новая гадюка, живая, с живым раздвоенным языком.

Я бросился прочь, только опять же, вопреки наказу дедка, не в сторону дома, а в направлении, где, как я разумел, могла находиться речка Харута. Она словно звала меня, и не было силы, да и желания противостоять ее зову. В то же время кто-то или что-то не пускали, отводили меня от нее.

Реки с дрожащим сказочным именем я так и не достиг ни тогда, ни после: не все в нашей жизни должно сбываться, что-то должно оставаться и сокрытым – для вечного сожаления. То ли дедок, наш отечественный оберег и хранитель, лучше меня и всех прочих людей знал это, сбил меня с ноги, чтобы Харута осталась в памяти навсегда неизведанной. Можно только гадать, есть ли вообще она, где точатся ее воды. Может, я только бредил ей, или она привиделась мне во сне. И никакая гадюка по дороге к ней не кусала меня. Все

укусы, все мои змеи в моей памяти. Как и оберег Белун.

Хотя, хотя… Мои друзья и близкие часто удивляются метине на моей правой ноге, на икре немного выше косточки. Удивляюсь и сам я этой Божьей или дьявольской мете. Сразу после укуса там появились не рана и не шрам – отличная от цвета ноги, блеклая, почти копеечного размера полоска кожи. Вскоре она перекрасилась в бурую. Нога подрастала, бурое пятно точечно расширилось и увеличилось. А потом разорвалось, будто вехоть, на меленькие пятнышки, словно следки чужих остреньких зубиков – обозначенность того, что все было. Было.

Благословение или проклятье заговоренной сказочной воды и реки с женским именем Харута. Ее голос и зов навсегда во мне и со мной. Родной, дорогой мне и на чужбине. Голос воды, голос времени, голос крови. Отсюда и мое сумасшествие на Марка. И память навсегда. Осознано или неосознанно всю жизнь я был в этом и с этим. Жизнь возле чужих рек и чужих вод, через которые мне наречено было проплыть.

Сибирские ловы

Томь

Томь-река. Накатистая и норовистая. Та еще реченька, как и все в Сибири. По-ребячьи игривая, по-девичьи кокетливая. Каменисто-таёжная. Неподатно-кержачье скитовая и хмурая, чалдонски себе на уме. Затаённая в каждой капле и на каждом своем струйном метре. Иная, изменчивая и непредсказуемая. Коварно покорная и обманно послушная и тихая, когда ее бегу никто и ничто не перечит, не посягает на жестоко завоеванную в вечности волю. Солнечно и звездно пересмешничает с небом, полудоверяя ему тайны своих глубин, неразворотных в них тайменей. Перешептывается, секретничает с тайгой – кедрами, лиственницами и пихтами с шапками набекрень, зелено насупив брови, скально нависшими над ней. Серебром брызг оглаживает и молодит те же скалы. Пробует на язык береговую гладкую гальку, как то же проделывает с прахом былых битв и сражений в свое время оброненных тут осколков мин, снарядов и патронов и упавших воителей, молча и тихо поглощая всех в себя.

Но все может измениться мгновенно. Река в полной мере оказывает себя, свой сибирский норов, если ей хоть что-то не по зубам. Стремительно, с храпом вскидывается гребнево-пенными змеиными гривами, берущими начало в преддонье обманно обмелевших перекатов, смиренно пьющих волну у лобастых валунников, неподвластных ей порогов. Веретенно, чадово, обуженно с шипом идет лоб в лоб на преградно укрепленные танковые надолбы камня, которые какое уже столетие безуспешно пытаются взнуздать её. Река надвигается и бросается на них с горловым боевым кличем, разлётными струями течения, достигающими скально голых горных высей и полуобморочного удивления нерушимо голубого неба, звездно кропит его и льдисто тает, как угоревшая и отгоревшая летучая мошка, безголово толкущая мак.

Таких засад на бегу Томи в последнее время стало намного меньше. Река хотя и не судоходная, но сплавная. Деревом Западная Сибирь отметна и богата, как и его потребителями: шахты, рудники, прииски, заводы, созданные человеком и прислуживающие ему, – прожорливо череваты и ненаедны всем природным и тем более почти дармовым, халявным. Потому река до ледостава и весеннего освобождения забита лесом, бревнами. Сплав молевой, вязать плоты накладно и требует времени: на наш век тайги хватит. А для ускорения прогона леса речку, ее течение раскрепощают динамитом, аммоналом и толом. Такого добра здесь ешь не хочу.

В мягком имени реки Томь чудится, видится мне что-то доброе, девичье: Тома, истома, томление. Нечто в этом подсознательно близкое мне и тем не менее чужеродное. Равнинный простор чего-то азиатски-скуластого, татарского. И это волнует меня, как, видимо, всякая приближенность к чему-то не совсем познанному. В этой непознанности отзвук школьной памяти о покорении Ермаком Сибири, ее первопроходцев, их открытий, буйстве и тихом сошествии в Лету и никуда. А еще то, что в живой Сибири рядом со мной очень много татар. Они притягивают меня приближением и удалением инородно сокрытого в себе, замкнутого во времени, в которое мне хотелось бы вступить, пройтись и побрататься с ним. Может, именно поэтому я часто вижу в снах молодую безбашенную Сибирь, реку с ностальгически нашим и татарским девичьим именем, с кошачьими глазами неприрученной дикой рыси. Во снах, ночных моих видениях все совсем иначе, чем это есть и было в официальной далёкой действительности, чем это есть сегодня. Потому, наверное, мои сны и явь несоединимы. Мне трудно размежевать их. Не приспал ли я себя, не приснился ли сам себе. Но тогда вся наша жизнь – лишь желание и бред по ней. Мы слепо и незримо болтаемся где-то посредине, без доверия к себе и своему прошлому, а потому и без будущего. Ловим себя в сумраке нашей памяти, милостивой или беспощадной – знать бы. Возродиться бы, создать себя по точности лекал и пожить бы в себе. Но, как говорится: дом построен – хозяин умер.

А в моих снах, словно кто-то озаботился такими лекалами – я нисколько не похож на самого себя, хотя какой я, кто, не знаю. Снится мне и сибирская река Томь. Совсем неведомая и совсем не там, где я с ней встречался: как в начале зарождения или уже на исходе ее века. Почти ручейно обуженная, перескочить или переплюнуть можно. Что, последнее, с досады мне и хотелось сделать. А вдруг не переплюну. Плевать же в воду грех: на том свете век горячую сковороду лизать.

Речка в снах, в темени ночи – не только скромный зародыш ее или недужный старческий исток, но и ласковая, аккуратная. Как вот омыла, расплела и причесала до седоватого золота нитьевую при береге траву. Вьется тропой не посреди тайги и скал, а скворцово напевая – в безлесье, равнинно. И такая кринично прозрачная, что невольно просится на зуб. Пасть перед ней на колени – и по глотку, глотку, запрокидывая голову, как пьют только птицы. Пока не зайдутся зубы. Речушка или ручеинка на удивление населенная, что уже нисколько не совпадает с истинностью настоящей Томи: ельчики-бельчики, чебаки – красные боки, сорожки-белоножки. Названия рыб местные, сибирские, но где-то очень далеко отсюда раньше я их ловил под другими именами.

Знал едва ли не в лицо. Тешился их и своим детством, наблюдая за ними на песочных намывах под крутым берегом первой в моей жизни породненной со мной реки, протекающей по моему началу.

Во сне захлебывался от радости, удивлялся. Возможно ли это. Неужели мои знакомые рыбы изобрели машину времени и опять возвратились во взрослые мои лета. Может, потому, что ни одну из этих рыбешек я не способен вернуть на их и мою родину, дать им их былые и мои прежние тубыльские имена, они и сторонятся, избегают моих удочек, брезгуют и мной, удильщиком. Белью бока, красным оком, веретенно проплывают мимо моей насадки. Разбередивши свою снулую память, я обиженно просыпаюсь.

Обида в непроглядности ночи тут же оборачивается щемящей радостью, до обморочности: благодарностью за дарованные сны, хоть таким, хоть на миг да возвращением к тому, что бесконечно дорого, что неведомо, было или не было. А по-всему, где-то есть, где-то все ж течет приснившаяся мне река, тоже подобная моему сну. Река привиденная и настоящая, одну из которых я все же познал. Обе эти реки, похоже, сходятся, сливаются во мне, речки моего солнечного и голубого детства, моих вчера, сегодня и завтра. Их зов, голос, давнее и далёкое их эхо живы и живут во мне. Приказывают мне и моей заспанной памяти проснуться, избавиться от морока лет и их окостеневшей дали.

Когда-то я уже проговаривался: в Сибирь, в Кузбасс – Кузнецкий угольный бассейн – меня подвигла книга Горбатова «Донбасс». Это правда, но не совсем. В ту пору я был в плену книжной романтики. Жизни, никак не совместимой с однообразием и удушием в родных мне палестинах. А где-то, и не так уж далеко, была жизнь настоящая, ни в чем, нисколько не схожая с моей детдомовской, расписанной почти по военному уставу.

Советская молодая душа жаждала подвигов и борьбы, подобно Оводу из одноименной книги Э.Войнич, горения сердца горьковского Данко, жертвенной смерти Олега Кошевого. И что уже совсем необъяснимо, мы, детдомовцы, чудом выжившие в немецких концлагерях, выхваченные из огня родительских изб и сараев, отвергали собственную жизнь и спасение, словно война и смерть и краем не коснулись наших судеб. Мечтали, бредили Кореей, где сражались корейские воздушные асы Ли-Си-Цины. Торжественно врученные комсомольские билеты вымогали жертвенности, революции – освобождения американских негров, негров угнетенной Африки. Только б добраться до тех Америк и Африк, хотя б в собачьих ящиках вагонов. Чернокожие ребята, по-всему, уже глаза проглядели в ожидании голопузых советских комсомольцев-освободителей из детского дома на Полесье – в большинстве бывших узников Азаричского концлагеря.

Было что-то до забвения самих себя героическое в подземельности шахтёрского труда: штреки, штольни, квершлаги – слова-то какие – столетий сокрытых тайн над головой, совсем не то, что пустое и синее небо над стриженной наголо головой. Небо, пустое, бесполетное, иногда кисло занавешенное

хмарами, зависший навсегда здесь сыродойный с утра и до вечера, после выгона и пригона стада коров поселковый воздух, мощенная красным камнем дорога, ведущая в пески за околицей, но обрывная – сразу за концевой хатой. По песку можно добрести до такого же песка в соседний колхоз или совхоз, где для тебя уже припасена почетная должность. Скотника.

И потому грезилось звездное мерцание подземной шахтной темени, черни антрацита, окаменелая притаенность и молчание – не может быть вечным, заговорит. Сверкание горных пород: гранита, базальта, песчаника и колчедана с подманным, под золото, проблеском вкраплений игольчато-колкого халькапирита, словно уже пробующего подать голос, адова тяжесть, запах сероводорода, взрывная неожиданность метана и даже шахтные выбросы пачками угля с породой, обвалы со смертельными исходами. Но геройская смерть красна и не на миру.

Именно за этим виделась неподдельная, настоящая жизнь, хотя и насквозь подростковая, книжная. Не отсюда ли, из такой алхимии, нашей средневековой химеры шли в жизнь почти все мы, особенно – казенные дети, детдомовцы того времени. Их проще простого можно было коллективно обвести вокруг пальца, обмануть, судьбоносно изувечить. Особенно девчат, по-птичьи доверчивых.

Таким был изуродованно обделенный, обманный: дети – наше будущее – и одновременно бесконечно праведный и правдивый, чистый в вере, отрицающий прозябание в поселковой замкнутости наш сиротский быт, могущий и поставляющий не только строителей светлого будущего, созидателей, но и зеков. В своей вере мы были не первым ли пробирочным поколением, клонами и последними, наверное, мистиками-алхимиками. Лично я верил, что проклятый, ненавидимый шахтерами медный колчедан, выводящий из строя и ломающий убовые машины, когда я возьмусь за дело, стану управлять тем комбайном, претворится в золото, золотые самородки. Я подарю их детдому, каждому из безотцовщины – по новой паре шерстяных штанов и белой булке хлеба. Сразу же объявится коммунизм.

В ГеПе же – городском поселке, в котором помещался наш детдом, до коммунизма была еще тысяча верст босонож, пехотой, и все лесом. Ожидаемое будущее – полностью предсказуемое – ничего райского нам не обещало, несмотря на первую часть в названии самого крупного здесь предприятия – райпромкомбинат.

Начало рабочего дня и завершение его – по тускло сипатому гудку. На полный голос в районном рае силы явно не хватало. Такими же неполноголосыми были и те, кто крутился из одной смены в другую по тому же приглушенному гудку. Единственное, благодаря ему, мы три раза в день точно знали приближение завтрака, обеда и ужина. Как стадо по своим внутренним биологическим часам готовится к доению, кормлению и водопою.

Кроме райпрокомбината, в нашем ГеПе, как и в каждом из них, имелось еще несколько более мелких раёв: раймелькомбинат, райфабрика гнутой и плетеной из лозы мебели, кустовая плодоовощная база, межрайонная мастерская художественных изделий. Но последняя – это уже рай девичий, своеобразный, по современным меркам, хоспис. Пристань и убежище калек-инвалидов, умственно неполноценных – кому уже совсем некуда было податься.

Лучший же исход для каждого из нас – ФЗО или РУ (чего это ты ревешь?) – школы заводского обучения, ремеслухи. Ремесленные училища так называемых трудовых резервов. Специальности каменщика, штукатура, токаря, слесаря, столяра. В конечном результате – тот же райпромкомбинат. Рай, каким был замкнут мир победителей только что закончившейся войны и ее сирот.

Понятно, что тогда я был далек от того, чтобы думать о своем будущем, придерживаясь обычного: жить, как набежит. Но набегала вторая половина двадцатого столетия с разоблачениями разных культов, волюнтаризма, с оттепелями, ослаблением гаек и последующим их закручиванием снова. Нас, казенных детей, как будто не касалось, хотя и от самого малого ветра, сквозняков времени ни старому, ни малому не укрыться.

Некое новое варево исподволь выспевало и в наших обнуленных, стриженных под Котовского макацовбинах. Назревали беспокойство и дух протеста, жажда вырваться из предсказанности и неизбежности, как устремлена к этому, наверное, даже белка, обреченная на бег в колесе. Потому, как у нас говорят, я дал в хомут и убежал от райской жизни в белорусском ГеПе, в детдоме, на всем уготованном и казенном, в самостоятельность, в шахтеры, околдованный писательским обманом о романтике их труда. К тому же хотелось пройти по следу Ермаков, Пржевальских, Семеновых-Тяньшаньских, познать вновь открытую и открываемую комсомольско-молодежную, вольную и героическую страну – Сибирь.

Побежал я, кроме шуток, сломя голову, упрямо и неудержимо, с такой курьерской скоростью и безоглядностью, что сегодня, не будь полешуком, а это значит: один пишем – три в уме, – не поверил бы в то, что я способен на такое, что такой быстрый и легкий на ногу. Хотя, трезво судя сегодня, несмотря на законченность совершенного, непредсказанность былого и в то же время полную неоспоримость его, вполне возможно, все было совсем не так, как мне сегодня видится – вечный самообман свидетеля, очевидца, а тем более прошлого, истории. Тайна нашей сущности, происхождения и породы.

Мы все творим и тем состоимся преимущественно наперекор самим себе, встречаем и расстаемся со своей собственной судьбой, своим будущим. Правда, есть и исключения, труднообъяснимые и до сего времени не разгаданные. Это

опять те же мы с вами, не единственный ли народ, который боится жить, ходить и делать что-либо любому встречному-поперечному наперекор и поперек.

Это особенно ярко проявляется сегодня. Мы, белорусы, устали от самих себя. Устали жить, быть и состояться. И только этим состоятельны. Мы с вами.

Поклонимся же самим себе. Потому что еще в девятнадцатом веке один из нас, Федор Михайлович Достоевский, сказал: «Кротость – страшная сила». Страшная сила, потому что она корнево и не по крови ли бунтарская. Рассудительна – памяркоўна – и бунтарски неискоренима. Опять же: один пишем – три в уме.

Во мне же мысленно и тайно от самого себя была не только зачарованность Сибирью, героической и опасной работой шахтеров – от работы кони дохнут. Это признавали не только мы, детдомовцы, хотя и видели – колхозные кони больше дохнут от бескормицы. И мои беги в новую жизнь были не только от глупости и подростковой наивности.

У меня была мечта. Я мечтал ухватить удачу за хвост, а Бога за бороду. На рыбалке в сибирских реках поймать свою царь-рыбу. Этакий полесский Эрнест Хеменгуэйчик. Поздней узнал и признал – таких Хеменгуэйчиков моего поколения родилось и проживало в Беларуси, как, впрочем, и повсеместно, тьматьмущая. Видимо, дыхание его вольное с Острова свободы достигло и передалось и кротким белорусам: своего не имеем, так хоть чужим попользуемся. Но чтобы пользоваться чужим, надо все же сохранить хотя бы память о своем.

Мечта о царь-рыбе взорвала и выстрелила меня в Сибирь, подобно Жюль Верну, из пушки на Луну. Основания того были продуманны и захватывающи. Дома все реки были обловлены, к сожалению, не мной, рыбно опустошены и изгажены. Все изведено, кроме болотных вьюнов и мелкого красного карася, а в проточной воде – пескарей да сухоребриц-ляскалок с верховодками да плотвой. Уважающей себя рыбе среди них, конечно, не сохраниться. Иное дело – полноводные и могучие реки Сибири, не тронутые живоглотной страстью преобразователей природы и добытчиков – народу, ног маловато. Ничто так не убеждает нас и не подвигает к глупости, как глупость оплодотворенная мыслью, головная, разумная.

Впервые собственными глазами я увидел сибирскую реку Томь осенью. И то мельком, с высоты большого каменного моста над рекой – проездом на трамвае от вокзала города Кемерова до Рудничного посёлка шахты «Северная» в родное мне на два года гнездо – горно-промышленное училище №4. Училище, в котором меня должны были образовать до шахтного электрослесаря. Узрел Томь из окна трамвая, что цветным покати-горошком завис на бетоне нового, недавно построенного моста через реку. Трамвай также был новенький, недавно совсем пущенный в городе. Все было ново мне и моему

глазу. А вот река древняя и хмурая, гневная во всей своей необъятной мощи. Куда там матери-Припяти, батьке-Неману и моей речушке-скромнице Случи.

«Ничего, ништоватая река, пригодится полешуку, – без особой скромности примерил я ее к себе, – захомутаем, объездим».

Только до нашей встречи нос к носу было еще как до морковкиного заговенья. Сразу же месяц с гаком – уборка урожая где-то на целине под Алтаем, где я впервые от пуза поел белого хлеба. Тот хлеб вышел мне боком. Обессилев от целинной сытости, я простудился на буртах уже заснеженной пшеницы и несколько недель провалялся в больнице – все венгерские события, первые метели и первый сибирский лёд. Впрочем, подлёдный лов в те годы еще не стал, как сегодня, обычным делом.

До весны я осваивал премудрости своей специальности, а больше, подобно медведю, глухо спал в комнате своего училища, на кровати и под кроватью. На кровати до отбоя спать запрещалось. Лежа на бушлате под кроватью, ждал весны и думал: как бы мне здесь поскорее выбиться в люди и на зиму хотя бы на немного стать богаче. Мыслей было много, богатства – ноль без палочки. Но я еще и сегодня широте и бескрайности своих подкроватных сибирских мечтаний. Я тешился ими до тепла, когда можно было прилечь и на траве и заняться тем, ради чего я стремился сюда через всю страну – Европу и Азию. О том, что поезд миновал Уральский хребет, а значит, свершился переход из одного самого большого в мире материка в другой, свидетельствовал каменный пограничный знак – невзрачный, полуразрушенный, в осыпи, недостойный даже моего детдомовского уважения. А я так надеялся увидеть что-то необычное, привязавшись ремнем к стенке третьей, багажной, вагонной полки, видел его во сне. Но испытал только разочарование и недоумение, лучше бы заслепиться. Наверное, потому зазевался и прищемил в тамбуре вагона, задержал меж дверей указательный палец, снёс ноготь. Не сломал ли и саму фалангу, потому что палец и сегодня ноет на погоду. Поделом. С прошлым надо прощаться не только смеясь, но и с болью. Или, как предупреждали наши классики, за правду мало постоять, за нее надо и посидеть.

Следующая встреча с рекой Томь произошла по весне, когда уже сошел лед. Был солнечный, согревающий душу день – выходной для нас, былых воспитанников Хойникского специального детского дома, « наждаков», как звали всех обученцев-первогодков Кемеровского горно-промышленного училища. Было нас около десятка – стольких я сбил с панталыку. А в целом в тот год вывезли из Беларуси и разбросали по Кузбассу эшелон сирот-детдомовцев. Своих рабочих рук в крае уже не хватало, а кузнецкая индустрия требовала пополнения, молодого мяса, свежака.

И таким свежаком, лесом, срезанным в одну зиму, раскряжеванным и вытралеваным из недр Кузнецкой Шор- и Мар-тайги, где на то время было еще

с избытком безымянных бесплатных рабочих рук, на километры и километры, от моста над рекой и до ближней деревни Журавли, в пять-десять накатов был выстлан весь берег. Ногу не вбить и глазом не продраться – голову в небо и шапку руками держи. Пихтовые, лиственничные и кедровые сутунки стянуты в один бурт. Такое я видел только с хлебом на целине – километровые, словно железнодорожная насыпь, бурты пшеницы под ветром, дождем и снегом.

Упокоенные навсегда бронзово-загорелые и сукровично оголенные деревья лежали впокат одно на одном, а иные – торчком, мачтово круто устремлялись в небо, будто просили крыльев или хотя бы красного полотнища, флага, занозисто погудывали и трепетали отслоенной, еще неокрепшей куделью молодой коры. Густо пахло древесным тленом, похоронами.

Мы черношинельно и омазученно-серобушлатно, как воронье, елозили и скакали по верху непостижимой умом братской могилы. Я с чувством вины: сбил ребят, вытащил из-под кроватей, искусил рыбалкой. Почти у каждого из нас было все для ловли. Сбились за зиму, складывая копейку к копейке, экономили на куреве, собирая на улицах чинарики. Лучше бы курили магазинные дешевые и злые гвоздики «Ракета» – «Россия атомом крепка, ебем тебя, Америка» – и «Бокс» – «Боевой орган комсомольской сатиры». С вершины прибрежной надтомской скалы, гранитно зависшей над трамвайными рельсами, за нами угрюмо и наперикаянно наблюдал Михайла Волков, открывший богатую углем Кузнецкую землю. Смотрел равнодушно, но обеими руками прижимал к груди тяжелую черную каменюку, по-всему, дорогую, ценную для него. По задумке скульптора, наверно, уголь, антрацит, коксующийся уголь.

Подивились снизу вверх и мы на него и разошлись. Пропала охота рыбачить. Одно – к реке из-за бревен не подступиться, другое – половодье ведь. Ну, а третье –гори оно все синим пламенем: рыба в такую пору умнее нас.

Так завершилась моя первая рыбалка на сибирской реке Томь. Я оправдывал и утешал себя тем, что не в пору вздумал рыбачить: действительно, ведь самое половодье. Рыбе не до жору, она в расходе, в разгоне –родильных и возрождающих гонах жизни. Пасется на молодых выпасах весенних трав. Трется исхудалыми и цвелыми от зимы мордами, будто в любовном экстазе, елозит бело набряклым брюхом в камышах и лозовых кустах. Нерестится. Так загадано ей столетиями. В это время еще при царском прижиме колоколам в церквях было запрещено звонить. А нас выперло рыбачить.

О рыбалке и реке после нашего коллективного оглупления я, похоже, на долгое время забыл. Учился. Учился, как на Полесье говорят, на пень брехать, потому что та наука в жизни почти не понадобилась, как и множество

иного, чему и на кого я учился. Отличительная черта советского человека в мире – почему-то у нас не все ли на свете делается через одно место.

В городе Кемерово имелось довольно знаменитое и престижное учебное заведение: КИТ – Кемеровский индустриальный техникум. На кого там учили «китовцев-индусов», я узнал, только получив диплом. Шахтный электромеханик, мастер производственного обучения. Около сотни горных электромехаников и мастеров производственного обучения в одном выпуске. На шахтах каждый новый год после утрясения штатов начинался с их сокращения. И неудивительно, что большинство из нас шли мимо почетного шахтерского труда и трудовых резервов.

Наиболее ловкие пристраивались в облсовпрофе, совнархозе, самые же ловкие – в райкомах и обкоме комсомола. Везунчиками были спортсмены, коих в техникуме – хоть пруд пруди. Во время приемных экзаменов в КИТ на крыльце его стояла двухпудовая гиря: три жима – первое испытание. Так, наверное, было тогда, да и сейчас не только в КИТе. Спортсмены нашего выпуска без пересадки успешно перешли в институты, тренеры, стали гордостью советского спорта, призерами даже Олимпийских игр. А некоторые неведомыми путями подались ни более, ни менее, как в дипломаты. Скорые тренированные ноги спасли одного нашего индуса в индонезийском посольстве, когда президент страны принялся вырезать коммунистов. Китовский индус преодолевал стометровку за десять с половиной секунд (в то время европейский результат), за это же время, по-всему, он кадрил и девчат. Благодаря этому умению, ногам, он и спасся в Индонезии, убежал.

Самые последние китовские бездари шли в журналистику или в тюрьму. Именно в тюрьму, потому что это было одно из промышленных предприятий Кузнецкой земли. Тюрьме край были нужны мастера производственного обучения трудовых резервов страны. Такой работе, кожей чувствовал, я был не нужен, не нужен. Зэки бы из меня веревки вили. Оставалась только журналистика. Тем более, что повсеместно в районных, городских и даже областных газетах уже были свои люди, такой-сякой блат и протекция. Среди них был и мой друг, однокурсник Витька Моисеев, по прозвищу Шорец. Он действительно походил на шорца, может, еще потому, что родился и жил вблизи Горной Шории, в городе Осинники. Как ни крути, а родство с шорцами было.

Говорю и вспоминаю это как свидетельство изобретательности, игры судеб, их в какой-то степени заданности и предопределенности. Казавшаяся мне бесполезной и ненужной учеба в техникуме, в итоге определила встречу и с Витькой Шорцем, и с самой Горной Шорией. Шел по жизни, на первый взгляд, сбоку и криво, а как выяснилось, очень даже пряменько, по середке её. Хотя сегодня это, может, сомнительно и спорно. Ну, не состоялась бы одна судьба, сложилась бы иная. Но мне везло и в невезении, словно кто-то

всегда вел меня сквозь все беды и несчастья, когда казалось, что уже все, приплыл. Но в самое последнее мгновение из бытия или уже небытия объявлялась невидимая милостивая рука и толкала в плечи, поднимала с колен, избавляла иным разом от последнего, неминуемого.

Так скрутилось, сплелось у меня и с Витькой Шорцем и Горной Шорией. Да и с тем же КИТом, хотя я не был ни спортсменом, ни ловкачом и везунчиком. Кто-то все же, не с того ли света, направлял и молился за меня, может, даже до моего рождения.

Я все же какое-то время поработал на шахте. Правда, не по выпускной специальности – монтажником, проходчиком. Считал, что хотя и небольшой начальник из меня, как из одного вещества пуля. Но, как говорят, не хочешь, да должен. Будучи проходчиком ствола на шахте «Бирюлинская» в молодом городе Березовске получил письмо от Моисеева. Он перед переходом в областную комсомольскую газету стажировался в городской газете «Красная Шория». Писал: если есть желание заменить его, немедленно выезжай. Я, пренебрегши приказом приступить к должности горного мастера, немедленно и выехал в районную столицу Шорского края город Таштагол – камень на ладони – подобно Кемерову, стоящий или лежащий на горной реке, притоке Томи, Кондоме. Но все это было позже, это я немного забежал вперед самому себе – обычное рыболовов-любителей дело. А Витька Шорец был заядлым рыболовом, что и породнило нас еще в Кемерове на реке Томь. Рыболов он был не в пример мне, пребывающему еще в дрёме, обстоятельный, почти профессиональный, в недалёком будущем действительно профессиональный охотник-промысловик, еще в техникуме – мастер спорта по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, несмотря на потерю глаза и потерю слуха на правое ухо.

Сегодня уже ушедший от нас Виктор Максимович Моисеев – почетный гражданин города Кемерово, заслуженный работник культуры Кузбасса. А в то время это был просто Витька Шорец, любимым занятием которого было запускать три пальца к волосам и прореживать их, словно в поисках некой важной, но забытой мысли. И что удивительно, он находил ее и излагал на бумаге мелким и настолько неразборчивым почерком, что понять эти каракули мог только сам. Витька Шорец, почти татарин, по-азиатски притаённо-задумчивый и неспешный, с которым мы не раз в ночи гнали на его кухне самогон из сахара. Утром бежали поправлять головы в ближайший гастроном на Притомской набережной.

Он пробудил и повернул меня к рыбалке на Томи, протекающей буквально мимо окон наших квартир на той же Притомской набережной. Наши ловы начались с дебаркадера, пристани небольших юрких катерков. Место довольно суетное и тем, видимо, и привлекательное для рыбы, халявно кормленое. Потому червём рыба брезговала. Мы с Витькой по мелководью истоптали чуть ли не всю реку от нашей улицы до моста и дальше до ГРЭС и коксо-

химзавода. Выискивали и добывали специальную и чрезвычайно обожаемую сибирской рыбой наживку – так называемых бикарасов. И сами удоблялись тем зелененьким, приросшим к осклизлым речных камням тварям в слюнно окаменелых песчаных домиках. Не горная ли разновидность наших белорусских шитиков-ручейников. Мы шли по реке, как инопланетяне. Зелено-синие, словно июньские или июльские еще беспородно сморщенные яблоки – Томь все же сибирская, суровая река.

Сколько мы перевернули и подняли со дна реки камней, угля за нашу шахтерскую биографию столько не добыли – за деньги бы черта с два так упирались. А тут гнулись и поднимали со дна реки до рези в глазах, вглядывались в каждый камень. Работа аховая, золотодобытчики так не стараются. Бикарасы роскошествовали в жеваных из каменной осыпи и песка домках, как в саклях, прилепленных к скальным склонам гор. Наружу из тех саклей – лишь подвижная черная головка, только не кучерявая, челюсти – жвала да коричневые выпукло неподвижные глазки. Шитики безобманно татарской породы. Чужие, не покоренные еще ни Ермаками, ни промышленно-индустриальными ядами и отравами. Может, потому и рыба бросалась на них, как подсвинки на сечку из бобовника и молодой крапивы. Бикарасы вёртко и непорывно держались на крючке, кобенясь на нём не хуже стиляги того времени на танцплощадке.

Почему мы и гонялись за стойкими и жизнерадостными бикарасами, закаленными кузбасскими химкомбинатами, анилино-красочными заводами, сливами шахт и горно-обогатительных фабрик – живучими и подвижными наперекор всему. Инопланетного Кузнецкого амбрэ – французской шанели отечественного разлива – мы иногда сами не выдерживали. Когда роза окрестных ветров сходилась и замыкалась на техникумовском общежитии, у нас отменялись занятия физкультурой на воздухе. Мы, подобно мышам, разбегались по комнатам, плотно закрывая двери, окна и форточки, слыша только дрожание стен какого-то расположенного под нами потайно подземного завода. Только так мы дышали и выживали. Вполне, может, потому и бикарасы занялись строительством своих противоатомных саклей.

Но ни один бикарас не может противостоять другому бикарасу, если он двуногий и прямоходящий. А это значит – нам, любителям-рыболовам. И вскоре на реке Томь, вблизи нашего обитания, они исчезли. Именно тогда мой приятель и надумал заиметь лодку. Местные обстоятельства благоприятствовали этому. На химкомбинате ввели в строй капролактамовый стан, начали производить эпоксидную смолу, чем мы, как и многие прочие в Кемерово, изобретательно и немедля воспользовались. Самолётной фанеры, неизвестно зачем и почему, в городе было вдосталь, как и стекловолокна. А это, считай, уже готовая рыбацкая лодка.

Мы с Шорцем сладились за один сезон. За лето. Поставили на воду – качается, но не тонет. Попробовали грести, плыть – плывет. Ночь провели на

кухне, эксплуатировали старое витькино изобретение, аппарат. Утром поправили головки. А далее уже и за дело. Шорец все делал обстоятельно, как и полешук. Сошлась парочка: баран да ярочка.

Хлопоты с лодкой и материалом для нее были цветочки, ягодки пошли потом. Для рыбалки, скажем, нужна глина. А где ее взять, если кругом горы. Камень и чернозем. Говоря военным языком, необходима была и шрапнель – вареная перловая крупа на прикорм. Благо, с этой крупой в стране напряга не было, как и с черным хлебом, муравьями и их яйцами. Кто не знает, муравьи с их спиртовым запахом не только санитары леса (да простят меня экологи и зеленые, в то время мы природу больше потребляли, чем берегли), они еще и отличная привада для ловли рыбы. Муравейников в тайге было не считано, экологического сознания, как уже говорилось, – ноль, чем мы с Шорцем без зазрения совести невинно воспользовались.

Но все это было только хлопотным и трудовым приближением к рыбалке. Все праведно и неправедно добытое предстояло привести к одному знаменателю. Рассыпать на брезенте или просто ткани, смешать, размять. И снова до потери пульса смешивать уже с водой. Кто сказал, что рыбалка – забава. Плюньте ему в глаза. Работа без дураков. Одно – управиться с муравьями, не позволить им удрать, разбежаться. Потом более-менее равномерно расположить по влажной мешанине, после чего из этой мешанины, сдобренной подсолнечным маслом, зеленым укропом, панировочными сухарями и политой растворенной в кипятке мятной карамелью вылепить полновесные ядра, пригодные для спортивного толкания и для пушки времен покорения Сибири, две из которых стоит у порога областного краеведческого музея. И говорят – даже стреляет, когда мимо нее проходит девушка. Но в последнее время такого не случается. Ядра мы бережно переносили в лодку. Сплавлялись вниз по реке. Якорились. Обычно возле плотов.

Работа. Продолжение трудового утра. Подступы к главному. Бомбаж. Бомбаж реки ядрами, как свежеснесенными яйцами исполинских черных петухов или доисторических ящеров, динозавров, птеродактилей. На это действо нужна была особая сноровка: одни ядра нужно было сажать, как на лопате хлебы в горячую печь: раз – и на поде, на дне. И целехонькие. Другие, поймав струю, течение, пускать по нему, чтобы их немного сносило вниз по реке, третьи – под корму или нос лодки.

Короткий перекур, такие же короткие посиделки, будто перед дальней дорогой. И за дело. Ловля. Рыбалка. Само собой исключительно на бикарасов с елозящим муравьем на острие крючка исключительно для разжигания аппетита рыбы. Но чаще всего, несмотря на все наши профессиональные усилия и уловки, монументальную неподвижность на плоту среди простора вод, искушалась, клевала мелочь. Одна в одну плотвицы-чебачки, сорожки, их же маломерного разлива или недолива ельчики да байстрючки-окушата. А то

и совсем для издевки – волоокие лупастые сопливые ерши с побратимами, хвостато верткими пескарями. Ничтожность, но после утренних трудов и недельной подготовки на безрыбье и ерш рыба.

А где же жирные, знаменитые сибирские таймени с хариусами, леньками, гольцами, нельмой? От них в Томи ни знака, ни следу. Тогда стоило ли мне ехать в такую даль, сквозь материки, равнины, горы и плоскогорья за тысячи и тысячи верст киселя хлебать, чтобы посмотреть в зрячие глаза мусорной рыбы, мелюзги.

Нечто подобное я ловил в Томи и позже. Кемеровский областной Союз журналистов приобрел на берегу реки в деревне Журавли дачу. Чтобы добираться до нее, пустили пароходик. Журналисты обычно брали его с боем. Выправлялись семейно со своими самоварами и спиногрызами – женами, детьми, тёщами. Сотрудники партийной газеты «Кузбасс» отдыхали культурно. Загорали, гоняли чаи, кайфовали на солнце по берегу реки на пледах, одеялах и резиновых матрацах. Мы же, комса, комсомольские газетчики, выстраивались в одну шеренгу в воде, взмучивали ее, будто лошади, беспрерывно перебирая ногами. Вода была обжигающе холодная. Только мы были такими брыкливыми не из-за холода. Плевали мы на холод. Так, вороша дно, мы будоражили и притягивали рыбу. Она шла на идиотов, как будущие диссиденты в психушку – шиза к шизе. Колотятся до ледяного пота зубы, подбираются к хребту животы, сливово синеют губы и носы. Яйца ужимаются до муравьиных. Но мы молодые.

Ради справедливости отмечу – возглавляет молодых идиотов старший брат, журналист партийной газеты по фамилии Калачинский. Имя не помню, а фамилия отложилась по созвучности из-за его роста: каланча. У него нет одной руки, что, похоже, отождествляет и нашу увечность. Кода делает заброс, мы невольно пригибаемся – может зацепить крючком за ухо или того хлеще – выдрать глаз. Крючок с бикарасами и грузилом свищет над нами будто вражеские пули, а леска – взвизгивает божьим бичом.

Михаил Михаевич, заместитель редактора нашей газеты, кобринский хлопец, совсем недавно морской пограничник, выпускник Свердловского университета, неподалеку от нас нарезает по берегу круги. Походку, привычки моремана еще не потерял. Ногу ставит мягко, словно кот, но одновременно и неколебимо, уверенно и твердо. Идет прямо, не колеблясь, и сам выпрямленный, тонкий, гонкий, звонкий, как калиброванный гвоздь только-только из-под пресса, горячий еще, из полярного Мурманска. По-всему, ему и хочется, и колется с удочкой к нам в речку. Но, во-первых, начальство. А во-вторых, что сложнее и существеннее – белорус. И как все мы перестерегается своей белорускости: что люди, тем более подначаленные, подумают и скажут. Хотя все мы в Сибири – просто сибиряки, но все же как быть со своим, врожденным, что впитано с молоком матери. Жиловатость, тяговитость, упрямство до сумасшествия, преданность и верность своему корневому, природному –

времени, месту и делу, в котором прописан, пребывает и служит, хотя все это ему, может, и поперек горла. Это Миша Михаевич доказал позднее не только работой, но и образом жизни, верностью традициям полешука-белоруса.

Заместитель редактора молодежной газеты в Сибири, заместитель редактора в партийной брестской газете «Заря» а позже – в «Звязде», – всегда это человек, который тянет, по сути, целиком и полностью на себе очень нелегкий воз повседневной редакционной бредятины. Без оглядки и скидок, навсегда взнузданный и поставленный в оглобли, под самую горловину захомутанный. И это, почти естественно, наше, такими вывелись, оперились и выпорхнули из своих болот, корчей, кустарников и лоз. За что нас так приязненно похлопывают по плечам, любят и уважают, особенно как старший брат подчас поминок и тризн, каковые у нас всегда.

О других говорили и говорят, в печали склоняя головы, про геноцид и холокост, катастрофу и несчастный случай. А здесь продвинутая и европейски образованная вольтерианка-царица обезъязычила, живьём выдрала язык , низвела народ немаленькой страны до состояния стада, и всему миру будто враз глаза заслепило и отняло речь – хоть кто-нибудь где-нибудь ради приличия вякнул или пернул. Ополовинили народ, на две трети уничтожили еще при Алешке Тишайшем. На столько же обрезали и землю, погосты – клады. И чтобы только единожды – из века в век одно и то же, будто снопами на току жизни выстилали землю и время, творили Немиги кровавые берега. Выкатили и обезглавили нацию – и опять никто и нигде ни гу-гу. Мы свой позор, те же кровавые берега Немиги закатали в камень и бетон. Мы снова готовы снопами лечь на току чужой жизни. Мы снова готовы голову на плаху. Так только волк дерет овечку с ее молчаливого согласия.

А мы ловим ершиков да пескариков в сибирской реке Томь. К нам присоединяется и Миша Михаевич, наш Михмих. Натура полешука, ятвяга, добытчика и охотника, берет верх. И наше комсомольское начальство, редактор, тоже хватает удочку и бредет к нам. Рудольф Ефимович Теплицкий. Просто Рудик на природе. Но когда я так запанибратски обратился к нему при секретаре обкома, оставшись наедине, выговорил: « облюдай дистанцию». Номенклатура Рудольф именная. Наверное, он изначально был задуман и вылеплен под руководителя, начальника, где-то на берегах Балхаша, в Казахстане, по-всему – из породистой семьи номенклатурных зэков-интеллигентов. Ничего, абсолютно по-колхозному или пролетарскому мутит сибирскую воду, обтаптывает донную гальку. Старательно, но недолго. То ли не выдерживает холода, то ли бережет для потомства свои руководящие яйца. А вообще он человек страсти и риска, особенно когда есть возможность, как говорят газетчики, вставить фитиль старшему товарищу – партийной газете «Кузбасс».

На берегу, неподалеку от нас, водяных, на горячей, раскаленной полуденным солнцем Западной Сибири окатышевой гальке, поджаривают бока и бедра наши женщины, ползают наши спиногрызы и короеды. Воздух еле слышно позванивает звоночками вживо подвешенных в нем медовых и меднокрылых оводов и быстрокрылых, до непристойности оголенно просвеченных стрекоз. Взбалмошно блажит сорока. Гонит прочь раздетого донага одного из наших карапузов, жаждущего поговорить с ней. Идиллия. Пейзаж и пейзане.

Только рыба… вот рыба уже совсем не ловится. Даже пескарь с изошедшими на сопли ершами. А такая великая река. Столько в ней воды, и такой разноголосой. И голоса кристальные, криничные. Есть в сибирских реках голоса. Многоголосие и в Томи, только того, от кого оно исходит, ни видать, ни слыхать. Немота и пустота, словно все в ней преждевременно отошли, сплыли, отлетели в вырай. А вокруг такие просторы и облоги, ширь, высь, синева и выспеленная зелень травы и леса. Не удивительно во всем этом раствориться, замолкнуть и пропасть. Лишь с нависшей над дорогой скалы доносится то ли эхо, то ли чей-то печальный вздох.

Кто-то ищет и призывает вернуться, похоже, свою душу, но та не откликается. И некому помочь вздоху и душе. Где они разошлись и расстались. Некому подсказать, где и как им сойтись, назначить срок, указать дорогу. Безнадежно в каменной глубине скал, былых и будущих столетий блуждает голос. Клонится к живому, чужому и своему, но нигде его не принимают, отовсюду гонят: сегодня нигде никому не подают и слезам не верят не только в Москве, но и в Сибири.

Вздох и крик, вздох и крик. Немой и раздирающий душу над всей необъятностью одной шестой части земной суши.

Выроненным из гнезда потерянным птенцом неслышимо и невидимо плачут на бескрайних просторах Сибири, Дальнего востока, Крайнего севера, по всему белому свету неприкаянные и беспризорные, горько плачут все те, которые еще в средневековье потеряли себя и свое имя – память. Отказано, не дано им состояться, добыть свою долю ни дома, ни на чужбине. Ни под своим, ни под чужим небом. Ни в своих, ни в чужих водах не поймать им царь-рыбу или хотя бы самую малую золотую рыбку.

Не поймать ни жар-птиц, ни царь-рыбу, потому что пойманы, спутаны и взнузданы сами и по собственному желанию. Потому что очень уж рассудительные, памяркоўные. Потому и сложилось, сплелось, состоялось, как состоялось. Выскочило само из табакерки такое, что зачастую случается не только с чертом.

Выскочила Горная Шория. Я был пойман ею еще в детдоме, а потом в водах Томи. Во всех моих ловах всегда были и остались только два дурака: на одном конце червячок, а на другом – дурачок. Я же был един в двух лицах, что стало ясно мне на другой сибирской реке, сестре Томи – Кондоме.

Шорские беги

Послеполуденная новелла

Сегодня я все чаще думаю, что она приснилась мне. И не только она, но и сам я, вся моя жизнь, развешанная клочьями обманной памяти по лещинам, рощам, борам и дубравам, где ходил я по следу заповедных грибниц и гриба, обмирая сердцем в предожидании и надежде, завещая себя грибному богу, истекая счастьем обретения. Жизнь в непроглядности вечернего и утреннего тумана по долинам и в прибережьи рек с путаницей стариц, когда меня и вообще человека уже и еще нет, только предвосхищенье себя, моего неожиданного появления и встречи, не исключено, что и с самим собой – собственное рождение на исходе дня или подъеме солнца. На утренней или вечерней зорьке, под птичье уже дневное оживление или сумеречную песню соловья. Это все неведомо кем осиянные творения нашей памяти не до конца досмотренных в уюте постели детских снов, которые прочно забываются поутру, но светло и трепетно навсегда сохраняются в зрелости и старости. Все у нас начинается со снов, в том числе и судьба.

С детства преследует меня удивительная история – сказка, быль, побасенка – вычитал, рассказали, сам придумал? Не знаю. Мальчишка увидел во сне кашу – бедно, голодно рос. День сожалел, что не было с собой ложки. Еле дождался новой ночи и прихватил ее под одеяло. А каша не приснилась. Не так ли предусмотрительно обманываем себя пустыми надеждами, снами и грёзами все мы. А с другой стороны, может, в этом и заключается единственная оправданность нашего земного существования.

Паровозик, окутанный белыми космами дыма и пара от вздернуто вскинутого в небо закопченного носа, до пещерной глубины угольного тендера, словно нечистик, только-только непромыто явленный из бани, катился по хвойно-колкой тайге. Напрягался, надрывал жилы, набивался ей в свояки. Но тайга не принимала его, непроваренно извергала из своего – только на чистых и чистого – чрева. Паровозик злился, чадно куродымил, одышливо поглощая немерянные и нелегкие таёжные километры.

В вагонном окне загорелась и потухла лучисто расплавленная саламандра – огневая лента реки. Паровозик предусмотрительно укрылся паром, замаскировался, обезопасился и начал сбавлять бег. Я не думал тут выходить, но притягательно игривая на солнце вода охватила и завлекла меня. Уже на ходу я выпрыгнул из вагона на пустынный перрон. Ветер прощально ударил в хвост последнего вагона опережающим эхом паровозного гудка. За поездком сомкнулась тайга. Я остался один на перроне.

Как вспоминается уже сегодня, я не шел к реке, а вверх-вниз, подобно

купанию стрекозы в полуденном зное лугового многоцветья, тихо парил в воздухе. Скользил над сонно склоненными долу головастыми и тугими в бутонном объятии мужскими и женскими двухцветными лепестками иванада-марьи. Высью, небом миновал горделиво белые ромашки и разомлевшие от припару осоки. Тело казалось совсем невесомым, а воздух был так недвижен и упруг, что я легко пронзал его. Удивленно кружила рядом пестрая бабочка, так жемчужно густо осыпанная пыльцой, что невольно хотелось ее отряхнуть.

Вечность ли, мгновение длился мой путь, трудно сказать. Но вот передо мной снова встала трепещущая в глуби и на поверхности, исходящая жаром вода. Игривая и при дне переборами ярко просверкивающей гальки. Помнится, я засмеялся. Не усмехнулся, захохотал. Я открыл реку. Река признала, открыла и приняла меня. Мы встретились, сошлись, сосватались и заручились. Вода, тайга, земля под моими ногами – в венных прожилках подземных криниц и ручьев, то как ими насыщались богатыри-кедры, слилось воедино в беззвучном дыхании неба, солнца, прошлого и будущего, с моим дыханием.

Тут, в загадочности тишины и одиночества, все были счастливы и рады друг другу, разнообразию, непохожести и чуждости, чувствуя за ними родство и будущее. И я покорно отдался мгновению и вечности. Подошел к кедру и прилёг на его распростертые, подобные звериным, лапы. На них мне было удобно, мягко и уютно, потому я сразу же заснул. Сон мой был спокойный и глубокий, только полон, похоже, неземных, колыбельно-баюкающих звуков. Проснулся будто ранним солнечным утром в детстве, легко и подъемно. Перекинулся словом с непуганой и очень любопытной, мшисто-зеленой таёжной лягушкой, до этого то ли охраняющей мой сон, то ли жаждущей моего пробуждения, желающей поговорить с неведомой тварью.

–Ты откуда и кто? – с детской бесцеремонностью и непосредственностью спросила меня лягушка.

– От верблюда, дед Пихто, – совсем невежливо, спросонья еще, ответил я. – Такая пучеглазая, а слепая. Не все свои дома, мозгов не хватает?

Лягушка, конечно, обиделась, в тайге принято говорить на другом языке. Пружинно подобралась, намереваясь поскакать прочь от невежи.

– Он терпимый, иногда даже свой. – Многоголосо защитила меня шепотливостью зреющих в ней орешков кедровая шишка, соскользнувшая с кедровых игл. – В общем и целом наш – посолив, можно даже есть.

– Наши все дома и сегодня несъедобны, – подобрела лягушка.

– Как видишь, не все, – упрямился я, уже немного раздражаясь.

Таёжная лягушка оказалась рассудительнее и умнее меня. Качнулась на

задних лапках, раздула горло, сразу ставшее из бело-зеленого густо рассветным, голубым.

– Не обращай внимания, – вроде как извинился я. – Я из прохожих, искателей. Я только ищу себя и свой дом.

– Случается, бывает, – лягушка теперь уже успокаивала меня. – Бездомному и среди жаб неприютно.

Я согласился с ней и для полного уже примирения сказал:

– Я помогу тебе быстрее очутиться в твоем доме. Постараюсь быть хорошим, отнесу тебя к воде.

Поднял и посадил лягушку на ладонь. Она, будто котенок после дождя, поджала лапки, не привыкла к теплу человеческих рук. Но сидела смирно, доверчиво. Только влажная спинка лаковым листком зелено бликовала на солнце и слегка подрагивала, подобно раскрытому цветку кувшинки на тихом речном течении. Разбавленные белью сверкнули в воде быстрые, смычково напряженные ноги, словно она пыталась их движением извлечь из реки неведомую ни мне, ни ей музыкальную ноту.

Речка молочным теленком, шевровой гладью его ноздрей и губ лизала мои босые ноги. Не находя ничего съедобного, обиженно взбиралась выше щиколоток. Только и там ей ничего не выпадало. Она струйно множилась, обегая меня. Не очень широкая и полноводная игриво поскубывала сплетенную в бороды траву в воде при береге, прыжком бросалась на ладный валун посредине реки, перескакивала его через голову отточенным веками сальто.

В кармане у меня были на всякий случай заранее припасенные и снаряженные рыболовные снасти: леска с поплавком, крючком и грузилом. Но я забыл о них, как забыл себя, рыбака и добытчика, а сейчас вспомнил. Простился с приветливостью кедра и пошел против течения к истокам реки. Она словно заманивала меня, дразня, круто поворачивала и бросалась в непролазные заросли, вековую тайгу, с шипением шилась меж скал, с шипом вылузывалась из них. Обнажалась коридорами и полянами и снова пряталась от меня, замыкаясь черемуховой порослью. Но я не обижался на нее, не ощущая ни усталости, ни досады. Мы забавлялись и играли с ней во что-то вечное и детское, молодое и взрослое, не совсем даже осмысленное, но радостное. Игра во все времена и в любом возрасте, до седых волос – игра. Стремительное течение реки вело меня, как на поводке пес ведет хозяина. Я брал ее след и жаждал добраться, как охотничья собака, до ее сокрытого логова, истоков. Нисколько не сомневался, что это произойдет просто и буднично.

Река, вода, казалось мне, всегда таят, несут нам послание. По всему оно было сокрыто и в этой безымянной таёжной речушке. Послание, адресованное именно и только мне. Она же сама позвала меня, вышла навстречу мне. Она сама была посланием, как и я был послан ей. Вот только кем, откуда – из

прошлого, настоящего, будущего? Время сбилось и перепуталось во мне. То я был в тайге поисковиком неизвестно чего, пещерных времен загонщиком и добытчиком еще доисторического зверя, и на самом деле, а не призрачно. Преследовал зверя вместе со множеством подобных мне и тоже звероватых. Кричал, голосил, замолкал, куда-то проваливаясь и исчезая, затонув, жажде крови и добычи. А в следующее мгновение уже попрекал и проклинал собственную кровожадность, спасательно цеплялся за вагонные поручни поездка, который выплюнул меня в морок таёжной глухомани, оборотясь в неведомо, кого. Ни былого, ни настоящего, ни ужасного, ни хорошего – такого, каким ни за какие калачи не хотел быть.

Река временами покидала меня, исчезала, как в прорве. Когда же я в отчаянье примирялся с ее пропажей, оказывала себя снова. И снова начинались наши игры. Я продолжал свои беги за ней, за своим посланием и таинством ее рождения, уверенный, что за этим кроется нечто знаковое для меня. Ведь реки рождаются, как дети, из боли земли и на удивление ей. Из ничего. Ничего, ничего, да вдруг пустячок. И вот уже некто кривоногого и сопливо топает по двору. Так же и с реками. Ничего, ничего. Да вдруг такой же пустячок, дождинка, снежинка – изморось с насморком. И вот уже вода – детская, божья слезинка. Это сколько же ребенку и Богу надо плакать, чтобы сотворить реку. Ни глаз, ни слез не напасешься. А ведь копится, получается из ничего. Время и жизнь берутся тихо, завязываются молча.

Хотя как будто бы все должно быть иначе – с шумом, грохотом, громом и салютным сверканием убийственных молний. Так, чем и кем нас пугали в детстве, с чем смирились еще в язычестве – Ильёй-пророком. Когда тот пророк, оповещая конец летней страды, жатвы, смахнув трудовой пот со лба, разрешает себе облегчение, мочится в воды, августовские реки и озера и лихачит в небесах на железной колеснице, рождая громы и высекая молнии. В острастку детям после Ильина дня запрещается купаться. Его громы и молнии грозят им болезнями простудами и чириями. Яснее ясного – грешно перечить пророкам небесным и земным. Я в детстве, веря в это, все же стремился подсмотреть во время бурь и гроз, где же облегчается, мочится Илья Пророк и сделать ему небольшой чикильдык. Чтобы и дальше купаться, продолжить лето.

Сейчас языческое, детское представление о сотворении воды опять проснулось во мне, но без позыва к членовредительству. Явственно потянуло пока еще далекой, но быстро приближающейся грозой, дождем. И мне уже грезился грохот колесницы пророка.

Неожиданно речушка совсем обузилась. На ее пути с двух сторон восстали две огромные и очень крутые скалы. Обдирая колени, ломая ногти, я попытался взобраться на одну из них. Получилось. Но уже на вершине увидел: скалы идут грядой, цепью одна за другой. Где ползком на брюхе, где рачком

на четвереньках обошел их. Лучше бы я этого не делал. Речка, похоже, сыграла со мной свою последнюю игру. И выиграла. Сначала вроде исчезла, пропала окончательно и совсем, как ее никогда не было. А потом опомнилась и сжалилась, но предстала передо мной озерцом. Такое чистенькое и ясное зеркальце дураку, даже с посеребренной ручкой: кое-кому ведь нравится все, что блестит. Я, как был в одежде, бросился в оскаленные зубы зеркальца, проглядывающую со дна каменную осыпь. Боковое, отбойное течение повернуло и отбросило меня, направило и отнесло к скалам. Я выбрался на сушу, отряхнулся, избавляясь наваждения, и побрел дальше.

И теперь уже другой кедр, согретый солнечным днём, принял меня. Я опять придремал на его насыщенной живицей лапе. Забылся сном неглубоким и непрочным. Не годится спать в чужой хате и в шаткий час – то ли в прошлом, то ли в будущем, в зыбкой реальности. Нечистик вёз меня, нечистик вёл, а сейчас набивается в друзья, нагоняет сон, слепит глаза. Но меня голыми руками не возьмешь. И ослепну, плюнь на меня – шипеть буду.

И таки плюнули. Влепили в лоб таким горячим холодом, что сна ни в одном глазу. Пока я спал, Илья-пророк запряг коней и сейчас на небесных колдобинах, выбоинах и ямах прокудил, катался на своей бренчащей колеснице. Мчал так, что из-под колес громы и молнии, и ветер слёзно плакал, у самого Ильи из глаз вышибало слезу, как и у его коней. Небо набухало грозой, вот-вот должен был начаться дождь.

Цветы уже набрякло склонили разом отяжелевшие головы. Гром приближался. Почти надо мной татарской стрелой надломилась молния. Зло вскормленная стена дождя вприсядку плясала по остро заточенным верхушкам деревьев и надвигалась на меня. Первая огромная, с лошадиную слезу, капля с разгону бросилась в речную воду, подскочила от неожиданности, не разбившись, только вогнуто сплющилась. Река закипела и заплюхала, выходя из берегов. Вскоре я уже насквозь промок и пошел от своего лежбища в поисках более надежного пристанища – сторожки, охотничьей заимки, где можно обсохнуть и согреться.

Набрел на нечто, казалось, совсем несвойственное глухой тайге. Поляну не поляну, поле не поле. На вспаханную вдоль берега реки довольно широкую полосу белого приречного песка, уже вроде и заборонованную для посева. Но что можно сеять на белом песке среди вековой тайги, вдали от жилья человека: не иначе черти постарались. Но тут я вспомнил, что в этом крае по рекам пускают драги, моют золото. Только как драга могла пробиться сквозь такие кедрачи и пихты и выбиться из них. Может, и мне пофартит найти тут один-другой самородок. Стоит только нагнуться и присмотреться.

Но я сразу же отбросил эти детские надежды. Другое невольно мелькнуло

в голове: очень уж эта пахота напоминает контрольную пограничную полосу. Мелькнуло и пропало. А похоже, зря. Занялся тем, что более всего мне сейчас было необходимо. Разделся догола и выкрутил одежду. Вспомнил о рыболовных снастях. В дерне, в стороне от полосы, наколупал червей, среди которых попался и ладный выползок. Его я и насадил на крючок. Поплавок, не успел я настроиться на рыбалку, мгновенно исчез, ушел на дно. Я подсёк, ощутил упругую донную силу сопротивления, словно сам уперся там в воде.

Окунь. Да не какой-то задрипанный матросик, а матёрый горбыль с предостерегающе калиново яркими, до радостной рези в рыбацком глазу плавниками, зло топырился в воздухе, ритуально приплясывая, недоуменно всматриваясь в меня. Я освободил его от крючка, положил на ладонь. Окунь немедля напрягся, прогнулся девичье- гибким телом. Завидно высоко подпрыгнул и пропал в густо черной водной глуби. Мне оставалось лишь поблагодарить его за то, что он был и кому-нибудь еще достанется. Хотя это не в нашем обычае – выпускать рыбу обратно в воду. Мы ходим на рыбалку, чтобы ловить ее.

Желание рыбачить пропало. Грешно сглазить фарт и жадностью плодить разочарование. Могу ведь впасть в азарт и, подобно свинье, перерыть весь берег в поисках золотых самородков. Мне и без этого хорошо вблизи фартово счастливого уже где-то и моего окуня, подарка обретенной и открытой мной реки, вечности таёжных кедров, неповторимого одиночества золоторомдящего приречного песка, хотя уже и опустошенного драгами, устало парящего после грозы. Дождь кончился. Перещук, как говорят у нас. Побежал дальше. Травы и цветы распрямились, капельно сверкали на солнце и в озоне. Казалось, налети ветерок, и они зазвонят, телефонно запереговариваются. Но было тихо, торжественно и немного скорбно. Величественно, грудью вперед, подобно лебедям, плыли по реке и небу белые и розовые облака.

Уже в сумрачных бликах вечерних теней я затеплил костерок и утонул в тишине. Речка занималась собой, словно грудной еще ребенок в одиночестве. Нечто шепеляво бормотала, будто пускала слюну, через которую трудно было пробиться слову. Светло и радостно, хотя не беспечально, посверкивала в мой бок направленным отсветом костерка. В траве при сопревших пнях огарково-звездно перемигивались светляки, останки роскошных в урочное время деревьев. Беззвучно, шелково в высокой и еще прозрачной темени надо мной скользом ныряли в сумрак тайги, будто небесные змеи, летучие мыши – кажаны. Затаенно и невидимо сочились живицей кедры, кряхтели и постанывали от удовольствия.

Я все чего-то напряженно ждал и был на изготовке. Такие ночи не бывают пустыми. Вот-вот кто-то отслонится, отслоится от того же, познавшего вероятное и невероятное за свой век кедра, шагнет ко мне. Дикий древний

человек, кровный кедру, сохраненный и схоронившийся в тайге леший, властитель тайги и ее берегун Берендей. Подойдут к костерку, присядут как бывалые люди, погреться, поговорить. Оттолкнется от выстуженной уже скалы водяной или русалка. Но только безмолвные тени, были и небыли, сполохи и всхлипы костерка пещерно живили мои глаза.

В действительности же вышли совсем не те, кого я ждал и хотел видеть. Двое в военной форме и при красных погонах, с автоматами наперевес впереди себя. И руки уже на затворах. И пальцы на спусковых крючках. Я сразу же догадался, кто это и откуда, потому встретил их молча. Был знаком с архитектором города и частенько издевался над ним:

– Здесь же ничего не строится, что же и где ты созидаешь и проектируешь?

– Строится, – вынужденно отвечал он. – Только того никто не видит и никому не надо видеть – за колючей проволокой. Шортайга большая и укромная.

Двое были как раз из тех укромных, кого не надо видеть ни ночью, ни днём. Меня распирало любопытство. Это сколько же я сегодня прошел. Походил по горам, тайге и раньше, но нигде не увидел ни колючей проволоки , ни людей за ней, тем более вооруженной военной охраны. Интересоваться этим у моих ночных посетителей было не с руки. Они, как я предполагал, не из говорливых. Сами любят спрашивать, задавать вопросы.

И они задали: кто, почему, откуда и зачем здесь.

Таиться мне было нечего, бояться тоже. Молодой еще, непуганый и доверчивый, как та же таёжная лягушка. К тому же свои люди, советские, почти мои ровесники. До «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына было еще далеко. А в его «Одном дне Ивана Денисовича» я не увидел ничего страшного. В лагере его все же кормили, к пайке давали кипяточек или миску баланды. А меня на воле в магазинных очередях за боханом хлеба – два килограмма, и те надкусанные, с срезанной верхней коркой – давили до потери сознания. Очередь была милостивой, меня выкидывали из нее на свежий воздух – на траву у крыльца магазина, где я приходил в себя. Проверял, на месте ли мятые, зажатые в ладони мазутные рублики моего отца, паровозного слесаря, и снова на потерю души и сознания ввинчивался в жаждущую хлеба магазинную толпу. Что без хлеба суп из лебеды или крапивы.

Солдаты выслушали меня. Переглянулись и, не опуская рук с автоматов, как пришли, так и пошли, растаяли в ночи. Встреча и разговор, как и с лягушкой, короткие, только не такие дружественные.

Следом за ними я тоже поднялся и ступил в остужающую прохладу тайги. Даже костра не погасил. Он и без того еле-еле тлел, а ветра совсем не было. Гулко трещали под ногами сухие ветки. Шел в сплошной темени, натыкался

на стволы деревьев, слепошаро ощупывал и обходил их. Вскоре прибился к железной дороге. Проходящий уже рассветным утром поездок подобрал меня на безлюдном и глухом полустанке. Может и на том, с которого начиналось мое путешествие. С ухваткой и управностью прокудливого нечистика понес меня прочь от моего горбыля- окуня, моей, хотел бы верить, все еще богатой на золото речки. Она открыла и показала мне проход с одного боку в никуда, а с другого – ведать бы, где мы идем, что ищем, теряем, находим – путь в манящую непознанность. Что это была за речка, пролом, тропинка в моё или чьё-то прошлое или будущее. А может, она просто забавлялась со мной. Откуда она взялась, куда спешила – к другой реке, в море-океан. А может, только ко мне, погадать на капле своей провидческой воды. Ее имя и предназначение неведомы мне. И вообще – была она или нет, тем более – был ли я возле нее.

Я тоскую и ищу ту речку и сегодня, и не могу отыскать. Может, действительно она приснилась мне, как мальчишке каша. Так пусть же будет благословлен мой взрослый сон, с которого начиналась навсегда мне милая и дорогая Горная Шория с ее тайгой, горами, реками и, само собой, шорцами.

Кондома

Все началось как и заведено у нас – с горького и сладкого. В Горной Шории я оказался как эмигрант-нелегал из зарубежья. Так торопился и бежал, что обуться и одеться не успел. Не заработал на шахте «Бирюлинская» в городе Березовском денег даже на проезд и прожитье хотя бы в первые дни. Приехал в столицу Шорского края, тогда ГэПэ, гол как сокол – без копья в кармане. И у коренного шорца Витьки Моисеева в кармане тоже, хоть шаром покати. Нечем даже отметить нашу встречу.

Мы скучно, словно лошади в холодном стойле и при пустых яслях, переминались с ноги на ногу под пронзительным, еще зимним ветром на навесном мосту через реку Кондома, располовинившей ГэПэ на две почти ровные части. Банкроты полные, что страшнее, чем полный дурак. Но я говорил уже, на небе, на земле, а может и из-под земли кто-то угождал мне, помогал в трудное время. Не обошлось без этого и сейчас, среди белого дня, на пустом, без единой живой души мосту через горную речку Кондома.

Ветер принес и напрямую мне под ноги бросил некую зеленоватую бумажку, испещренную печатными буковками. Я подсознательно сразу же ее узнал, но не доверился глазам, хотя на всякий случай немедля прижал ту бумажку подошвой ботинка. И почему-то быстренько и воровато оглянулся. Нигде никого. И ветер притих, и речка успокоилась. А до этого так сварливо и зло выговаривала некому, резала и лепила в лоб валунам на ее пути правдуматку. С норовом девка, вся в мать – Томь.

Мы с Витькой переглянулись, как ночные тати, пожали плечами. Усмехнулись. Я-то уже знал, чему, он – еще нет. Я нагнулся и освободил из-под ботинка трешку. Три послереформенных, неразменных, что в десять раз больше сталинских, хрущевских рубля. Довольно грязные и мятые, побывавшие во множестве рук, но, как говорится, хорошая книга, как и хорошая женщина, всегда зачитанные. Дарёному коню и цыган в зубы не смотрит. Я показал находку своему другу шорцу. Но шорец на то он и шорец: позднее, а может, и раннее, кто их разберет, зажигание, глянул мне под ноги, спокойно осведомился:

– А больше там нет?

Ни радости, ни удивления. Только немного позднее, сосем трезво:

– Нет, больше не надо. Душа меру должна знать. Как раз в меру и на плавленый сырок. Копейка лишняя. На развод – соображают.

Я повернулся на четыре стороны и поблагодарил небо, солнце, тайгу и ГэПэ, поклонился реке. Это ведь она приняла и признала меня и высказала свою благосклонность материально.

В Кондоме, с моста кажущейся мелковатой, если судить по ее далеким и крутым берегам, были заложены начала большой реки (как, кстати почти у каждой реки у нас на Беларуси). Величие, сокрытая сила и неукротимость таких рек познаются обычно в весеннее половодье, да, как это не удивительно, подчас очень уж сухого лета, когда они разливаются без конца и края или обнажены до немощных ручьев по центру совсем недавно могучего русла. Речки тогда уже нет. А берега подобны гробу, в котором на бело-саванных сухих камнях невидимо, скелетно упокоилась некогда живая и живущая тут река. Человеку остается держать это в памяти, горько удивляться и попрекать себя за то, что произошло на его глазах и не без его убийственного участия, что мы так мерзко и глупо распорядились чужой жизнью. Выпили ее, свое время, набгом, изнасиловали, вырвали язык, лишили голоса и языка. Загнали в могильное укрытие крутых древних берегов.

Кондома в их каменном заключении, в склепных объятиях источенных вечностью и водами скал, с наблюдающе зависшей на них тайгой, оставалась еще при силе. Серая и черная задумчивость замшелого камня, разливанно зеленое море хвойного леса и подлеска. Укрывной прорыв в нем голубого неба сверху, а снизу –такая же голубизна воды. Чистейшей воды – алмаз, обручальное кольцо земли на руке вечности.

Алмаз жил, лазерно струился космосом, излучением звезд, дышал таежной живицей. Игриво перешептывался со скалами, кедрачом и водой. Вскрикивал и распевал соловьиными земными голосами и трелями глубинно, донно и воздушно, горлово, грудью и всем телом, рождающим небесные и земные ноты. Заманивал, затягивал, будто в кувшин, в свирельно поющую горловину скал, которые с двух сторон зажали, пленили реку с неосторожно любовно залетевшим туда ветром. Ветер, попав в каменные руки, сходил с ума, обложно и широко, бесновато дышал, требуя воли. А добившись ее, со всех ног бежал в тайгу, оглашая берег радостью избавления от коварства своей неудачной любви.

Так было летом, так было зимой. Столетия и тысячелетия. С человеком здесь и без него. Но, к сожалению, он появился. Земле не повезло.

В зимней шорской, сибирской закованности извечно было сокрыто своё щемящее, порой милое и наивное, а порой безжалостно жестокое волшебство. Жизнь и смерть, красота и убийство, какими позначены были заиндевелые кристаллики хвойных игл присмирелых от вековых раздумий деревьев. Словно там, в их иголочной заостренности, кто-то прятался и жил. Построил себе вот такой дом. Смотрел сверху на все и всех неисчислимостью малень-

ких блестящих и смешливых глазенок, пронзая око и слух тех, кто их видел вблизи и снизу. Но не слепя, не докучая мудростью, собственным знанием дали, пространства и времени – собственной причастностью к ним и ко всему сущему на белом свете.

Такая особенность вообще присуща лесам, особенно боровым, хвойным. Может, отсюда и происхождение новогодних елок в наших домах. Но в Шор-тайге домашняя сказочная елка была всегда, в любую пору года, праздничной. Произведением неведомого творца, памятником, коему не надо удивляться, только уважать и беречь, и одновременно деревом, сакрально связанным не только с жизнью, рождением, но и с умиранием – поминальным, похоронным. И не только человеку, всему сущему, с его цепной бесконечностью, смертностью и и бессмертием, обличающей нашу неспособность создавать в себе и вокруг себя хотя бы приближенность к тому, что уже есть, создано вопреки, скорее всего, нашему недомыслию. И это раздражает нас. Мы стремимся переплюнуть творца честолюбивым подражанием. Хороним в ремесленных поделках неподдельность величия творца и творчества, теряя доверие к себе и к тому, что имеем, к своей земле.

Неспроста мы всюду более-менее примечательные места называем Швейцариями. Беларусь в этом не исключение: не способные оценить и признать свое – возвышаем и восславляем чужое. Та же Швейцария в сравнении с Горной Шорией, почти неведомой миру, может затаиться и молчать в кулачок. Все тут неповторимо сказочное. И горы, и реки, и тайга, и даже местные экзоты – бывшие зэки, оставшиеся после гулагов здесь навсегда, и тутошние, так называемые тубыльцы-шорцы, судьбой схожие с американскими индейцами, проживающими в резервациях. Советский грузинский писатель Нодар Думбадзе после вояжа в Америку сказал, что теперь он понял разницу между их и нашими неграми: наши негры – белые. Так вот тутошние сегодня наши индейцы – шорцы. Они почти не говорят на своем языке и изредка прокидываются под своим шорским, надо сказать, очень щедрым и теплым солнцем.

В то время. когда я жил и работал в Горной Шории, больше всего там было зэков – бывших заключенных, осевших тут после отсидки в лагерях и зэков сегодняшних, в упрятанных по тайге лагпунктах. Для представления Горной Шории и шорцев достаточно вспомнить семью Лыковых, открытую в Шор-тайге писателем и журналистом «Комсомольской правды» Василием Песковым. Представить без преувеличения пещерное существование этой кержацкой староверской семьи. Как трогательно во всех советских, а потом и российских СМИ спасали и спасают сегодня последнюю из могикан этой семьи, больную и немощную старицу Агафью. Но всю Шорию, а вместе с ней и Россию, одним Песковым, несмотря на его святость и честный талант, не спасти. Лыковых на российских просторах несть числа. И не сравнимых с теми

Лыковыми, которые ни читать, ни писать не могли. Грамотных, с высшим образованием, ученых, кандидатов и докторов наук, знающих зарубежные языки, которые из зарешеченных окон столыпинских вагонов разбрасывали по всей России письма с обращением и просьбой к самой жене Ленина о помощи. Стон и плач многонациональной страны: русских, немцев, украинцев, белорусов, казахов. Хотя тюрьма в то время, как и вся Сибирь, не знала национальности: осибиренные и окамеренные, одной судьбой и одним крестным отцом крещенные голые и нищие зэка.

А край неисчерпаемо богат, на счастье и процветание созданный и обреченный. Как любили повторять шорские геологи: каждого жита по лопате. Только то жито, словно заговоренный местными шаманами клад, нелегко было взять. Труднодоступность, бездорожье, горы, реки, тайга. И самого жита будто только для своих, для местных – всюду понемногу, горсть или ложка. Хотя железной рудой Горной Шории кормился с тридцатых годов прошлого века КМК – Кузнецкий металлургический комбинат, а позднее – Запсиб. И руда – под семьдесят процентов железа, а так называемые хвосты – отходы – до двадцати и двадцати семи процентов руды, что в иных местах считалось приемлемым для добычи и добывалось.

Кроме железной руды – золото, промышленное месторождение фосфоритов, уголь. А еще медь, да не простая, а самородная. Удостовериться в этом можно у входа в краеведческие музеи Кемерова и Новокузнецка, где стоят плиты самородной меди – семь и восемь тонн, добытые в Шории на горе Кайбын. Плиты эти на месте распилили, спустили вниз с вершины более двух с лишним километров. Спускали шорцы, летом на санях, вдребезги разнесли около десятка их, пока отерли от пота лбы. Позднее читал, что подобную операцию произвели, не помню сейчас, с чем, индейцы Америки. И Америка гордилась ими, оповестила об этом весь белый свет, расписала в газетах. О наших же индейцах нигде ни слова, ни полслова. Только предания и устный фольклор, молва. Вот такая братская перекличка между двумя народами и материками, нашими и их одного цвета кожи индейцами.

Первые сведения о Шории и шорцах в китайских еще доисторических рукописях, около шести с лишним тысячелетий тому назад – до египетских пирамид еще как до морковкина заговенья, две тысячи лет. А когда, как и откуда возникли у города золотодобытчиков так называемые каменные дворцы, которым бы и олигархи поклонились, – загадка. Не разгадано и до сего дня происхождение каменных сооружений неподалеку от шахтерского города Междуреченск, более величественных и монументальных, чем английский Стоунхендж. Куда ни ступи, куда ни кинь глазом – загадка, тайна. И позор, и стыд науке, истории, власти, цивилизации, подло закрывающим глаза на тех, кого приручили.

Промышленной добыче самородной меди мешают малые залежи ее на горе Кайбын. Где-то около трёхсот тысяч тонн. Знаю, потому что довелось работать самому на доразведке месторождения неподалеку от той горы. Поднимался на ее вершину, искал санный след. Не нашел. Тайга, как и вода, быстро прячет следы. Железная руда, золото, фосфориты, медь – не единственное богатство Горной Шории и шорцев. Хватает и других месторождений полезных ископаемых, о которых знают, но до поры до времени помалкивают. А еще же пушнина, лес, тайга, кедрачи и, наконец, кедровые орешки. Геологических отрядов, партий, в том числе и номерных, закрытых, в Шор-тайге неисчислимо – целое геологическое Западно-Сибирское управление работает. Не всем и каждому дозволено ведать, что они ищут, а тем более находят. Вот и Верхкондомская геологическая партия, в которой я обретался, сначала шла по меди, а вышла на золото. Шория, как и вся страна, земля неожиданностей: триста миллионов искателей, и каждому фартило что-нибудь да найти или потерять, в том числе и самого себя. Тайга принимает и прибирает живых и мертвых. Горная Шория очень и очень схожа с Клондайком Джека Лондона во времена золотой лихорадки там.

Шорец, проходчик нашего горного отряда, охотился на медведя, а вышел на золото. Такое случалось здесь не впервые. Шорцы по характеру очень схожи с обитающим здесь бурундуком. Такие же все время ищущие, неугомонные, любопытные и доверчивые. По образу жизни – прирожденные охотники. С обостренным знанием и слухом на все подземное и земное, водное и небесное. Деятельные, чуующие, слышащие и видящие. Хотя надо признать, что многие из них сегодня не утруждают себя долгими бегами по тайге за зверем, в том числе и за медведем. Последних времен открывательское нашествие на тайгу с медведем управилось и без них. К тому же шорцам сегодня заниматься промысловой охотой мешает исконно русская болезнь, к которой у них почти нет иммунитета – вековой практики старшего брата. Поздно начали – рано заканчивают.

Последнего времени охотники-шорцы, чернорабочие геологии, присматривают бездомного пса, прикармливают его. Зовут и ведут за собой в тайгу к медвежьей тропе. Валят дерево. Вырубают двух-трех метровый, едва подъемный им чурбак. Из металлического троса ладят петлю, укрепляют на чурбаке. Убивают собаку и запетляют ее – подарок косолапому. Тут уже необходимо время, чтобы мясо собаки дошло до вонючих, лакомых зверю кондиций.

Медведь идет на запах и рад не рад халяве. Пожирает падаль, еще не понимая в прямом смысле этого: бесплатный сыр только взападне. Вот и он – в петле и при бревне. И остается ему только неизбежное: бревно на плечо и, как каторжник, в тайгу, к медведице. Но до медведицы ли с таким пихтовым или лиственничным подарком на горбу. Вот так и добыл Егор Тадыгешев своего очередного медведя. По шорской заведенке отхлестал его прутом, моло-

дой березкой: мол, я тебя не трогал. Сам, сам виноват. Сам убился. Жадный, однако. Полез на кедр за шишками, но неловкий, старый, сорвался. Такой большой, тяжелый, грохнулся на землю и сразу помер. А мне тебя, старший брат мой азыг (медведь по-шорски), жалко, жалко.

Посожалел, победовал над своим счастьем Егор Тадыгешев. И был готов уже выправиться за конем, чтобы доставить своего неосторожного и неловкого брата в лагерь. Но приметил неподалеку ручей. Не сказать, чтобы броский и привлекательный. Обычный, но как говорят, удача к удаче. Что-то все же подсознательно сработало в голове у Егора: однако ничего ручеина – дно крупнопесчанистое. Промыта водой до кварцевого проблеска в глазах, и вода приглашает к разговору. А у Егора всегда на всякий случай при себе, мало ли что, золотопромывочный лоток – шорцы народ предусмотрительный, как древние латиняне: все свое носят с собой. Просто так за чем-то только одним из дому не выходят, совсем, словно полешуки, имеющие всегда при себе нечто лишнее – мало ли что может случиться и понадобится вдали от жонки и родного дома.

Весь еще в лихорадке удачной охоты Егор принялся промывать песок. И впечатлился. Сразу же пошло золото. Таким образом, наш немногочисленный горнопроходческий отряд перебросили с меди на золото. И это не разовый случай неожиданного фарту коренным шорцам. Железорудное месторождение Шерегеш, сегодня всей стране известный горнолыжный комплекс для толстосумов, было открыто местным жителем, шорцем, у которого в подполе мерзла картошка: нехороший камень, посетовал он геологам, очень холодный, однако. Холодный камень оказался железной рудой, железом почти без примесей.

Вообще Горная Шория и шорцы по своему добросердечию, чистоте и наивности напоминают мне нечто уже давно потерянное в мире, сказочное, еще благословленное улыбкой творца. Младенчески непосредственная и не такая уже маленькая страна. Страна добрых лесных и горных гномов и эльфов. Если прибавить то, что у нее отняли, обрезали и укоротили, а попросту – ограбили, будет, наверно, не меньше Беларуси. А ту же Швейцарию перекроет в разы и разы. А сейчас – маленькая, населенная малорослым народцем, незлобивым, рассудительным и послушным, и потому почти невидимая, как невидимы опять же в Швейцарии и ее Альпах гномы и эльфы, или книжные хоббиты, которыми так увлекается сегодня детвора.

Я долго не мог понять этого увлечения. А все очень обычно и просто, буднично даже. Только в том, видимо, и тайна, что будничной, обычно и просто, в детском восприятии: все необъяснимое и сказочное – действительно, хотя и недоступно взрослым, их искушенному, практично хозяйственному уму. А дети прозорливы небесно, земно и природно. Они не совсем еще здесь. Всей

своей сутью – в вековой охранной тишине и покое планетарного неторопливого кружения нашей матери-Земли, чуя, что или кто прятался и прячется в зимние холода в зеленых иглах хвойных боров, чуя, что это игра, и в игре может сохраниться вечно.

Вот они сохранились, еще не совсем наши дети и почти небожители, сошедшие для игры с ними с крон деревьев. Вышелушились из еловых и кедровых шишек, вынырнули из воды, из-подо льда скованных сивером сибирских рек и разошлись по всему Божьему белому свету, чтобы украсить его. Сердечно и приветливо, но не без хитринки, улыбаясь каждому, кто доверчиво заглянет им в очи, – чаще детям, поскольку и сами дети. Так же грустят, удивленные равнодушием и непонятливостью слабовидящих и временных в этом мире существ. Сами же бесконечно видущие и вечные в кратком миге своей односезонной жизни.

Всего им вдосталь, хотя и понемножку. Но сколько святой птахе надо, как и святой душе. Только день сегодняшний такого не принимает и не понимает. Шорцы не единожды пробовали поменять свою судьбу, особенно вначале советской власти. Где-то в средине двадцатых годов намерились создать свою независимую страну. Выбрали уже и правительство, кабинет министров. Загвоздка была лишь в том, что некого ставить на пост министра культуры: не нашлось ни одного грамотного шорца. Думали, гадали и пригадали: есть, есть. Какое-то время жил в городе и чему-то там учился один человек. По слухам, даже стишки пописывает. Живой поэт. И кому, как не живому поэту, быть министром культуры.

Среди ночи, не прерывая заседания кабинета министров, бросились его искать. Не нашли. Неделя, как выправился в тайгу на охоту за белкой. Заседание кабинета продолжалось без министра культуры. Он, собственно, на тот момент был и не нужен, и даже лишний – гуманитарий-стихоплет. А министры разрабатывали план военных действий: в первый же день взять штурмом Мундыбаш – тогда улус, перспективный и быстрорастущий – позднее поселок и рудник. В нем всего два милиционера, пару раз выстрелить даже холостыми, и они разбегутся в разные стороны. Москва же после этого сдастся сама. На этом первое и последнее заседание шорского кабинета министров закончилось.

Поэт вернулся с охоты только на следующую ночь. Его сразу же, не успел снять лыжи, взяли. А о том, что он одну ночь был министром культуры Горной Шории, он узнал только по прошествии семнадцати лет.

Когда я оказался в Горной Шории, она в людском плане была подобна острову с неопределенными берегами. Водораздел между коренным населением и теми, кто бросился осваивать и покорять Сибирь, осмыслить невозможно. Состояние и поведение тех и других лихорадочно авантюристиче-

ское. Хотя хрушевская оттепель дышала уже морозами, волны ее, как позже и горбачевской перестройки, только-только достигали глухих таёжных заимок и скитов. Велика Россия, глуха, темна и нововведениям не внемлет, не торопится менять кожу. В то же время Сибирь сотрясалась от интеллигентности и интеллигентов, вольнодумцев и политкорректных политических, экономических и всех прочих окрасов и мастей гениев – будущих диссидентов. А проще, опять же немного вперед, – тех, с кем выгодно только что-то быстро есть, незваных, но самоизбранных записных краснобаев и романтиков непременно мировых революций. И в Шор-тайге царила такая возвышенная атмосфера, что сама тайга готова была заговорить стихами. И говорила. Геологический отчет о железорудном месторождении Каз (в переводе гусь, знаково, но точнее было бы – утка) в скором времени – Всесоюзной ударной комсомольской стройке был – написан ямбами и хореями – стихами. Хотя, как мне позднее рассказывали сами геологи, липа это была. Очень умелая, профессиональная зэковская обычная туфта: рудник был привязан и посажен не на рудное тело, а по существу на пустую породу. Но по властвующему тогда энтузиазму это уже мелочи.

Но это все еще только присказка: потехе час, а делу время. Так что пора бы и делом заняться да рыбку половить. Рыбы и ее ловов не было. Напрасно я раскатал свою полешуцкую ласую на лакомства губу на сибирскую халявную рыбу. Кондома на нее была не просто бедной – пустой. И я со своим удочками смотрелся на ней едва ли не придурком. Хотя таких придурков по ее берегу бродило четверо. Завершилось ударное комсомольское строительство Казского рудника. Таштагол пополнился тремя космольцами-добровольцами, строителями из Москвы, Подмосковья и Рязани. Музыкантами: баянистом, трубачом и альтистом. Двое из них приписались к Таштогольскому дому культуры. Третий, за неимением ему в том доме инструмента, был направлен в литсотрудники редакции газеты «Красная Шория», в подчинение мне, заведующему отделом промышленности, транспорта и чего-то еще.

Наш квартет обычно прожигал свободное время у воды на речке. Правда, без музыки, хотя она, по нашему поведению, и не повредила бы. Трата времени была узконаправленной и традиционной для молодежи того времени и романтизированной Сибири. Удовлетворялись интеллигентным – по карману именно истинным интеллигентам – сухим и дешевым столовым рислингом. Почему-то на рубль, не больше – девяносто восемь копеек поллитровая бутылка. Других горячительных напитков в город Таштагол неизвестно по чьей прихоти или вкусу не завозили. Это сухое вино было невероятно кислым, легко перешибающим вкус недельных холостяцких щей. В дополнение к этому – пенилось. И потому на довольно активном летом шорском солнце мы ходяще уподоблялись, если не самодельной атомной бомбе, то носителям

невыстоянной местной браги из карбида, куриного помёта и отходов общественного питания.

Лишь изредка городу перепадала водка анисовая или кориандровая, которых мой традиционно сориентированный организм на дух не принимал из-за аромата: я их туда, а они, как головастик, скользом назад. Страдал, но крепился. В большом почете был чистый питьевой спирт. Но разница в цене и объёме – 98 копеек полновесная поллитра и 5,87 рубля в том же наливе склоняли в пользу рислинга.

Изнемогающе страдая изжогой, отходили и отмокали в Кондоме. В перерывах рыбачили. Вернее, делали вид, что рыбачим, потому что клевала только мелюзга, настырные доставалы троглодиты-пескари. Иной рыбы в сибирской реке Кондома под Таштаголом не припомню. Пескарей же было тьма тьмущая. Это было как наказание или месть, только кому и за что? Сегодня думаю, именно мне. За измену своим водам: позарилась синица на чужое море, хотела его поджечь. Да невзначай сгорела сама.

Таштагол в переводе с шорского – камень на ладони. И наша четверка отяжеленных рислингом камней, среди иных, раскиданно вросших в берег, укоризненно трезвых. Это надо видеть. И только позже и издали, иначе не прошибет. Как-то значительно уже вдали от самого себя той поры мне попали на глаза четыре блоковские строчки:

И сидим мы, дурачки,
Нежить, немочь вод,
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Это про нас. Про меня в том времени. А может, не только в том…

Самым колоритным и достойным внимания в редакции газеты «Красная Шория», одноэтажном деревянном и очень уютном домике, был, безусловно, ее редактор, так же очень уютный и с первого взгляда располагающий к себе Александр Яковлевич Бабенко. Хотя и всех других сотрудников еще искать да искать – днём с огнем. Но в первую очередь, несомненно, надо признать отметность самой газеты, районки, как их принято называть, любовно и безобидно, местной городской сплетницы в отличие от полновесных того же направления правд, трудов и известий. В ней же все вершилось сердечно, полюбовно и незлобиво. Даже статья уголовного кодекса за ложные сведения на выпускных данных газеты означала не более не менее как ответственность за мужеложество. Это не мешало «Красной Шории» быть стартовой площадкой   многих и многих журналюг областных и даже центральных газет. Сам Бабенко, кажется мне сегодня издали, был невероятно к лицу Шорскому краю и его тутошним, коренным жителям. Чего стоит

одно его явление здесь – почти библейское, по Иванову: явление Христа народу.

Происходил, двигался он из областной партийной газеты «Кузбасс». А до этого обретался едва ли не в «Правде». К сожалению, такие неожиданные крученые повороты и ходы в нашей жизни происходят сплошь и рядом. И со многими. Я лично был знаком с лейтенантом, отмеченным генералом за образцовую работу в роте.

– Вы, наверно, со старшин, старослужащих прапорщиков? – Спросил его генерал.

– Никак нет, товарищ генерал, – печально ответил лейтенант. – Я из бывших капитанов.

Нечто похожее случилось и с Александром Яковлевичем Бабенко, после чего отправился он из газеты «Кузбасс» через Новокузнецк в стольный ГэПэ Таштагол на грузотакси. В прошлом был такой транспорт: обыкновенный газон, крытый брезентом и оборудованный скамейками для сидения. Набилось в то грузотакси народу – плюнуть некуда. Но в той селедочной толпе Бабенко почувствовал, что никто на нем не сидит, не лежит, даже на ногах его не стоит. Он вольготно и один занимает едва ли не целую лавку.

– Уважают, подумал, – рассказывал он нам после. – Достоин, не хухры-мухры – редактор районной газеты. В велюровой, специально по должности приобретенной шляпе, при галстуке и в модных импортных, по великому блату купленных солнцезащитных черных очках со стеклами в половину лица.

Но тут грузотакси остановилось, в кузов молча залезли суровые люди в военной форме и с автоматами. Пассажиры-шорцы, что до этого прижимались к бортам, отпрянули от них, распрямились и все как один ткнули в сторону Бабенко пальцами и завопили:

– Берите, берите его! Это он, он, не наш. Чужой человек. Шпион.

Подобных происшествий с нашим редактором, иногда забавных, а иногда и совсем наоборот, было не счесть – это действительно, как кому на роду написано. Одному всюду куда-то и во что-то влипать, слыть ходячим анекдотом, другому и не знать, что анекдоты среди нас есть. Бабенко был из той редкой породы людей, которые да старости дивят народ, каждый день – с ними что-то немыслимое и новое.

Пошел в уборную. Гляжу на дверь перед собой, читаю: посмотри направо. Посмотрел и там читаю: посмотри налево. Посмотрел, читаю: а чего ты крутишься, как вошь на колу… Ну, писаки, ну, писаки. Хоть сейчас в газету… А может, это который из вас?..

Возвращался на мотоцикле с секретарем райкома партии с охоты. Все, наверно, знают, в каком состоянии после нее возвращается начальство. В

центре города возле райкома партии на площади у памятника В.И. Ленина сделали три круга почета. Бабенко наотрез отказался покидать площадь, не поздоровавшись с Ильичом. Стоя в мотоцикле, жестом каменного Ильича, зажав кепки в ладонях, поприветствовали вождя. На следующий день утром позвонили из обкома партии: еще одно такое приветствие, и оба пойдете подметать улицы в поселок Мундыбаш.

Туда же, в Мундыбаш, почему-то пугали сверху именно этим поселком, угрожали отправить на трудовое перевоспитание еще одного человека, который надолго и, как говорится, из-за толстых обстоятельств прочно укоренился в Горной Шории. Сначала принудительно, а потом и добровольно. Непростой был человек, хотя и законченный чудак, в Бабенко: два сапога – пара. Даже внешне, неординарностью поведения, ухватками и при всем этом интеллигентностью очень и очень схожий с редактором районной газеты. Интеллигент-ботаник по жизни, из бывшей, совсем не советского разлива и не красной профессуры. Ученый, может, равный самому гениальному Чижевскому – знатоку солнца и его влияния на здоровье человека и общества.

Гелиометеоролог Анатолий Витальевич Дьяков, в недалеком прошлом главный метеоролог Горшорлага, переписывался с президентами и премьерами многих иностранных держав. Предупреждал и предсказывал землетрясения и тайфуны и всевозможные иные игры стихии. Пытался предупредить о грядущем неурожае и Н. С. Хрущева. Но тот оказался непоколебим, буркнул лишь что-то невразумительное. На такие случаи у Никиты Сергеевича в кармане была своя Кассандра, академик Т. Лысенко. Но уже после Хрущева, в 1972 году, Дьяков все же был награжден орденом Трудового Красного Знамени с формулировкой: «За успехи в увеличении производства зерна». Издевательство, оскорбление, а может, и кремлевская шутка. Так что Анатолий Витальевич тоже был перспективным кадром на должность дворника в шорский поселок с неблагозвучным названием Мундыбаш.

И одевался Дьяков как человек не из этого мира. Стоило ему выйти из дома, как образовывалась толпа. За ним стаями ходили и дети, и даже взрослые шорцы. Было на что посмотреть и чему подивиться. Черножелтые тяжелые горные ботинки, словно копыта мустанга из прерий, под колени и на толстом белом каучуке. Пестрые гетры от лодыжек и за колени, до невообразимо неприличных в тайге в то время, не помню уж какого цвета шортов. На шее что-то ползущее, пестрое – шарфик, косынка, бабочка? В дополнение к этому – в разные цвета окрашенная куртка, по-всему, холодная, на рыбьем меху, а Шория отнюдь не Европа и зимой отдает предпочтение тулупам. Тирольская шапочка с шишечкой, но совсем не кедровой, скорее звоночком эльфа или гнома. Убей меня, не наш человек. Чужак.

Свое длительное пребывание в Шории и после отсидки в лагере и реабилитации Анатолий Витальевич объяснял особенной здесь розой ветров, определяющей формирование и состояние погоды едва ли не всей нашей планеты. Не исключено, что так и было. Но, как я думаю сегодня, было и другое. Простое и человеческое. Шория и шорцы легли и запали ему в душу. Дьяковы довольно известный в России клан ученых, писателей с разнящимися судьбами и уклонами полной противоречий добра и зла эпохи. И ему, принявшему и познавшему Сибирь, хотя и горько, подневольно, не хотелось опять в тот клан и круг, из которого он был насильственно извлечен. Такова притягательная сила Сибири, а тем более Горной Шории.

Наиболее ощутимой и показательной, по свидетельству Анатолия Витальевича, роза ветров была на руднике и в поселке Темир-Тау, где он обосновался. С этой розой ветров он обратился в редакцию районки, к Александру Яковлевичу Бабенко. Они заперлись и, не показывая носа, сидели в кабинете редактора часа два с добрым гаком. Дьяков покинул редакцию, непроницаемо скрытый седоватой бородкой интеллигента и писателя-разночинца прошлого столетия. Чисто выбритый, раскрасневшийся Бабенко долго носился, звучно ляпал дверями редакционных кабинетов. Жаловался нам:

– Роза ветров. Роза ветров. А мы орган райкома партии.

Но статью – о шорской розе ветров и необходимости создания лаборатории по ее изучению именно в Темир-тау, неизвестно до какой степени объевреенную все же поместил в газете. За что немедленно схлопотал выговор с последним предупреждением:

– Еще одна такая роза в партийной органе, и ты будешь главным подметальщиком улиц в шорских улусах.

Обошлось. Более того, наш главный редактор не поступился достоинством и журналистской дерзостью. Только, бросая нам подписанные им в печать наши опусы с намеком на ересь, сетовал:

–Знаю, вы не будете носить мне передачи.

На что мы обычно отвечали:

– А почему бы и нет, Александр Яковлевич? Будем, будем носить.

Вот так мы и жили, набирались уму-разуму при газете «Красная Шория» и ее редакторе. Мне нравилось. Из конца в конец я объездил и изведал Шорию. А это были расстояния и расстояния. И разнообразие. Рудники, леспромхозы, золотые прииски, геологоразведочные партии и отряды, промысловики-охотники. Я был легок на подъём, жаден на все новое. Ко всему не избыл, не потерял детской мечты найти достойную для рыбалки реку без докучливых троглодитов- пескарей.

Не нашел, не успел. Остановил и помешал, схватил буквально за ногу Никита Сергеевич Хрущев: волюнтаристски одним махом прикрыл все районные газеты, в том числе и нашу «Красную Шорию». Что делать? Думал, выбирал и колебался недолго: в тайгу, в геологоразведку. Это была тоже моя давняя детская мечта. Но я не осмелился пойти учиться на геолога. В той учебе, как я предусмотрительно заранее разузнал, было много математики. А я в ней ни тпру, ни ну. Да и денег на учебу, проживание, где я возьму. Потому выбрал государственное содержание и шахту – трудовые резервы.

Теперь же позарился на геологию, из-за волюшки вольной, свободы, тайги и всего прочего, чем мы бредим до последнего. И конечно, воды, рек. Выпала опять речка Кондома. Судьба-злодейка. Но думалось, что в тайге Кондома будет иной, чем под городом, уловистая и добычливая на пристойную рыбу. Развесил губу и опять наступил на прежние грабли. Недомерки-пескари правили бал и вдали от Таштагола. Встретили меня как своего.

Эта мелкая пакость досаждала мне и в глухой тайге. Норовила снять насадку и не облизнуться. А насадка в нашем бивуачном лагере добывалась нелегко и непросто. Иной раз стоила и крови. До червей было не дорыться. Удил на таёжного гнуса – слепней и оводов. Ловил их на голое тело, желательно потное, с душком. Выручали и лошади при партии, но не всегда и не все добровольно. Одни понимали – надо человеку и шли навстречу по-человечески. Другие, скорее всего, принимали меня за тот же гнус, мерзкую заедь, отбивались копытом, хвостом, а некоторые и кусались. Скалили желтые большие зубы, пытаясь мгновенно и зло снять с меня скальп или откусить ухо.

Гнус и заедь использовались для насадки еще и потому, что очень уж по вкусу приходились местному хариусу, который вот-вот должен был скатиться с верховьев реки и приступить к осеннему нересту. Хариуса ловить мне еще не приходилось. Я ждал его как второго пришествия. Но не с моим счастьем овдоветь. Начальник партии кореец Пак положил на меня глаз и решил повысить: из проходчиков перевести в буровики. Кстати, это была не первая попытка сделать из меня человека, вывести в люди. Тот же Бабенко, как признался позже, намеревался направить меня в ВПШ – высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Слава (не КПСС) Богу, не получилось. Во-первых, беспартийный. Во-вторых, при всем своем юношеском нигилизме я был из самых-самых правоверных и преданных социализмам и коммунизмам. Хотя по молодости еще не задубевших, но уже крепко упертых рогом в эти измы, что более всего опасно. Именно из таких межеумков и рождаются самые гнусные пройды, неукорененные нигде и ни в чем – куда ветер, туда и они, гнущиеся по линии партии, рубля и собственного благополучия. Большие охранители властного державного духу, который они же и ненавидят. Потому что сами с душком, смердно номенклатурным, амбициозно несостоявшимся – российская имперская поро-

да, сотворенная и выращенная пробирочным советским строем. Порода, ярко изобличающая себя сегодня в период распада мифического славянского братства, готовая к любому, какой прикажут, обману. А в первую очередь – самообману.

И хорошо, что ничего не вышло насчет меня ни у украинца Бабенко, ни у корейца Пака. Благодарю. И в первую очередь Никиту Сергеевича Хрущева, а потом Егора Тадыгешева, искусившего меня открытием золота. Кстати, тамв впоследствии появился прииск, названный не по имени открывателя Тадыгешева, как того требовала справедливость, а очень по советски – Первомайский.

Наш отряд из пяти фартовых таёжных проходимцев, подрывника и проходчиков шурфов, в числе которых был и я, прибыл на поиски золота где-то уже в другой половине июньского дня. На берегу той же, неотстанно следующей за мной Кондомы, как не без гордости отметил я, стояла умело, художественно вписанная в окружающую тайгу изба. Стояла давно, срослась уже тут со всем и ко всему привыкла. Прижилась и пожила. Стенные бревна уже оморщинились, а морщины заглубились трещинами, бороздами и чернью. Подрывник, самый верткий и бывалый среди нас, сразу же бросился к окну дома. Постучал по стеклу. Окно открылось. Из него показалась чернобородо иконописное лицо – на всю оконную раму.

– Дайте пить, – скороговоркой высказался подрывник. – А то так ести хочется, что и переночевать негде.

– Отвали, козлина, – осадил его явленный из бороды красный и довольно губастый рот.

Приветственные слова были произнесены. Знакомство состоялось. Позднее этот человек сказал нам, что он из староверов. Явно врал. По-всему, он был из лагерных балагуров. Часто поминал мать, но совсем не Божью. Когда позже мы его спросили, а не тоскливо ли ему тут живется, а жил он с моложавой еще женой, двумя сынами и двумя невестками.

– Летом, может, еще и ничего. А вот зимой, в мороза, среди снега и снега, тайги, как в бочке или в пустыне. Тоска зеленая.

– Ничего тоскливого, – ответил старовер. – Ночью, как улындим в три пизды, только дом трясётся.

Таким был наш новый сосед из сибирских «староверов». Подгребался вечерами к нашему костерку. Побалакать не чурался. Но в свой дом, к себе никого не звал и не допускал. Даже кружки, попить воды, брать не дозволял – испоганите. Однажды только я как-то нечаянно проскочил в его избу. Икон было много, на очень старых, источенных шашелем досках. Суровые святые лики тускло туманились, словно в сине-белесом дыме нашего вечернего костра.

Неподступные, подобно хозяину, в желто отсверкивающих под золото, а может и золотых окладах. И неожиданно впечатляющее наличие книг. Вполне пристойная библиотека. Только все книги на латинке, похоже, на немецком языке. Меня от них скоренько отлучили и выперли за порог.

Ранним утром еще по злой буродымчатой росе мы шли на маршрут – ближнюю к нам гору. Травы в тайге высокие. Но мы вскоре протоптали довольно широкую тропу и уже не вымокали до пояса и выше. По дороге витаминились очень сочной здесь и потому, казалось, сладкой черемшой-колбой, картофельной завязью корешков саранок, в самом деле – наподобие нашей сырой, но слегка подслащенной картошки с едва ощутимым предвкусием лесной черемухи, разомлелой на солнце земли, брусники и черники.

Закапывались в гору до скальных, коренных пород – били шурфы. При так называемом сбеге – нахлысте пород, различном их смешении, появлении скарна – соединяли шурфы канавами, траншеями. Были похожи больше на стройбатовцев-солдат, нежели на горняков-проходчиков. Пехота. На гумус, глубинно мягкую землю гора пожадничала. Два-три метра – и скала. Хотя нет-нет да и приходилось зарываться на восемь-десять метров вглубь.

На них наш горный мастер обычно ставил Захара Зарипова, человека и проходчика, даже по татарским меркам, очень трудолюбивого – живое воплощение сегодня настоящего трудоголика. На глубокой проходке Зарипов мостил на свой рост с учетом поднятых рук перекидной мосток. Выбрасывал грунт двойным, а то и тройным перекидом. Как раз на одном из таких шурфов и случилось такое, что надолго заняло и украсило наш таёжный быт. Позднее сам Захар рассказывал:

– Лопата сдельно прогрессивная. Шурую и шурую, гружу мосток. Не кожей, корнями волос чувствую: лежит на мне чужой глаз. Кто-то кешкается и сопит, ворочается вверху, паскудит на бруствере. Я без внимания: мастер подошел проверить, что у меня на выходе моей сдельно прогрессивной. Только пошум вверху затягивается и становится сильнее. Уже мелкие камешки с песком сыплются и на голову прыгают. Крикнул – тишина. Продолжаю шуровать лопатой. Наверху не успокаиваются. Скочил на мосток, очистить его, а заодно и разобраться с тем, что там наверху происходит. Выкинул несколько лопат влажного песку на бруствер. Нет, все же наверху кто-то есть и живой. Уже не просто ворочается, бурчит. Интересно стало. Захотел проверить. Мне к тому времени уже и в кустики край невтерпеж.

Обошелся татарин без кустиков. На бровке шурфа перед Захаром в полный рост на задних лапах стоял сердитый медведь. Передними протирал запорошенные песком глаза. И уже не бурчал – ревел, зло облизывая узеньким, но длинным языком клыкастую пасть. Захар зажмурился и скользом – опять в спасительную прохладу шурфа. А медведь – слепо в малинник поблизости, из которого, наверно, и вышел в поисках чего-нибудь более существенного,

чем ягоды. А может, и из-за своего природного любопытства, в котором он лишь самую малость уступает бурундуку. Но тот хотя обликом и под медведя, но обыкновенный полосатый травоед-вегетарианец. Оповещает он о своем появлении, как и прощается, тоненьким и мелодичным свистом, словно извиняется.

После случая с медведем и несчастья с Захаром мой товарищ по работе шорец Петька, подпольное прозвище Петька Райпотребсоюз, нареченный так отнюдь не за богатство, а потому что все в таёжной жизни умел, неожиданно предложил мне:

– А хочешь, я тебе живого медведя поймаю.

Был Петька небольшого росточка и в плечах неширок. Пожалел меня, наблюдая, как я извожу себя на реке, пытаясь поймать пристойную рыбину.

Медведь, ни живой, ни мертвый, был мне не нужен. Но я посмотрел на Петьку и поверил: этот может. Мне пришлось как-то говорить с шорцем Петькиного сложения, промысловиком-охотником на медведей. Говорили мы, правда, через стекло окна больницы после того, как он живьем взял в тайге медведя. Был тот медведь на его счету сороковым. А у медвежатников считается: сороковой – роковой. Промысловик, как он исповедовался мне, решил проверить, вранье это или так оно и вправду, как то проделал в конце своей жизни английский драматург Бернард Шоу испытывая поговорку: не пили сук, на котором сидишь – есть, есть что-то общее между шорцами и английскими джентльменами. Шоу взялся пилить сук, сидя на нем, грохнулся оземь и сломал руку.

Охотник-шорец пошел на своего сорокового медведя голыми руками и поборол его. Но чтобы окончательно утвердиться во мнении: враки все это про сорокового рокового медведя, повел его из тайги в город Таштагол на веревке. Некоторое время уязвленный и оскорбленный хозяин тайги покорно и косолапо топал за невзрачным шорцем. Но вскоре пришел в себя и возмутился: в самом деле, негоже медведям уподобляться коровам. Медведь снял с охотника скальп. Тем же скальпом, не для сокрытия ли своего позора, прикрыл обидчику глаза. А заодно и ненавистное ему лицо.

Так что я наотрез отказался от предложения Петьки Райпотребсоюза получить в свою собственность живого медведя. Обойдусь, как-никак перебьюсь. Пусть мы с ним оба будем вольными и живыми. Тогда Петька взялся меня обучать тому, как в шорских реках надо ловить рыбу. Учил едва ли не на пальцах, не на живом примере, потому что рыбы для этого в Кондоме не наблюдалось. Привычных нам удилищ и удочек шорцы не признавали и не признают. Берут рыбу в реке руками или специальными своими приспособлениями. Одно из них звучало, хотя и метко, но не для повторения вслух и письменно. Круглая лозовая плетенка с одним только отверстием в дне – для

захода рыбы. Кстати, есть такое же приспособление и у рыбаков на Полесье, и название похожее – не для печати. Но неблагозвучная та плетенка, хотя и привлекала, нам не годилась. Ею пользуются зимой, по позднему уже льду, в предвестии так называемых придух – зимних заморов.

Теперь же более пригодной могла быть ловля петлей из мягкой и не толстой медной проволоки или отпущенной на огне стальной гитарной струны. Петька придерживался мнения, что лучше струной, хотя за нее надо и деньги платить, но она в ту самую меру, что необходима, послушно гибкая. Но прежде наличия струны или даже медной проволоки требовалось найти рыбу. Для этого мог бы сойти хариус. И лучше всего хариус. Брать его в реке петлей, по утверждению Петьки ,наиболее просто и сподручно – это самая безголовая и безмозглая речная рыба, хотя и верткая и вкусная на соление и жарение. Но настоящий шорец-рыбак, вроде Петьки, не опускается до ее ловли. Глупая. А на рыбалке и на охоте обе стороны должны быть достойны друг друга. Главное при ловле хариуса – тихо и осторожно к нему приблизиться. Пуглив. Но приблизился – он твой. Накидывай и подводи петлю к голове. И дергай.

– Вот и струна у меня есть. Что надо – гитарная, – сказал Петька. И в самом деле достал из кармана свернутую в клубок струну, по виду и вправду гитарную.

– Может, нам лучше гитару сделать? – не очень воодушевленно отозвался я.

– Можно и гитару, – согласился Петька. – Только камыз лучше.

– Пусть будет камыз. – Я не перечил, но подумал, что камыз – это, наверно, что-то хотя и татарское, а все же больше казахское.

– Какая разница, – успокоил меня Петька, – как называется. Лишь бы играло. Музыка – она всем музыка. А лучше все же петлю. И поставить на зайца или бурундука.

– Пусть оба живут. Бурундук еще кедрового орешка на зуб не попробовал. И заяц избегался, порасстрясся, худой. Пусть живут и пасутся.

Пока Петька, хотя и не напрямую был против, отрицал надуманное мной, в голове держал что-то совсем противоположное. Я догадывался, что, как, наверно где-то в тайге догадывались заяц с бурундуком

– Тогда займемся рыбой, – уклонился от скользкой темы Петька, хитрил. – Хариуса будем ловить, большого, жирного и глупого. Это очень просто – завел петлю и дергай.

Дергать было некого. Больше пользы – кота за хвост. Но и кота нигде вблизи не наблюдалось. А хариусы никак не оказывали себя в шорской реке Кондома ни мне приезжему, ни коренному шорцу. Мы с Петькой, проницая глазом до самой малой гальки на дне, надолго замолкали. До сумерек, а по-

рой и до рассвета. Возле реки в вековой тайге, их дреме, хотелось тишины, темени и покоя, такого же векового слияния с ними.

И в лагерь возвращались, до онемения объятые тьмой. Петька, подобно зверю, рыси или сове, видел тропу. Вел меня и удивлялся:

– Однако, ты слепой. Совсем, однако, крот. Слепой…

Да, слепой, но не глухой, что-то передалось все же мне от Петьки. Я слышал и слушал ночь. Она доносила до меня свою, сотворенную столетиями колыбельную – таёжную, шорскую. Овевающую прохладой уже росных трав, томительно сладкую от сокрытых и закрытых в ночных бутонах таёжных цветов, может, щемяще жалобную и зовущую. Неведомо куда, в шорское прошлое или будущее. И я уже насквозь, напролет свой здесь. Свой и чужой. По крови, воде, травам, земле и дереву. А Петька свой до мозолей и кончиков ногтей, до праха и тлена прошедших здесь поколений, как древняя и всегда молодая здесь вода. Я же растёкся по чужим водам, их невнятному шепоту, всхлипу и крику, зову, струйному гомону чужих гортанных голосов. И соберусь ли вновь, дано ли мне собраться. Где моя живая и мёртвая вода, думающая мной и обо мне. Глотну ли я ее хотя бы каплю, как птица в жаркий полдень. Омоложусь и состарюсь в ее целительно возрождающей мощи. И своя родная кукушка, подсадившая меня в чужое гнездо, пророчески прокукует надо мной и по мне, совсем или на долгие годы умершему.

Неизбытого, отреченно потерянного молила душа. Приращенности, заземленности и чистоты, грешной и наивной святости детства, которого у меня, может, и не было в вечной погоне, беге за призрачными мирами, созданными мною же. Не без подсказки все же некого постороннего, понуждающего пошире развести руки и обнимать при каждом вдохе одну только пустоту. Обманчивую пустоту собственной тени, того, кем хотел быть и, кажется, был, но только во снах. Смертно изнемогал в самообмане.

И не с каждым ли так. Обнимаем обман и утешаемся пустотой. И потому до последнего вздоха в нас живет неутолимая и непроходящая жажда возвращения в уже утерянное, в день прошедший. Там мы все исправим и исправимся. Но наступивший новый день кажется совсем вчерашним. Так он схож, как две капли воды, с прежним. В нем та же пустота. Самый жестокий обман, что время движется и что-то изменяет к лучшему. Проводили исследование нравов и человека христианских и послехристианских времен. Лучше нам не знать результатов. Они ужасающи – мы уже вплотную с апокалипсисом. И это свидетельство одной из последних гипотез ученых: в вечном движении совсем не время – Земля. Время же, времена неизменны, их, может, и вовсе нет, а есть все подлеющий и подлеющий человек.

А мы все списываем и нарекаем именно на время. А надо бы на свою халдейскую упёртость и неизменность в отнюдь не лучших наших качествах

с пещерных времен, почему мы так склонны к предательству и забвению самих себя, лучшего в себе. Почему мы так увлечены самоубийством. Время же только наблюдатель за человеком самоубийцем, потерявшимся в крови вечности, в желании и стремлении пойти вспять. Но в прошлое дорог нет, нет возврата домой. И сколько можно бросаться из крайности в крайность. Сколько можно нарекать на черта, дьявола, большевиков, фашистов, перестроечников-демократов… Кто там еще не угодил человеку? Может пора бы и перестать лить крокодиловы слезы, сказать себе одним из старых солдатских призывов: берегите природу – мать вашу. Природу человека.

Творцу, создателю претит игра в подкидного дурака со своим же созданием, имитируя согласие, жизнь и вечность, отдавая предпочтение не подделке, а истинности. Истинности в нас и вокруг нас. В том числе и воды – иконе, зеркале и мировой памяти, родящей и уносящей, смывающей каждого из нас старухи с косой на лугу и току жизни, всегда молодой и бессмертной, в сравнении с которой мы только тени. Суетные дети пустоты, не всегда понимающие, что кара, казнь, а что помилование.

Утешаюсь тем, что имею, вижу, делаю. Грабарством, землекопством. Поражаюсь слитным с моим молчанием камня. Молчание – это его речь, язык. Это и мой язык. Когда-то на родине старики рассказывали мне о камне, что он не говорящий. А еще, что камни растут, подобно грибам или человеку. Не верил. Но очень хотел верить и потому сомневался. Фома, законченный Фома. Потребовалось полвека и очень дальняя дорога и, может, совсем даже не моя жизнь, когда заговорили ученые: камни действительно говорят и растут. Это почти народ, цивилизация. Где же вы, ученые, раньше были. Душили деревенское мракобесие?

Почему не сказали нам, белорусам, мне, что мы умеем говорить, имеем язык, язык камней. А потому нам надо очень долго жить, чтобы нас услышали, хотя бы перед смертью, мы народ, только окаменелый. Мы с камнем в каменном родстве. Одной крови и судьбы. Я слышу далекое эхо наших голосов сквозь толщу столетий. В сто тысяч лет по весям и далям нашей исконной земли – одно слово. И века, тысячелетия, пока сложится предложение. Верю, первые слова мне и вам уже прозвучали. В родном нам доме. Деревенская, крестьянская наша изба своим, подобно пирамиде, строем связана с космосом в отличие от плоского сознания и плоских крыш современных спальных строений, с творцом или творцами, не сводящими с нашей планеты глаз.

Вслушиваюсь, немею от молчания так называемой роговой обманки, которую мы нарекли роковой. Роковой для меня, мне, как для того шорца-хотника его роковой сороковой медведь. С гладко сколотой, будто полированной ее поверхности, как зализанного сохатым солонца, за мной следит вечность. Глазом того же, ископаемого сохатого, а может, не исключено, – и мамонта или ящера. Хотя их там сейчас нет. Но они смотрели на него, обнюхивали,

видели и были ему собеседниками. И это утягивает меня в такую даль, что я не вижу в ней и человека.

Только сколок мгновения, следок на слегка зеленоватом камне неуловимой сегодня глазом прежней сущности. А это же было что-то живое. Соринка, пылинка еще только должного состояться мира, лепесток, ресничка космического бытия. Трепетная на ветру травинка, временность которой запечатлелась в камне и навсегда сохранена, отпечатана в нем, как на могильных памятниках имя и лицо того, кто уже не способен встать и выйти из-под него.

Роковая роговая обманка объединяет меня с вечностью и одновременно разъединяет. Я пытаюсь заглянуть вглубь камня, сбоку, из-под исподу. Не могу. Это не под силу ни моему глазу, ни разрушенному будничным равнодушием бытовому сознанию. Мы разлучены с вечностью. Словно кость с барского стола, нам бросили только бредить о ней. Бредить жизнью, чем я, наверно, сейчас и занят, к чему меня подвигают и подталкивают обманы камня и шорской тайги, безрыбной речки Кондома.

Надеюсь, я понял, почему она такая пустая. Сотворил пустоту человек. Грамотный, мастеровитый, вооруженный двадцатым столетием ВВ – взрывчатыми веществами, в данном случае динамитом и аммоналом. Такое происходит повсеместно и со всем, на что человек положит глаз. Это касается и самого человека. Достаточно только припомнить двух медведей в одной берлоге или уже с самого нашего начала – библейских братьев Авеля и Каина.

Человек влюблен только в самого себя и не терпит рядом даже брата своего. Венец природы, царь должен быть только один, потому и изводит всех других, а в первую очередь, по скудоумию и недомыслию, пробужденной и уже неутолимой жажде крови и убийств, – себя любимого. Пока не пойдет в тот же камень и под камень, ту же роковую обманку. Уцелеют, останутся одни пескари. Так уже было. Были люди-великаны, находят их скелеты ростом до четырнадцати метров. А сегодня великаны – максимум два аршина с небольшим. Тому свидетельство – уже сегодня великое множество тех же пескарей в наших водах. Премудрых, и только. Они не скарновым ли сплетением метастазами своей пустодомочной породы объяли меня и мою страсть. Только бы меня и мою – многих и многих, благодаря чему плодятся и множатся в глубинах дебрей своих пересыхающих водных саванн, джунглей и полонят настоящие, полноводные реки. Готовят их для кого-то иного. Это предшественники и чистильщики. Я им донор, они мои вампиры. Таков наш мир, сегодня стал таким. А чужбина, какой бы милой и прекрасной она ни была, – обездоливает, убивает судьбу. Чужой кусок дерет рот. Чужой стала сегодня человеку когда-то кровная ему земля.

Обузились наши реки. Ополовинели их воды. Стали горькими. Худые коровы съели жирных, маленькие рыбы – больших.

На нашей многогрешной планете свершился и вершится на глазах большой исход, как некогда иудеев из Египта. Исход в параллельность, дай бы Бог, а, похоже, сразу в преисподнюю. Там, там уже наши рыбы, звери и многие из людей. Некоторые из них партизанскими тропами пробиваются к нам. Проведать, все ли по-прежнему неизменно на их прародине. Не вымерли ли уже и пескари. А может, чудо чудное, восстали в былой красе и силе земные боры, реки, звери и люди. И не посланец ли оттуда снежный человек, с которым, похоже, я свое время встречался, будучи в геологоразведке, в Шор-тайге.

Не утверждаю категорически, потому что по натуре, как уже говорил, склонен сомневаться. Но все же нечто было или некто был. Решился заговорить об этом после того, как в российских газетах и ТВ начали писать, показывать и говорить о загадочном существе, живущим в шорской тайге, с которым кое-кому довелось столкнуться. Я же о своей встрече с ним нигде и словом не обмолвился, даже с друзьями. Прослыву сумасшедшим. Но после того, как пошли свидетельства иных уже людей, осмелел и решился. К тому же, в кое-каких изданиях, мемуарах вычитал, что в тридцатые годы прошлого столетия советские власти проводили эксперимент, популярный в европейской науке того времени: создание, выведение новой породы людей, суперчеловеков – спаривали человека с обезьяной. Эксперимент провалился, как провалился он в Европе, Африке и в Прикавказье и, покрыто секретным мраком, где еще. В Шор-тайге, где была масса экспериментального материала (двуногие и двуполые зэка) нечто все же сохранилось. Может, с этим «нечто» и встречались люди и я уже во второй половине двадцатого и в начале двадцать первого столетия.

Шел я по тайге пешком из своей геологической партии в город Таштагол. Гонялся и негодовал на рябчиков, которые дробью вылетали из-под ног и шелестом рассыпались по лещине. Негодовал прилично. Когда выходил из лагеря с ружьем, пугалкой и пукалкой на веревочной тесемке, хотя бы что-нибудь попалось пернатое. Одни только таежные клещи, имеющие меня телесно даже через противозачаточный для них энцефалитник. А тут… Смешил глухарей, меняющих в это время оперение, огарками, головешками восседающими или возлегающими на солнце в куромнике при болотах – согре. А я их, не окрыленных, пытался изловить. Путь неблизкий, под сотню километров с учетом отсутствия троп и дорог. Тайга, кустарник. И никого. Но вдруг длиннющая песчаная коса неподалеку от реки – человеческие следы на ней. Еще туманно курят после налетного, спелого и теплого летнего дождика. Бросился вперед по тем следам, да словно дубиной меня огрели. Такой ужас, такая тяжесть в голове и в ногах, что не пойму – спутали меня, заморозили или живьем бросили в огонь. Падаю, горю и инеем покрываюсь. И вижу кого-то или что-то подвижное впереди, в кедровом подросте, скрывается и наблюдает за мной. А волосы на голове уже – каждый по отдельности и каждый дыбом.

Как я развернулся и бросился от этого, только мгновение тому желанного попутчика в противоположную сторону, не помню. С такой скоростью ни до, ни после я никогда не бегал. Думал, ночевать придется в тайге, но за одни сутки одолел около сотни шорских километров. А шорские километры – это нечто и нечто. В первый раз по дороге до своих геологов встретил старика шорца, спросил, далеко ли еще до стойбища.

– Недалеко, – общительно и радостно сообщил он.

– Недалеко – это сколько? Километр, десять?

– Однако, километр, десять.

Добрался я в Таштагол уже в полночь. Выше головы набрался клещей. Ровно двадцать два извлекли и выжгли спичками общежитские ребята из моего тела. Постарался все же, Йети его мать, снежный человек.

А беги мои по Западной Сибири только начинались и одновременно по Шор-тайге заканчивались. Брались на новые – долгие, длинные и далёкие – к себе домой. В благодати юга Западной Сибири, в Шор-тайге, охотясь, гонясь за Царь-рыбой, в поисках и добыче меди и золота я перво-наперво нашел и добыл самого себя, приоткрыл дверь сам не знаю куда, в неведомое и сегодня мне.

Открыл тайгу и воду, неизменно вечные, космогонно-сакральные инь и янь человека. Все минется, все пройдет, как для меня Сибирь, а они останутся. Даже в укрытии тьмы и пепла, праха, как это было, наверно, не однажды на земле. А вода течет, а лес растет, а тайга шумит. Я же и сейчас где-то среди них, хотя душа и приросла к тому, где начался – вымолила возвращение к своим борам, речкам и рыбам. Только пока я бегал, прыгал по чужбине, жаждал поймать чужую рыбу, дома меня обловили – свои, чужие, такие же приблуды, как и я в Сибири. Кто знает? Кто сегодня в силах ответить.

От чужих пескарей я вернулся к пескарям, породненным и помолвленным со мной еще в детстве. Недомерки, недотепы, они ждали меня вместе с сопливыми ёршиками. Может, и ради того, чтобы мило и любовно плюнуть мне в глаза. А позже и утешить, чтобы правда так не колола глаза.

Печальная история о моем соме

Сомы где-то были. В озере Сельском, у которого я тоже часто бывал. Мир этот был очень поместительный, потому что в нем помещался и я. Но иногда, хотя и подсознательно, было тесновато в нем. Так меня распирало от того, что я был и имел. Восемнадцать озер, две реки, дубняки, грабняки, хвойные, кленовые, липовые да ясеневые дубровы, рощи, гаи – реликтовые. Ничего уже не говоря про лозы, олешники, березняки, лещины с голубым покрывалом усмешливого вереска, стыдливого кукушкиного льна с притаенными в них длинноногими, корчнево-шляпными боровиками и красным половодьем краснюков-подосиновиков. А над всем этим, похоже, никогда не меркнущий, всегда звучный бубен солнца и без единого облачка, как моя душа, – небо. А посреди всего этого, чистоты и свежести – портрет маслом. Понятно мой. Я сам.

Рай. Хотя и сиротский, детдомовский. Но все равно рай. Только в том раю, было ощущение, мне чего-то все же не хватало. Суждено было не хватать. Именно того, без чего рай не полон, тем более наш, советский: куда тебя послали и кто послал – иди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что. Такой уж наш характер, когда все есть и ничего больше желать, зачем тогда и жить. Дайте, дайте чего-нибудь еще немножко, самую малость еще чего-нибудь.

И я в своем состоявшемся рае бесконечно и жадно чего-то ждал. Хотя меня на каждом шагу ежеминутно щедро одаривали светом и лаской неожиданных и нежданных чудес. Я выпадал из своего тела, как это бывает только в снах. А здесь, наяву, я летал, летал, подобно игривому летнему ветерку, спрыгнувшему с неба, дерева, земли, зацепившему тебя краем, хвостиком. Ты уцепился за тот ветреный хвостик и – в даль и в высь ласточкой или даже коршуном, который в недвижности распростертых крыльев кружит, ходит кругами с раскрытым от удивления клювом в небе, радуясь ему, своей невесомости. И ты невидимо посеян в небе, слит, породнен с крылом и сердцем птицы.

С рыбой, тем же сомом, возле которого я обитал чаще, такой слитности, такого единения не получалось. Разве только мгновенное и едва ощутимое, когда мы встречались взглядом, и рыба уже бежала прочь от тяжести моего глаза и дерзости глаза своего. Стоило лишь мне украдкой с крутого берега попытаться лишь присоединиться к рыбьим играм, как они сразу же снимались

с колодного и песчаного мелководья. Конечно, в большинстве еще безмозглая мелочь пузатая, не всегда различимая в отсверкивающем небом и звездами кварцевом песке, торчком шла вглубь, краснопёро руля плавниками и радужно настороженными хвостиками. Исчезала с такой скоростью, что только эти светофорные хвостики мерцающе зависали перед глазами, не дозволяя сознанию уцепиться за них. Хотя я и не очень хотел цепляться. В преисподней бездонности вод мне мерещилось нечто запретное, могильное, сурово прихмуренное и холодное, где мне не было места. Занято оно уже было другими. Не видел, не находил я еще себя в омутовой бездне.

Как-то мы вырубили в лесу и сплавляли на челне жердь для флага, мачты на нашей ежевечерней детдомовской линейке. Четырнадцать метров в длину. На средине деревенского озера попытались измерить его глубину. Дна не достали. Тогда я впервые почувствовал страх воды, ее бесконечности и непостижимости. И это при том, что озеро с первого взгляда покоряло несказанной, может, и неземной красотой, приветливостью. Скорее даже не озеро, а русло прежней нашей могучей реки, сегодня же скромной и кроткой, с обоих берегов ограниченной белым песочком да незрячими трясинами речушки. Озера – знак судьбы. Озеро – русло жизни. На склоне его – старица.

Старица проточная. С верховьев и низовья реки – рвы. Неширокие, подобные горлышку бутылки, стремительные и бурные. А дальше, около километра, – тишь, покой и гладь в ангельских лилиях, кубышках и горлачиках – наших полесских лотосах. Воды, взнузданной шатровой ширью дубровы. Дубами в несколько охватов. В свое время были такие, что, как клялись и божились старожилы, на их пне могла развернуться пароконная подвода. Так или не так, как говорят на Полесье, перетакивать не будем. Пригрезилось, прибредилось, было, не было – было. Потому что могла быть. Легло, отлежалось и отпечаталось в памяти. Так, наш детдомовский сторож дед Гаврила, сокращенно дед Гав, до самой смерти вспоминал и жаловался, как его здесь едва не убила, но крепко покалечила огромная и слегка сумасшедшая рыба-белуга, которую неожиданно для себя подцепили местные рыбаки. Редкая, а может и не такая в те времена редкая. Проходная. А может, и не проходная, местная, своя в наших реках рыба. И на наших столах своя.

Как бы там ни было, попалась она в сети, подцепили ее местные рыбаки, думали, что колода. Подтащили к берегу. Дед Гав, тогда подросток, стоял на веревочной тяге. Веревка неожиданно выскользнула из его рук, чулком сняв с ладоней кожу. А колода живо развернулась и хвостом так влындила ему в грудь, что аж ребра затрещали, и грудина загудела. Дед Гав потерял сознание. Колода в клочья разнесла невод, как шершень паутину, блеснула белью чешуи и сытым брюхам. На всю оставшуюся жизнь оставила Гаврилу зарубину в памяти, как о войне.

Я тоже хочу, такой памяти о наших реках, глядя с крутого берега Сторожовки на обездоленную сегодня, забранную в бетон Свислочь в Минске, в Полоцке от Софийки – на измельчавшую и кроткую Западную Двину, от Туровского замчища – на укрощенную Припять. Были у нас реки. Были у нас воды, море Геродота. Была у нас рыба. А сегодня похваляемся копанками, сажалками и сажалковыми доморощенными карпами по неимоверной цене.

Мое обращение и доверие прошлому, не всегда, конечно, осознанные. Это тоже упование на химеры наследственной, очень цепкой памяти, как бы и не нашей уже, подобной осеннему умирающему чертополоху, жаждущему ухватиться хотя бы за собачий хвост. Рудимент памяти, натуры собирателя и добытчика. Того, что сегодня извелось и измельчало до так называемого хобби. Охотника, рыбака и всего, что сопутствует этим занятиям, вплоть до ремесла, привычности работать руками. Очень и очень мало сохранилось в нас от корней и духа предков. Одна только тоска, тревожность снов и, непонятно откуда и почему, – слеза после неурочного пробуждения.

Но избытое прошлое не только разрушает нас сегодня, оно еще и искушает, сладко обманывает, первобытно страшит и следит за нами. Особенно в детстве, когда мы еще недалеко от своего зачатия. В сумерках непризнанности и необглоданности бытием, без брезжущего еще света ни в начале, ни в конца тоннеля мы проницаем уже не звериным, но еще и не человечьим сознанием, кровного единства со всем сущим, живым и мертвым на этом свете.

Я чувствовал, неведомо как и каким образом, свою причастность ко всему, что теперь окружало меня. Ужасался, пугался, радовался, как бы не раствориться, не рассеяться и никогда уже больше никем и ничем не быть. Как не бояться, когда перед тобой такое огромное райское зеркало тебя же – озеро без дна, начала и конца, а в нем – белуга, едва не утянувшая на тот свет детдомовского сторожа деда Гаврилу, желудево проросшего здесь неохватными дубами, рощами, лозами.

А еще, по воспоминаниям стариков, на берегу озера некогда росли сибирские кедры. О том, что это не досужие басни, свидетельствуют попытки возродить их сегодня. Правда, насколько знаю, безуспешные. Маленькие деревца еще берутся, принимаются. А чуть выше – чахнут и пропадают. А еще, в свое время, здесь гнездовала совсем уже райская заморская птичка-невеличка, чуть больше пчелы, – колибри? Когда, куда, почему и как она пропала – большой вопрос, как и великое множество иных в нашей отечественной истории и географии. Все это одни и те же ветви нашего родоводного, преждевременно изведенного дерева, а в утеху лишь побасенки, мифы да сказки. И едва тлеющий костерок, дымный и чадный, но не греющий, выедающий остатки родовой памяти. И не только у нас, но и у наших потомков.

Райская же действительность множила уверенность в присутствии и ско-

ром познании неведомого и невероятного, что происходило каждый день и на мои глазах. Этому способствовали и книжки, которые я читал, глотал. В частности, трилогия Якуба Колоса с описанием того, как неожиданно пропадали в полесских водах домашние утки. Начинали вдруг суетиться, испуганно вскидывали в небо крылья и беззвучно исчезали подобно поплавкам под водой. Словно их утягивал позже обнаруженный вдали от нас Лохнесский заморский монстр.

Между тем и своих доморощенных монстров было в избытке. Один из них всегда обретался у меня под боком. На моих глазах без знака и следа исчезали не только утки, но и молочные поросята, по глупости забредавшие в старицу. Старики говорили, что такое может случиться и с малыми детьми, если без надзора полезут купаться в озере. Но на моей памяти такого не было. Поведанное породило во мне ужас и неодолимое любопытство, хоть краешком глаза взглянуть на троглодита, творящего такие беды. Ужас представал в облике огромной хищной рыбы, может, и заблудившейся белуги или огромного гада или быка, живущих здесь. Ближе был бык, как существо знакомое. Его называли еще болотным. Иногда по утрам он трубно ревел в болотной трясине – дрыгве, наводя страх на все живое в округе. Но рева того я тоже никогда не слышал, хотя заранее дрожал в его предвкушении, подходя к болоту. Но все оказалось гораздо проще и прозаичнее. Монстром, гадом был местный озерный сом.

Я хорошо знал, что сомы здесь есть. Сравнительно небольшие сомики, сомята, изредка попадались в жаки и мережи деревенских рыбаков. Но местные люди их не ели ни в каком виде. Побаивались и брезговали. Как, кстати, относились и к ракам: питаются падалью, утопленниками – падальщики и люджоры. А полешуки блюли чистоту, даже духа грешного и нечистого чурались. Я же сам был нечист и грешен, млел только бы увидеть каннибала, может, и подружиться с ним.

И увидел. В деревне появились пришлые люди. Корчевщики пней, земных останков памяти былого бора, может, и кедрового. Выбивали ее толом, динамитом и аммонитом. Пни были на удивление уцепистые, янтарно смолистые, сине-злобно пылающие, как невыкорчеванная память прошлого. Именно такие, что крайне нужны многочисленным смолокуркам каждого райцентра и местечка, на окраинах которых они тогда размещались, подобно египетским пирамидам, только маленьким и довольно мерзко дымящим. В тех пирамидах добывались горюче-смазочные материалы – энергоносители того тележно-колесного времени – древесный уголь, деготь, скипидар. Прошлое, прибранное в стога и копы, как братские надмогильные обелиски, бугорно присыпанное землей, тлело и чадило, уже окончательно отходя, истекая черной горькой слезой уходящего дня.

Именно корчевщики, чистильщики памяти, выкурили и добыли монстра. Сома деревенского озера. Выкорчевали его из бездны динамитом, толовыми шашками. Как это случилось, я не успел уследить. Примчался уже на взрыв, громом с чистого неба потрясший село. Сома уже извлекли из озера и возложили на телегу. Коник испуганно всхрапывал, оглядывался, тужась тронуться с места. Полностью сом на телегу не поместился. Хвост свисал до земли и волочился по песку деревенской колеи. На нем оседала серая дорожная пыль, скрадывая живые краски рыбы. Это меня больше всего впечатлило и взволновало: одна лишь горсть летучего песка способна превратить живого в мертвого. Я готов был зажмуриться и заплакать.

Но не заплакал. Не заплакал в ту минуту. Глаза набрякли слезами только ночью. Произвольно, во сне. Когда сом пришел ко мне и начал на что-то печально жаловаться, пошевеливая гибким цвета старой алюминиевой проволоки усом, старчески, беззвучно зявя синеватые губы, словно пытался что-то мне передать. Но так и не смог добыть, родить слово. Бессловесность, немость были уже его уделом.

Беззвучность, молчание были и тогда, когда я увидел его на телеге, хотя он еще трепетал телом, был живой, оглушенный, контуженный до судорожной механичной костной дрожи хребта, лишенный привычной опоры воды, омовения плавников. А вот глаза, хотя и очень маленькие, глубоко воткнутые в безмежье плоского лба, были вопрошающе живые и умные. Словно кто-то там, в необъятности его тела, не давал угаснуть его сознанию. Приказывал молча и без нареканий подчиниться происшедшему, тому что неизбежно ему уже наречено: вечному упокоению и небытию. Словно в этом заключено его спасение. И он покорно затих, с достоинством принимая неизбежное, ниспосланную ему последнюю милость небес.

И это не было безразличием и равнодушием. Что-то значительно большее, может, и величественное. Высшее знание, недоступное живым и здоровым, свойственное в последние свои мгновения на этом белом свете лишь братьям нашим меньшим да редчайшим, избранным и званым на этот свет человекам. Глаза без испуга и боли, затянутые, как мне казалось, потусторонней блеклой пеленой, предостерегающим занавесом от земной суеты, похоже, уже ушли или уходили в непостижимость. Как у старых людей, чаще старух очень и очень преклонного века, познавших счастье и горе материнства, призрачность дарованной им и ими жизни, просящих Всевышнего не забыть их в земной юдоли, во время прибрать.

И вот жестокая безжалостность детства – мне было совсем не жалко отходящего сома. Я был рад, что его, наконец, поймали, добыли и показали мне. Сам мечтал о такой добыче: выследить, встретить и присесть на нем. Потому что к тому времени познал жуть и радость, азарт и страсть подчинения себе всего и вся вокруг себя – в лесу, в воде, над головой в небе и под ногами.

Крещения кровью и смертью. Хотя это было только начало моей жизни, но оно уже требовало самовозвышения, самоутверждения. А это значит – жертв и жертв.

Старица же после поимки, а вернее, убийства сома, как-то незаметно стала усыхать, а вскоре и вовсе обмелела. Там, где была бездонная яма, дом сома, выпнулся белолобый бугор желтоватого песка, облюбованных для отдыха вороньем, постоянно что- то ищущим и гортанно галдящим. Мы голопузо гонялись за ними, уже не боясь купаться в почти сухом озере. Что было дивно – вместе с озером усыхали дубы на его берегу. К ним прикинулась некая непонятная хворь, напала какая-то нечисть – невидимый глазу жучок. Могучие деревья ужимались, теряли крону и кору, мусорили себе под ноги гнойно-бурой и сыпучей жеваной трухой. А потом падали долу, обнажая мозолистые древние корни, вспарывая ветвями землю, словно после подрыва толом или динамитом. И так, пока не извелись совсем.

Но это уже без меня. В ту пору я сам исчез. Поехал в белый свет, как в копеечку. В Сибирь. Именно в поисках своей заветной рыбы. Считал, что в наших водах, в деревенском озере, ее уже нет. Все выловлено, истоптано. Реки обужены, укорочены, взнузданы, кастрированы разгулом и сумасшествием мелиорации. А в Сибири руки еще коротки, реки не в пример нашим. Сплошь одно Беломорье с пятипудовыми тайменями – красная, по всем понятиям, рыба.

Таймени где-то были. Само собой – в моих ночных бдениях и снах. А также в несомненно могучих сибирских реках Лене, Иртыше, Енисее. Были, но не про меня: не с моим детдомовским счастьем овдоветь. Если уж извели своих белуг – на чужой каравай рот не разевай – ими еще надо переболеть. Манкуртно освободиться, избыть память и отдаться правде о родном крае и о себе. А я жил надеждой на чужое, на сибирские реки и свою удачу.

Как же горько я ошибался. Да, Сибирь была поместительная. И реки были полноводные. Но толу с динамитом тоже было вдосталь. Куда больше, чем на наши маленькие речки с измельчавшей рыбешкой. И своих корчевщиков немеряно. Но я не отступился – проклятая наша упёртость – побежал по белому свету за своей призрачной неуловимой рыбой. Хотя к тому времени, как мне казалось, уже поумнел. Остыл, повзрослел. Языческое и пионерское нетерпение унялись и отошли. Добрые люди просветили: нечего напрягаться и бегать туда, ума не приложу, куда, за дурной головой ногам не давать покоя. А бывалый рыбак объяснил мне, что ловить сомов и здесь очень просто, как вообще чем-нибудь заниматься в нашем житейском мире или море: наливай да пей. А если очень уж хочется поймать именно сома, надо постараться и не жадничать. Первую чарку отдать воде. Потом нарубить колья и вбить их по берегу воды. Сомы нисколько не умнее людей. Тут же поплывут посмотреть, что за разумник объявился. Примутся, надрывая животы, смеяться до упаду.

Самая пора не зевать, как можно быстрее хватать их за усы, завязывать узлом и набрасывать на колья.

Науку бывалого рыбака я усвоил. Особенно первую практичную часть, конкретно диктующую мое поведение. Дело оставалось за малым и несущественным. Найти сомов, и чтобы они были не прочь со мной причаститься, взять чарку и сохранить чувство юмора. Такие не встречались. Словно перевелись или кто-то с этим делом уже перебежал мне дорогу. Сибирские сомы брезговали мной, полешуком.

Я бросился вдогонку за ними, прихватив на плечо свой нехитрый рыбацкий скарб, помчался по всей одной шестой части суши. Мог бы и дальше. Но дальше не пускали. Мои руки были необходимы только тут, подобно Прометею, прикованному к всесоюзным комсомольским ударным стройкам – заводам, шахтам, комбинатам. А еще Дальний восток, полукитайские Амур и Уссури, Забайкалье с милым именем реки или речушки Чара, которой я, к сожалению, не достиг. Как только услышал ее имя, она повела меня, словно лошадь в поводу. Очаровала меня речка Чара, но навсегда осталась неувиденной и неизведанной… Потом Украина, Крым, Казахстан с их озерами реками и речушками. И, конечно, мать русских рек – Волга.

Хотя, признаюсь сразу, Волга не моя река. Очень уж неудержимая и непререкаемо уверенная в своей царственно-величественной русской красе и мощи. Я не выдерживал ее властного подчинения всего, что противостояло или пыталось противостоять ее водам. Едва ли не брезгливое верховенство не только надо мной, а вообще над человеком. И одновременно безразличие, равнодушие. Она утягивала и заговаривала меня еще с прибрежного песка шепотным и щекотливо ласкающим теком воды, на первый взгляд спокойной и кроткой. Но все это было нарочитым, обманчивым. Стоило только довериться ей, сразу же становилось понятно – она тебя уже не отпустит. Ты никто и ничто перед ней.

Грузина до оккупации еще заморскими автомобилями спросили, может ли он купить Волгу. Тот ответил, что, конечно, может, но зачем бедному грузину такая большая река. Так зачем же и белорусу, полешуку, на чуж-чуженине такая речка. Разве чтобы только утопиться. Потому я без сожаления распростился с Волгой, посчитал более пригодным для своих рыбалок Тихий Дон. Поменял мать на отца. Обмен, измена великой русской реке обошлась мне дорого. Не только норовистой, но и злопамятной, ревнивой оказалась красавица Волга.

Из Краснослободска, небольшого уютного городка на противоположном берегу Волгограда с его железнодорожным вокзалом, я добрался легко. Без труда поездом доехал до тенистого, утонувшего в палисадниках и пыли поселка где-то в семидесяти километрах от Саратова. До турбазы на берегу Ти-

хого Дона оставалось совсем ничего, километров десять, двенадцать. Туда бегал местный юркий автобусик. Но я уже был охвачен лихорадочной дрожью нетерпения, подбил жену идти немедленно, пешком.

Это была еще та дорога. Ад может закрываться на переучет, черти уходить в долгосрочный неоплачиваемый отпуск. А грешники сочувствовать и утешаться: в покинутом ими мире есть мученики больше их. Груза на нас с женой было пуда по три, а может, и больше. Полешуки народ предусмотрительный и запасливый. И время было такое, что все свое надо было носить с собой. И мы тащили это свое, как двугорбые степные верблюды, некогда обитавшие здесь. А горбов у нас было не два, четыре – по бокам еще – настоящие дромадеры, ко всему еще и рогатые. Я был капитально оснащен удочками, спиннингами и подсачками.

Солнце радело над каликами перехожими, как на сдельно-прогрессивной оплате. Жара за тридцать. В дорожном песке можно печь яйца. И ни единого деревца по обе стороны дороги, чтобы хоть губы облизать в холодке. Только справа вдоль нашего пути, словно зеленое издевательство, – заросли лозы и раскидистые вербы. Но до них от дороги метров двести, может, и больше, свернуть нет сил. Удерживала, застила сознание и моя одержимость: вперед и только вперед. Иначе – остановимся, присядем и больше не поднимемся. Не стронемся.

По первости жена еще юморила, подтверждая, что жизнь мы учили все же по учебникам, в том числе и древней литературы:

– Доколе муки сии, протопоп, будут?

– До самые смерти, Марковна.

– Ну, ино ешё побредем.

И мы брели. Жена все чаще и чаще поглядывала в мою сторону, и у меня прибавлялось и прибавлялось груза. Но мы все же как-то доползли до высокого обрывистого берега Тихого Дона, где располагалась наша турбаза. Как раз в ту минуту нас обогнал немощный, траченный ржавчиной автобусик. Просверком блеснула и вода. Батька-Дон избавился от охранительных объятий кудрявых лоз и ветвистых крон могучих верб.

Идиоты, недотыкомки. Оказывается, мы все десять-двенадцать изнуряющих километров шли рядом с рекой – в двухстах вербных лозовых метрах. Подлянка из подлянок, думай не придумаешь, Мы упали, отягощенные собственными рюкзаками и авоськами, молча пялясь друг на друга. На упреки и смех не было духу. Хотя смех позднее появился, подлый, а потому искренний. Смех идиотов над безнадежными идиотами.

На турбазе нас опекал зрелого века казак из станицы на другом берегу реки. Название ее затерялось в череде лет. А казак назвался Дядей Сашей. С

хорошо пропеченным местным солнцем лицом, выразительными морщинами на нем, но все еще по-казацки фигуристый. В любую минуту – на коня, в седло, саблю наголо и за красных или белых.

В меру, по-мужски пьющий, доброжелательный и не суетный. Как-то по нашему, по-полесски, рассудительный – памяркоўны. Больше делал, чем говорил. И говор был очень мягкий, милозвучный. Русский, конечно, но с украинской напевностью и примесью, пересыпью наших белорусских словечек, что мне особенно в нем нравилось. Смешение языков было очень естественным, словно все люди именно так и должны говорить. Перед тем, как сказать что-то значительное, обязательно вытирал о сорочку на груди руку. Привычка. как я позднее понял, истинно рыбацкая. То же самое он проделывал, поймав приличных размеров рыбу, сняв ее уже с крючка, предварительно сполоснув руки в воде и начисто вытерев их о сорочку. Потому на груди она разнилась цветом, была светлее, чем по бокам, словно подготовленная к медали или слегка бронированная. И это было к лицу ему, объединяло с тем, чем он занимался и что больше всего любил – с чистыми водами родного ему Дона и рыбой в нем.

А рыбак он был удачливый, вдохновенный, как говорится, от Бога. Дарованы ему были на это глаз, рука и душа. Мне же поначалу на батюшке Тихом Доне не очень везло. Ловилась больше мелочь. Плотва да сухоребрица-ляскалка – густера, а то и вовсе вездесущие пескари и головастые, навсегда испуганные и голодные бычки. Дядя Саша обучил меня ловле синьги. Что за рыба, какое у нее настоящее имя, не знаю и сегодня.

– Синьга есть синьга, – коротко и конкретно объяснил мне донской казак, замешанный на белорусе и хохле.

И на самом деле, синьга была синьгой. Подсиненная, начиная от подбрюшья. По бокам уже выразительно синяя, а хребтом – сталисто-черная, с антрацитовым отливом. Жирная, наваристая в ухе, с тонким ненавязчивым ароматом самого Дона, степного юга с притаенными в нем богарными арбузами, выращенными в строгости, без полива, и вечернего тягучего дымка костра. Дядя Саша, как оловянный солдатик на плацу, исправно и без особого усердия одну за другой таскал и таскал эту сабельную синьгу. Одним неуловимым взмахом далеко в реку посылал закидушку под крутой противоположный берег. И, кажется, сразу же дёргал на себя, тянул назад. А на ней уже, словно по приказу, сине трепетала синьга. Иногда с полкилограмма, а то и больше.

У меня, как я ни старался, так ловко не получалось. И не только с синьгой, но и всей прочей рыбой. Нет, настоящим мастером все же надо родиться. Хотя в казан на уху и для жарки на сковороду нам с женой хватало и моих уловов. Но опять же – вечное недовольство и искушение человеческой натуры – хотелось большего, иного, благодаря чему я и повелся со

здешними, донскими сомами. Хотя первые из них назвать сомами – большая натяжка. Но у настоящего рыбака рука не знает дрожи, а язык – смущения, даже когда он очень нагло врет и преувеличивает. Сомики, конечно, были, по реке – байстрючки, с килограмм или чуть более. С подсказки того же Дяди Саши я завозил свою закидушку на три или четыре крючка под бакен. Вместе с сомиками там изредка попадались таких же размеров судачки.

Это, в конце концов, надоело мне и возбудило. Я посчитал, что достоин большего. Время идти на настоящую рыбу. О, Сабанеев, о, Хемингуэй, о, Виктор Петрович Астафьев и далекий мой пращур, без похвальбы, один на один справляющийся с мамонтом. Сколько поколений любителей сбили вы с толку, свели с ума. Научили, как у нас на Полесье говорят, на пень срать.

Я давно втихомолку возил с собой перемет. Точно не знаю и сегодня, разрешенную или запрещенную, считающуюся браконьерской, снасть, изготовленную по моей просьбе другом, охотником и рыбаком для ловли рыбы на больших сибирских реках, которой я до этого не пользовался. Но хранил. В рыболовном же хозяйстве никогда ничего лишнего нет. Прочный капроновый шнур метров сто длины. С десяток поводков немецкой лески ноль пять, ноль шесть миллиметров диаметром. И крючки не двенадцатого ли прежнего отечественного размера и такие же отечественно надежные.

Вот такую снасть я вытащил из своего рюкзака, растянул, разложил на берегу. Насадка была приготовлена заранее, на самый извращенный вкус любого зверя. Выползки – земляные черви местного происхождения, более привлекательные национальному самосознанию донской рыбы, добытые, когда они выходят из своих норок, чтобы загорать при полной луне в полночь под плодовыми, ранее хорошо унавоженными, деревьями. Внешне противные, но внутренне искусительно толстые и жирные личинки майских жуков, предосенне ушедших глубоко в землю и извлеченных оттуда мною. И зеленые еще недоразвитые лягушки, маленькие, но прыгучие, верткие, до которых, по свидетельству бывалых рыбаков, чрезвычайно охочи самые переборчивые большие сомы.

А в том, что они здесь есть, можно было не сомневаться. Их даже по запаху можно было унюхать и догадаться. Так крепко несло падалью, когда ветер дул в сторону турбазы. Неподалеку от нее в лозняке, говорил Дядя Саша, издох во время половодья и нереста огромный сом – центнера три чистым весом. Зашел и отнерестовал в корчах по большой и уже хорошо прогретой воде. Произвел наследников. Самка, мать, немедленно ушла. А он подзадержался на страже и упустил время, когда вода пошла на спад и еще можно было убраться. Мне хотелось посмотреть на того верного долгу сома, но я вспомнил уже виденного подобного зверя в детстве и не отважился. Что-то претило, заступало дорогу, может, и предостерегающая охранительная память детства. Все же более пристойно хранить в ней живое.

Место, определенное мной для завоза перемета, было приметным. Дон, словно споткнувшись, бросался там прочь, поворачивал почти под прямым углом, образуя излучину и заливной, затянутый тиной, ряской, остовами снесенных половодьем деревьев плес. Правда, таких непроточных плесов я избегал, предпочитая с детства более привычные мне песчаные взлобья островов, где течение реки не прерывается, а лишь замедленно приостанавливается. Но это я, а не сом. Мы с ним, хотя в чем-то и близкие, но у каждого свои прихоти и своя придурь. Не исключено, кому-то из наших братьев хочется хотя бы немножко побыть человеком, а человеку – зверем или рыбой.

Я укрепил пустой конец перемета на берегу. К другому, с крючками и насадкой, навязал два кирпича. Вбросил их в лодку и погреб к трясинному плёсу. Лодку немного снесло течением от того места, куда метился. Но я не стал ее выправлять. Батька-Дон знает, что делает. А упрямство и неповиновение кажущейся случайности не всегда нам на пользу. Надо доверяться судьбе. И я торопливо плюхнул оба своих кирпича в тусклую глотательную бездну донской воды: ловись, рыбка, большая и маленькая. А лучше все же большая. И у кота должны быть праздники.

На следующий день, еще на рассвете, не обмолвившись ни жене, ни Дяде Саше, я был уже у перемета. Кол, к которому он был привязан, стоял нестронуто. Я попытался подтянуть перемет к берегу. Он не поддался, будто прикипевший или вбетонированный в речку. Кирпичи, наверняка кирпичи вросли в ил. Я сел на корму в лодку и, держась одной рукой за капроновый шнур, подгребая другой, поплыл слегка против течения к противоположному берегу, вблизи которого утопил кирпичи.

То, что произошло дальше, мне и сегодня кажется невероятным. Я не успел еще преодолеть середины Дона, как почувствовал, что кто-то ведет меня, помогает. Правда, не совсем удачно, кривульками. Сбивает лодку с курса, бросает в стороны, но тут же спохватывается, тянет вперед. У меня и в мыслях не было, что это нечто живое, подсевшее на крючок. Дон, река, шутит, заигрывает со мной – подводные, невидимые глазу течения. К тому времени я уже почувствовал его норов, непредсказуемость, а иной раз капризность.

Конечно, не Волга, но показать зубы, померяться силами горазд. И неизвестно, кто окажется в победителях. Приглаженная, лоснящаяся ровнядь, задумчивость и покой Тихого Дона, млеющего в жару под солнцем в зените полдня, в темени припавшей к нему ночи и обнажившего его утра, обманчива. Как может быть обманчива и коварна одна только бегучая вода да еще женщина.

Тихий кроткий Дон не похвалялся без нужды ни богатырской силой, ни чремерным, разрушительным буйством. Все это было сокрыто в нем под

нарочитой, кажется, покорностью и тихостью, которые оказывали себя в полную силу лишь тогда, когда это требовалось. Когда приспевало время не бесцельного бунта и лютости, а противостояния. И не кому-то или чему-то будничному, обычному – а властному, высшему, чужому здесь, которое слепо и брезгливо в своей непререкаемой ничтожности пыталось обуздать его, самоутвердиться в его глубинах. Командирить над небом и землей, воздухом и водами. Это постороннее, налетное выбирало для своего пробуждения обычно воробьиные ночи, аспидную их темень с громами и перунами, ливнями, сумасшествием самого неба, с потерявшими там голову божками и боженятками. Именно тогда безудержно и неукротимо проявлял себя, свой крутой нрав и настоящий лик совсем не Тихий Дон. Гудом донных и поверхностных вод, лавинным валом волн, неустанной тягой течений. И горе тому, кто в такие минуты пытался противостоять ему.

Он вышел ко мне из размытой тусклости донской воды, как из продолжения моих детских снов. И я встретил его, как недосмотренный, скрытый в подсознании сон. Поприветствовал свое несбывшееся, прерванное прошлое. И сом, по-всему, ответил мне. Зевнул, широко разведя изнеженные на донских лакомствах губы. Покивал сивым длинным усом и подтвердил приятность нашей встречи усиками малыми, желтоватыми, и плоским, извильно-подвижным и очень гибким хвостом.

И тут между нами пошло что-то непостижимое и невероятное. Переглядывание, перетягивание, борьба не борьба. Скорее, игра. И сом был завадатором этой игры. По-всему, безусловно, уверенный в своем превосходстве и победе. Иногда он почти не сопротивлялся, замедленно и лениво замирал, позволяя подтягивать себя к самому борту лодки, но, соприкоснувшись с ним, сразу же брезгливо отслонялся. Без усилий вертикально уходил вглубь или пластом ложился на воду, так же без усилий отдаляясь от лодки. Отплывал, вылузывая из моих рук капроновый шнур, и внимательно смотрел на меня маленькими, казалось, похмельными глазами с желтоватой поволокой лет. Без испуга, отчаянья и даже укора.

Одно в нем было очевидно и читаемо, как когда-то у его сородича на телеге возле сельского озера, ниспосланное неведомо откуда и кем высшее знание неизбежности и непротивление ему. Подчинение с достоинством, а может, и с гордостью. Разница лишь в том, что сейчас глаз у сома оставался зрячим, не закрывающимся, хотя и очень равнодушным к моим усилиям совладать с ним.

Я понимал, что между нами пролегла вечность. И не только столетий – воздуха, воды, родившей нас и также разведшей, разделившей. Сегодня мы с ним очень и очень разные, и не только средой обитания, но и жизненным измерением. Сейчас и до исхода, скончания веков есть, будет и останется, не по нашим, конечно, меркам, неизвестным: за кем все же правда.

Может, ее ни у кого нет – действительно только вечные ловы. Недаром речь о них, ловцах душ, идет еще в Библии. А мы оба существа библейские. Беда только, что не единственны, и нам тесно даже среди подобных нам. И это не он, сом, а я меньший брат его, его потомок, хотя и противлюсь, боюсь признаться в этом. Потому из века в век охочусь на него, жажду поймать, унизить, победить. Убить, как Каин Авеля. И этот, восставший, возрожденный из небытия, одиночества и покоя вечности Авель и на том свете понимает и чувствует, и сочувствует, монстрово уходя опять на тот свет. Но я не приучен оглядываться. Бесконечный вековой гон выжег подаренные мне зачатьем милосердие и сопереживание. Велеречиво изгаженное понятие братства.

Возбужденный и оскорбленный непокорностью добычи я отрешился от пробужденных на мгновение милосердия и жалости: я возьму тебя, сом, ты будешь моим. Ты годишься быть моим, такой большой и сильный, что мне во славу сломать тебя. Ко всему, ты красивый, изукрашено пестро цветной, искристо-черный, донно, преисподне подзелененный земными зарослями лозы, солнечно по-живу кроваво подпеченный болью и упрямством, небесно-голубой в донской воде. Радуга на тебе может отдыхать. Ты дорог и люб мне, хотя про тебя говорят: одна из самых гадостных наших речных и озерных рыб. Но я тоже не подарок. Мы оба достойны друг друга. Но ты лучше. Именно потому, Авель ты мой, я одолею тебя.

Одновременно до отчаянья и щемящей боли понимал, предчувствовал: нет, не одолею. Не мой это сом. Длиной более двух метров и под три пуда весом. Подбирается, а может и переступил уже за вторую половину своего века. Вон сколько набрал на голову всякой мерзости: и пиявки, и водяные черви, и черт знает что еще. Как мы в детдоме пели: на побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, жопа в орденах. Несчастный, как и нас, наверху, сосут тебя и сосут, точат и точат земные черви, Это же надо испоганить такую голову – всему Дону голова. Ее не грех и открутить. Жаль, конечно, но надо. Надо, прости, но всех не пожалеешь. Вот только не думал и не ждал, что так повезет. Не подготовился, нету при мне ни багорчика, ни веревки, на крайний случай шнура, чтобы петельку сделать и взнуздать тебя, протащить через жабры. Ухватиться за те же жабры багорчиком, тюкнуть по темечку топориком.

Разумный человек не стал бы настырничать. Опустил бы перемет и обратился за помощью к тому же Дяде Саше. Но я был не из разумников. Не колеблясь, набряк силой и глупостью, потащил сома к бортам лодки, намереваясь заключить его в объятия обеих рук. Защемить, выхватить из воды, поднять и кульнуть через борт себе под ноги. Сом легко дался подвести себя к лодке. У меня даже получилось слегка взнять над водой его голову. Но когда я хотел перехватиться, взять в тиски туловище ближе к средине, со всей трепетной силой мужской ласки прижать к себе, чтобы на противовесе сподручнее опрокинуть его в лодку, случилось то, что должно было случиться.

То ли мне попался сом, не терпящий мужских объятий, то ли он был очень уж охранно-скользкий, сопливый, а может, просто не хватило силы в руках. Но если бы и хватило, пользы никакой. Сому, наверно, наскучило играть со мной. Почувствовал, что с моей стороны это уже совсем не игра. Покушение на его свободу и жизнь. Он избавился равнодушия, лени, юмора и так дал в хомут, что я едва удержался на корме лодки. Что-то хряско и хлестко щелкнуло в воде. Шнур утратил натяжение. Поводок на нем обвис. Я ошеломленно застыл в лодке, И сом застыл в воде неподалеку от меня. Два истукана в одной реке. Та еще картина, хотя и не маслом.

Минуту-другую мы, неуклюжие и недоуменные, были подобны поплавкам в мертвом штиле речного равнодушия. Первым опомнился сом. Стал разевать рот, синенько пошевеливая губами и одним сивоватым усом – второй я оторвал. Думаю, что он был не в обиде на меня за это. Скорее благодарил за встречу, приятное знакомство и полюбовное расставание. Тем же был занят и я, держа в руке поводок с куце- и хрупко обломанным под самое цевье крючком двенадцатого советского номера. Сталь, хотя и отечественная, не удержала донского вольного казака.

И я был благодарен и рад этому. Как бы я повел себя, выдержи она. Что бы я делал с таким огромным сомом. Пусть гуляет и пасется в Тихом Батюшке-Доне, в славной реке былой казацкой вольницы трех народов. А я буду знать, что где-то еще есть сомы. Радоваться. Ведь благодаря одному из них и познал настоящее рыбацкое счастье, выпадающее на долю рыбака, может, только раз в жизни.

Я ни с кем не поделился, никому не заикнулся о встрече со своей детской мечтой в чужих донских водах с настоящим сомом. Все свое ношу в себе. Не годится оглашать и пускать по ветру утешные и величественные мгновения того, что бесконечно дорого, мило и любо душе. В словах это теряется, тускнеет и блекнет, пропадает не только прошлое, но и будущее. К большому сожалению, именно со слова начинается сегодня беспамятство.

А последующей ночью мне еще даровано было изведать нрав и силу Тихого Дона, потому что была она как раз Воробьиной. В сумерках уже я подплыл к причалу, где неделями загружали баржи донской пшеницей. Само собой, где пьют – там и льют. Зерно сыпалось в воду рекой. Прослышала об этом и рыба. Дядя Саша утверждал – язи, матерые, падкие на халяву. Подобно им, я тоже выправился на дармовую обжираловку. Если уж не вышло поймать печального монстра сома, то, может, посчастливит на матерого лайдака-язя.

Только пристал к каравайно-запашистому причалу. Сделал первый пробный заброс, как небо сошлось с землей. И было непонятно, откуда берется и грохочет гром, где прячутся блесковицы-молнии. Грозе, громам и молниям, казалось, нет и щели пролезть между водой, тучами и накопить силы. Только

ветер проницал земную, воздушную и водную скрепь. Такой ветрище, что донские волны перекатывались через причал, достигали флага наблюдательной погрузочной будки. Язям явно было не до халявной пшеницы, меня и моих удочек. Но я не горевал. После утреннего возбуждения такая ночь была мне только на руку. Это была моя ночь, моя погода, как, наверно, и сома. Сквозь вихры и смерти он прощально приветствовал меня. Потому что утром я покидал его и Дон. Мы хорошо запомнили и всласть потешили друг друга. И сейчас он без натяжки может засвидетельствовать: где-то все же есть человек, а я – где-то есть сом. Мой сом.

Про недотыкомку пролетарского карпа на панстве

Все знают, что карась любит, чтобы его жарили в сметане. Карпу же более по нраву быть фаршированным. Общеизвестно это еще со времен царя Гороха, когда тот, еще не фаршированный, живой карп в магазине и на базаре стоил девяносто копеек килограмм. Но мелкий. А вот за рубль двадцать – большой. Можно сказать даже – крупный. Карась также, исходя из размеров, оптом и в розницу – на круг шел по шестьдесят копеек и чуть больше. Жил же царь Горох. Да и люди вокруг него. Уважали природу и рыбу.

На большого карпа был и большой спрос. Особенно на золотистого. Не такой, конечно, как на туалетную бумагу, в те же гороховы времена, но все же. Карпов хватало всем. Давать его – тогда так уж было заведено, все только давали, а не продавали. Обычно по осени, когда он аккурат подходил, поспевал под фарширование. И каждая его чешуйка, кстати, также крупная – как золотая звезда на груди вождя и генерального секретаря компартии.

Карась же, хоть и более доступный по цене, такой популярностью и спросом не пользовался. Пустозельная рыба. Присосалась, растет подле карпов, как пырей в огороде. Ни досматривать, ни кормить ее не надо. Одно – время от времени пропалывать, чтобы не замусоривал культурное пространство. Ко всему прочему карась этот с душком еще, тиной пахнет, даже на сковороде и в сметане. Рылся и плескался, как дома в коммунальной ванне, в каждом пруду и в каждой луже – воробью по колено – при каждой животноводческой ферме среди ее стоков, где и коровы брезговали воду пить. Даже в сажалках, прудах вблизи современных энергоносителей – бензозаправочных станций. Живет, пасется и плодится. Кто знает, может это предшественник будущего человека и человечества.

Да, ранее, при мракобесии царя Гороха, были времена, сегодня же одни только моменты: пескарь плотвицу сгреб – платит алименты. Нет, не одни лишь цари, но изредка и вассалы, смерды допускались к халявному корыту. Потребляли, что Бог послал – дары земли, воды и леса. Правда, в виде недоедок, – костей с царского стола. Выпадали они и фаршированные, и в сметане. Кто насколько ухватист, и кому уж что на роду написано. Но карп и карась всегда были и оставались самой что ни на есть челядно-пролетарской

рыбой, народу и для народа, как опиум. Потому последние крепко и без принуждения усвоили: лучшая рыба – мясо, лучшее же их мясо – колбаса за два двадцать. Но с этим лучшим было туго. Может, как раз потому и люди, и рыба той поры полюбили четверг, объявили его едва ли не праздничным днём. Не обозначив, правда, чей все же и кому в тот день праздник, окрестив его просто рыбным днём по всей шестой части суши.

Ничего, конечно плохого, где-то есть даже день сурка. А советских праздников – так все триста шестьдесят пять дней в году: празднуйте и не просыхайте. Хотя в данном случае праздник был не конкретизирован. На одной шестой части суши совместно праздновали караси в сметане, – а больше без, фаршированнае карпы и люди – на сухую. Рот драло, глаза на вылупку, но ели. Не кошмар и не ужас, как сегодня, когда только от одного взгляда на ценники карпа с карасём может прикинуться медвежья болезнь: тоньше соломинки, выше хороминки. Карп фаршированный в наших кулинариях и кафе взлетел в цене до космических высот – в сто, сто пятьдесят раз. Как-то даже неприлично озвучивать цифру – трусь и промолчу. Восток, конечно, дело тонкое. Но мы, похоже, все уже узбеки. Подобно Ходже Насреддину, наслаждаемся запахом еды, оплачивая ее даже не звоном монет – ужасом восстающих волос и пугачевским бунтом желудка.

Но достойно ли ублажать себя и свое чрево не совсем еще сегодня умершей памятью времен, когда про карпа в словарях и энциклопедиях не без брезгливости писали: пресноводная, костлявая рыба семейства лещей и сазанов. Неприхотливая. Водится во всех прогреваемых водоемах. В диком состоянии называется – сазан. На Украине – короб и короп. А у нас, не мудрствуя лукаво, – карп. Потому что ленивый и заторможенный. Копается и роется в придонном иле и тине, стирая нос. А потому корпатый или кирпатый – курносый. Что-то вроде водного поросенка. Возможно, именно последнее пришлось по вкусу, легло на душу нашим пращурам. У нас же, их наследников, не хватило духу опровергать

В наших же местах, на babприпятском Полесье, несмотря на обилие еще издревле разнообразной рыбы, в том числе когда-то осетра и белуги, карпа уважали. Не леща, не сазана, а именно карпа. Более полувека тому леща и за пристойную рыбу не считали. В Случи, когда он шел на нерест, можно было торчмя ставить в воду весло, и оно не падало. Брали его, леща, мешками. Везли возами. Запеченный и высушенный на соломе в печи он был почти лакомством и очень годился весной и летом в борщи, кулеши, затирки, особенно в дни церковного поста.

Сазан же на гомельском Полесье прокидывался лишь изредка, местные рыбаки его почти не знали. На Житковщине, около Случи, водился преимущественно в Княжьей старице меж деревнями Вильча и Княжбор, в русле

видимо, когда-то большой реки, чуть ли не с первобытно пещерных времен, уныло и хмуро занавешенном и задымленном то ли стариной, то ли печалью уже новых времен. Заколоженное и бездонно трясинное, зачарованное, словно в нем и сегодня сохранно и скрытно проживал тот же пещерно первобытный человек и никого не подпускал, оно порой почти полностью исчезало, подземельно поглощаясь, оставляя лишь знак о себе, заплатку, будто глаз с того света или утопленная здесь звезда. Неизвестно, откуда и из каких столетий зря на сегодняшний белый свет, некого охраняя и сторожа. След былой бегучей воды зауживался, запечено сукровично сседался до непроходимой трясины, корочно отверделого донца, веретенно источенного вьюнами. Во влаге исходно преисподних нор елозили большие и безобразные жуки-падальщики, черноспинные. с коричневым подбрюшьем.

Это обычно случалось посредине очень жаркого и суховейного лета, в спад, межень воды в водоемах. Но лето кончалось, приходили и проходили осень и зима. Брала свое у снегов весна. И старица, неохватная глазом, разливно и широко возрождалась вновь и что удивительно – с рыбой, повзрослому бесстыдно оказывающей себя. Таким образом, сазан был жителем двух миров, того и этого. Его ощутимо побаивались. Хотя старожилы и клялись, что ничего вкусней глаза сазана в жизни не пробовали. Ведро корчевки, полесского самогону, под него, как нечего делать, можно уговорить. И ни в одном глазу. А каким был тот сазан и его глаз и сколько под него можно выпить, пьющие могут представить себе сами.

В немалой степени карп стал знаменитым еще и потому, что был даровым, халявным. А на халяву, как говорится, и уксус сладкий. Сам по себе в диком состоянии он почти не встречался. Слыл дармоедом и неженкой белопольских панских прудов, а позднее – советских рыбхозов. Его искусственно разводили в специальных годовальниках, химически обработанных от рыбьих хворей и микробов. Пересаживали в пруды, где они выгульно набирали вес, кормили их зерном и специально разработанным комбикормом. По осени из нагульных прудов спускали воду и отлавливали уже так называемого товарного карпа. И быстро, быстро, пока он не зашелся, не отбросил коньки, сложил ласты и дал дуба, асфальтом и бетоном, минуя деревенские селения, хаты, дворы и подворья, их печи и столы, живого, соленого, копченого везли в услаждение больших городов, областных и столичных. Ведь в одной только Беларуси, как известно, три столицы: Минск, Бобруйск и Плещеницы. А еще же есть и Москва. Везли без остановок и пересадок, прямо на столы со скатертями- самобранками нужным и очень нужным рыбхозу, стране да и всему человечеству, людям. Что влияло, не могло не влиять на пробуждение у имеющих глаза, но не имеющих рыбы местных жителей пролетарского сознания, вкупе с возмущением и гневом.

Это начало сказываться и на карпе. Он в половозрелом возрасте стал проявлять характер, уходил в беженство, эмигрировал к своим не изнеженным и не прирученным собратьям – диким лещам и сазанам. Похоже, сам взламывал свои камеры, запорные решетки шлюзов, курносо поднимал и сбрасывал завалы, задвижки запоров – в знак революционной солидарности и сострадания к своим свободным, но голодным родичам-тубыльцам. А уже собратья этих тубыльцев, сами тубыльцы – печати негде ставить – хорошо знали урочный час бешенства с жиру одержавленного карпа, его исхода из коммунистическо-распределительной Мекки. И не только знали, но способствовали его святым освободительным устремлениям. Потому что это было лучшее из свидетельств прихода в их дома сытной и наваристой осени, страдной поры на полях и второго укоса трав, припадающий как раз на короткий промежуток между яблочным и медовым Спасом, а также на первый отлов рыбы в рыбхозах. Время, когда крестьянин мог побаловать себя вареным и жареным карпом и ухшицей. Когда над первыми отавами, надречными осоками и озерными смуглоголовыми камышами и рогозами, удовлетворенные летом, брюхато и лениво подрагивали коричневыми кольчатыми хвостиками осоловевшие от солнечной неги стрекозы и кузнечики. Подобно прилетным заморским бумерангам, они кучно вздымались из-под ног человека и почти сразу возвращались в его след на скошенной траве.

Именно в такую благодатную пору, во время первого отлова в рыбных хозяйствах, карп и добывал себе волю и свободу. Неожиданно в охраняемых прудах появлялись прорехи, дыры в тюремных решетках, разрывы и проломы в запрудах. Карп беспрепятственно, застоялой сточной водой, уходил в настоящую жизнь по каналам, соединяющим их камеры с рекой. А люди уже предвидели его появление. Ждали, как ждут мессию.

Вода в реке, до которой их в ту, уже перестроечную пору, еще допускали, из-за прудовых сливов прибывала, тускло и густо темнела от поднятого со дна ила и остатков корма барских пастбищ. В ней теперь правили бал, жирели местные, тутошние безродные пескари и пронырливая плотва, этого года маломерная мелюзга, которую в свою очередь употребляли прожорливые и всеядные щуки и окуни. От этого пиршества, кажется, дымчато, августовски густел и сам воздух над водой, уплотненный нашествием также склонных к халяве птиц и гнуса.

Деревенские удильщики такой порой предпочитали ловлю рыбы в приречных озерцах, стариках и старицах. Ловили вольных уже, былых государственных, рыбхозных карпов, больших, неповоротливых, жирных. Много и в самых непредсказуемых местах. Халявный, пришлый карп казался им слаще, намного вкуснее тутошнего, беспородного, не отдавал болотом. Ко всему, чаще золотистый или серебряный, почти бесчешуйный. Потому и охотились за ним. И я тоже. Хотя вываживать его особого удовольствия не было. Был

он слабее дикой местной босоты. По первости делал, как водится, мощный рывок, описывал полукружие в воде, стремясь положить леску на спинной плавник, где имел довольно острую пилку. Пробовал перепилить капроновую жилку. Но быстро выдыхался, ложился плашмя и, уже хватив воздуха, слепо и покорно следовал на поводу рыбацкой лески. Я не уставал изучать его. Грезилось, что в его крупной, назубленной чешуе таится писаное золотом и серебром послание. Я разгадывал его в курносой ущербности рыбы, теряющей в тоске и недоумении при свете солнца краски. Безрезультатно, конечно, обращаться нам даже к рыбьему небытию, как, впрочем, и бытию. Чего нам не дано, то уже не дано.

Но кто знает, может, именно это подвигло меня, когда в жизни выпала большая радость – я получил квартиру в Минске – отметить новоселье фаршированным золотистым карпом. Отправился за ним за тридевять земель в родное мне Полесье – коли есть, так уже своих. В рыбхоз, на берега, хорошо изученные мной, исхоженные рыбалками, правда, без воровства и браконьерства, тихой грибной охотой. Потому что лучших, более спелых и могучих боров с соснами, к которым с царских, белопольских и советских времен не прикасались ни топор, ни пила, я нигде, ни в Беларуси, ни в Сибири не встречал. На диво щедры были они боровиками. Сам рыбхоз, созданный еще за польским часом, был едва ли не лучшим, самым зажиточным на Гомельщине. Это из него карп каждое лето убегал на волю. Директором рыбхоза был человек со знаковой фамилией Рыбалко.

На Полесье о нем слагали легенды. Во-первых, он был, кажется, неподвластен годам – этакий полесский Мафусаил в директорском кресле.. Во-вторых, считался непотопляемым. И, похоже, никогда не спал и не дремал. Днем и ночью, сам за рулем, колесил на его же возраста газике по прудовым дамбам. Днем и ночью над тихими водами, обрамленными красной малиной, густо заселенными дикими, словно бойлерными утками, разносился его могучий фанатичный рык:

– Прекратите ловить рыбу! Прекратите ловить рыбу!

И не важно было, имелись ли тут ловцы- браконьеры – железная советская вера и убежденность знающего жизнь человека тех, да и преемственно сегодняшних дней: если есть что красть, то поблизости обязательно должен быть и вор. Истина социалистического строя жизни и неоспоримость убеждения и утверждения местечковой власти. Типовой портрет номенклатурщика средней руки. Не в этом ли и объяснение успешности и зажиточности его хозяйства. А еще, как мне сегодня кажется: не здесь ли истоки будущей махровой коррупции и взяточничества, с предпосылками, как это явление обратить на пользу власти: есть преступление или нет, но на всякий случай на каждого надо иметь досье, чтоб не рыпался в обозримом будущем. И речь не

только о человеке, но и о рыбе, том же бродяжном, вольнолюбивом карпе – обоюдная зеркальность нашего сосуществования. На одном крючке:

– Прекратите выеживаться и слишком много понимать о себе…

Рыбалко содержал и кормил не только карпа и прочих отечественных, украшающих столы рыб, но занимался и разведением бестера – скрещиванием белуги и стерляди, выращивал диковинную для Беларуси американскую рыбу буффало. Я как-то сам сподобился поймать ее. Нечто серебристое и прогонистое на полкилограмма весом. Не успел толком рассмотреть это заморское буффало, поместил в деревянное отечественное корыто, что валялось на берегу. Отсадил от нашей беспородной рыбы в моем пролетарском латаном садке. Хотел угодить, как это заведено у нас в обращении с иностранцами. Но, похоже, корытным содержанием только оскорбил знатного гостя.

Моё буффало незамедлительно возмутилось, струнно напряглось и стремительно выскочило из крестьянского корыта в обводной канал, где обитало до этого, ублажаемое Рыбалкой.

Такой был Рыбалко, тубыльски предприимчивый, американисто действенный, свойского разлива полешук. На исходе своего хозяйствования, по словам местных жителей, решил он построить в полесской, слабо проезжей глубинке аэродром, чтобы быстрокрылые лайнеры с живым, соленым и копченым карпом напрямую устремлялись по маршруту Рыбхоз – Минск, Рыбхоз – Москва и кто знает, Рыбхоз – Нью-Йорк.

Но это к слову. К тому, до чего именит и знаменит наш отечественный, непритязательный на вид – курносый, костистый и презренный, в самом деле пролетарский карп. Как многогранна и поучительна история и биография его, казалось бы, скромной и полной застоя жизни.

Рыбалко в видах моего новоселья полной мерой обеспечил меня достойным и полновесным – каждый под три кило – карпом золотистым. Но почти сразу же возник и новый вопрос – готовка рыбы. Я уже говорил про любовь карпа к фаршированию. Но, как известно, лучше всего с этим справляются евреи. Трудность была в том, чтобы найти в то время у нас еврея. Они почти поголовно в те годы съехали на свою историческую родину. И все же, как выяснилось, один остался. И именно необходимый, клятвенно выдававший себя за великого кулинара, и именно по рыбе. Явление очень частое среди евреев: настоящие спецы и доки, мастера-профессионалы не рисковали уезжать от своей трудовой и общепризнанной славы и профессии.

Мой реликтовый мастер, ради неукоснительного следования рецептуре фаршировки карпа, потребовал для начала литр водки. На осторожный вопрос: не много ли карпу, отрезал: «Ну, тогда полтора литра». Сошлись на литре с четвертью. Четверть сразу же употребили – за начало и удачу. Кули-

нар вытурил нас с женой из кухни и волховал в одиночестве не менее полноценной трудовой смены, до прихода гостей. Жена сказала: не иначе коня фарширует.

Ошиблась. Он оказался специалистом не только по фаршированию наших золотистых, зеркальных и почти бесчешуйных карпов, но и очень способным на все другое, касающееся состояния кухни. Талантливый человек – талантлив во всем. После произведенного нашим кулинаром процесса фарширования мы не менее месяца скребли, чистили и мыли кухню. А еще около полугода удивлялись, до чего же чешуйчатый бесчешуйный зеркальный карп золотистый, убирая его золотинки даже с потолка.

Но надо отдать должное, продукт у нашего кулинара вышел на все сто с хвостиком. Это отметили и редакция газеты «Советская Белоруссия», и редакция журнала «Неман», прибывшие на новоселье полным составом. Вдохновленные, наверно, тем блюдом, девчата «Советской Белоруссии» бросились качать главного редактора «Немана» Андрея Егоровича Макаёнка. Да так, что невзначай забросили его на шкаф, где сиделось ему из-за низкого потолка панельной квартиры, прямо скажем, не очень уютно. Хотя он и смеялся.

Факт этот сразу был зафиксирован для истории фотокором «Немана» Анатолием Колядой. Но снимок вместе с негативом подвергся жестокой цензуре заместителя Макаёнка по журналу Георгия Попова и был конфискован, чтобы в будущем перед историей и потомками не дискредитировать Народного писателя Беларуси.

Шло время. В прошлом остались многие названные тут дорогие мне люди. Многие безвозвратно ушли навсегда. А ниточка, связавшая меня с моим зеркальным карпом-пролетарием, не только не оборвалась, но и упрочилась. Словно на самом деле на его чешуе написано послание мне или моему сыну. Тому, кто все же когда-то разберет и прочитает его. Придет к прочтению и пониманию всех живых языков на планете. Должен придти. Потому что без этого нет продолжения никого из нас. Так едино и сплоченно, сами не осознавая этого, плечо в плечо, живут все поколения пролетариев. Так ежечасно и ежеминутно сходятся все наши стежки. В нашей жизни ведь без дай причины даже комар не чихнет. Случайности в нашей жизни нет – только неосведомленность, расслабленность и лень.

Но и моя память о золотистом карпе постепенно стиралась, глохла в череде и безладье дней. Казалось, возврата к нему уже не будет. Я черствел душой и телом, подобно черепахе, не полностью ли уже вбирался в созданный мною же костяной панцирь. Одна только морда немного наружу, да нечто вроде слоновьих ног, черепашье укороченных, совсем не для бега – средство ползучего передвижения преимущественно по твердым асфальтированным твердым дорогам.

Но неожиданно я заимел дачу. Потомственный сельский житель, от рождения слитый с идиотизмом, как зло сказал Горький, деревенской жизни, я постепенно начал возвращаться к завещанному идиотизму – к самому себе. Приобрел участок земли, построил дом в деревне.

В соседях у меня или я у него оказался генеральный директор чего-то. Такое соседство невольно понуждало к соответствию. По-белорусски говоря, не хочаш, але мусиш. Невольно должен напрягаться и надуваться, подобно жабе. Этим и объясняется мое согласие с генеральным директором довести наше добрососедство до совершенства или до полного абсурда. Выкопать между нашими разновеликими домами пруд. Запустить в него рыбу – зеркального золотистого карпа и… Думаю, лишних слов здесь не надо.

Местоположение, равно, как и флора с фауной, благоприятствовали нам, создав между нашими участками небольшое болотце с неброской и стыдливой на его краю среди лозы и черемухи воркующей криничкой. Потому не было и нужды жилиться и выбиваться из сил с корчевкой дна будущего водоема. Только уберечь, сохранить криничку, вырубить с большего лозу и прочистить, углубить до белого песка болотце.

Исходя из своих возможностей и сил, я судил: пять-десять лопат, столько же дураков с топорами. И субботник, ленинский, который уже длится в нашей стране не второй ли уже век, – однодневный, в одну субботу. Размах же и планы моего соседа были полностью противоположными – громадье и необъятность глобальная, в духе нового времени. А в конкретном же случае с нашим болотцем все свелось к тому, что сосед доставил фирменный многотонный и многосильный экскаватор. Мое участие в прудовом проекте состояло только в том, чтобы обеспечить той махине зеленую улицу по проселку, ведущему к нам.

Казалось бы, чего проще. Но только я глянул на экскаватор, только он дохнул на меня своей железной утробой и мощью, как я едва устоял на нашей пыльной полевой дороге. Паровоз на гусеницах, мастодонт доисторического или марсианского происхождения. Пятьдесят, а может, и больше тонн живого весу без потрохов, топлива и грязи на МАЗовской платформе. Со стрелой, взнятой до верхушек мачт линии высоковольтных передач, будто назло разлаписто и густо расставленных на подступах к нашему селищу, с низко обвисшими, как у беременной сучки брюхо, проводами. Как все уцелело, осталось не повалено и не порвано после прохода того инопланетного чудища – вопрос не на трезвую голову.

Мы – это я с женой и жена генерального директора – эскортировали его и вели с такой же жесткой решительностью и смертным упрямством, как Иван Сусанин в свое время ляхов. Только мы были удачливее.

Сохранили мы того болвана. Обеспечили проход. Он, не мешкая, сразу же впрягся в работу. И сразу же, намного опережая былых поляков в лесных

недрах, начал пропадать, исчезать на глазах, такой большой и могучий. Стал погружаться и тонуть в неокрепшей еще весенне-рыхлой почве. Зрелище было вполне мистическое, ошеломляющее. Земля хищно жаждала поглотить, утянуть на тот свет пятидесятитонного, воссевшего на ее груди идиота, наказать за бесстыдство и насилие, брезгливо пузырилась и плевалась грязевыми брызгами. Он же лихорадочно и торопливо налегал на нее, припадал к ее плоти трехзубым, сверкающим сталью щербатым ртом ковша. Распиная, скрежетал, калеча, скреб и драл. И пятился, пятился, отступая, как молящийся верующий, а скорее безбожник, антихрист, убегающий из церкви. Чурался, позорно сползая с ее распластанно и бесстыдно обнаженного тела.

Выдирал с корнями по живому лозы, ломал, будто спички, трёх-пятилетние осины и рябинник, крушил до костяной бели пего-рябые стволы многолетних черемух, которые генеральный директор особо наказывал нам беречь. Но попробуй, убереги при неподдельном испуге самого экскаваторщика и его дебила-экскаватора. Они, подчиненные друг другу, нераздельному страху и ужасу беспощадно и бесповоротно, навсегда растоптали, задушили криничку, ее Богом вдохнутую душу. И сейчас душегуб-болван, судорожно всхлипывая ядовитыми дымами, дрожа мазутно-закопченным могучим задом, отступал и отступал, словно открещивался от им же сотворенного. Множил и творил новое паскудство.

Он нащупал и порвал довольно глубоко закопанные в земле кабели, обеспечивающие селище электричеством. Избавленная света, энергии, дача генерального директора мгновенно была отброшена в средневековье. Мастодонт изнасиловал, всласть поиздевался и над болотцем, всем, что велось и росло, жило в нем, после чего одышливо выбился из него, стал гусеницами на утрамбованную землю, дорожный грунт. Но и земная твердь угнулась и неожиданно подломилась под ним. Экскаватор снова начал исчезать, опускаться уже неведомо куда. Пошел в преисподнюю, наскочил, видимо, на подземный плывун и остался в его шатких водно-песочных объятиях навсегда, выставив наружу лишь стеклянно тусклый глаз кабины. Памятник неизвестно кому и чему, коих в нашей отчизне неисчислимо.

Когда мы пришли в себя и поняли, что явление его нам в таком виде уже необратимо, а ров, сотворенный чудищем, стал набрякать влагой, заполняться водой, поняли: приспевает пора обзаводиться и рыбой. Конечно же, карпами. Пусть не зеркальными, но неотложно быстро, чтобы они в остаток лета набрали веса, были готовы, если уж не к фаршированию, то жарению в сметане, как карась. Поскольку мое участие в копке котлована было незначительным, я должен был компенсировать это зарыблением. За рыбой, мальками снова поехал на Полесье по знакомому уже адресу. Рыбалка давно уже был на пенсии. Но и новый директор рыбхоза проникся нашим желанием заполучить в личное пользование свой пруд – в каждом из нас всегда живет

ребенок. И чем бы дитя ни забавлялось, только бы не плакало. И к дачам я вернулся с трехведерным бидоном мальков карпа, в большой части зеркального, и очень подвижного.

Случилось это во второй половине хлопотной, но многообещающей весны. И я был рад не менее той бабы, купившей поросенка. Но про бабу с поросенком я вспомнил уже значительно позже, когда, как говорится, отошли цветочки и завязались ягодки. За пахотой и посевной приспело время иных хлопот – прореживания, химической и ручной прополки, подкормки удобрениями и т.д. и т.п.: в крестьянской жизни стоит только начать, а заканчивается все в могиле.

Но с некоторых пор я стал примечать на поверхности пруда украшающую его многоцветную пленку, словно где-то поблизости обнаружилась нефть или сразу же пошел керосин и невидимыми подземными прожилками достиг и расцветил наш водоём. Я стал собирать ту пленку ежедневно, утром и вечером. Но на следующий день она появлялась вновь, и уже в увеличенном виде. Я, наверно, так бы и не прозрел до самой осени – времени созревания и отлова золотистого карпа, если бы однажды на рассвете не увидел из окна дома нашего коллективного пруда парад или выставку сельскохозяйственной механизированной техники, готовой к труду, как к бою.

Не менее десятка тракторов с различными прицепными причиндалами выстроились на краю картофельного поля наших с соседом участков. Некоторые из них вкрадчиво попыхивали синенькими струйками солярных дымков. Но у большинства двигатели были заглушены, а возле всех них – выморочно пусто. Словно это была некая инопланетная техника, управляемая без участия человека.

Но человеки были. И не зелененькие, как должно быть пришельцам, а белые. Грязнобелые, в солидоле, мазуте и солярке – местные механизаторы-трактористы. Медитировали, ловили кайф. И не только на берегу пруда. У каждого свой кустик лозы или черемухи. У каждого свой клочок земли. И, ясное дело, у каждого по удочке – ладном дрыне с примотанной к его верхушкие леской. Трактористы были на отдыхе и рыбачили. Облавливали нашу сажалку. Ловили наших, моих зеркальных карпов. Бросали их в мазутные и покоробленные ведра, от которых расходилась по воде радужная фиолетовая пленка.

К осени наш водоем был пуст, как яловая корова. Без ограды он был вроде как общим, колхозным. Принадлежащим сразу всем и никому в частности. Соцсобственность – огромнейшее завоевание Октябрьской революции и эры развитого социализма, когда в силе – только по потребностям.

Тому, чтобы брать все, что плохо лежит, много предпосылок. Одна из них уже по недоумению проклятых капиталистов, наши демократы, которые у власти, никак не могут понять, почему им не все позволено, если власть в их

руках, ссылки на закон, права человека до них не доходят. Как и само понятие демократия. Какая может быть демократия для председателя колхоза, если он самый главный в нем демократ, как державшие всех нас за своих крепостных чуть не целый век большевики. И сегодня держат их наследники, духовные ученики. Ни в одном из них еще не отпало рудиментарное большевистское представление права на владение нами. Что только разжигает их инстинкты, обиду сразу на вся и всех. Комплекс нищего духом, почти эротический. Такая уже целенаправленность священного пролетарского гнева, чувства справедливости и равенства, что еще раз доказано, бескровно, правда, в Беловежской пуще в Беларуси в 1991 году.

Во второй половине лета трактористов сменили деревенские мальчишки. Отдыхали от непосильной учебы в школе, получив дозвол на чистку и опустошение чужих садов, огородов и, самой собой, экспроприацию живности буржуинского водоема. Вековой девиз пролетарской прихватизации – нищий, спеши ограбить другого нищего, не то он ограбит тебя и этим возрадуется – впитан вместе с кровью на продолжении всего последнего столетия. И продолжает вскармливаться и множиться в столетия грядущие. Таким образом, к осени от наших зеркальных карпов остались рожки да ножки – ни хвостика, ни чешуйки. Но, это, рожки да ножки, обнаружилось только следующим летом. Пролетарские нищие – племя живучее, изобретательное и терпеливое. Зеркальный карп-пролетарий закален сразу четырьмя судьбоносными ему революциями, выпавшими на его долю. Приспособился выживать и в немыслимых, несовместимых с жизнью условиях, чего не выдержали ни мамонты, ни марсиане. Потому я не очень удивился следующей уже весной, когда растаял и сошел лед, и по берегам пруда всплыло десятка полтора крупных, окончательно избавленных медального золота карпов. Им, мертвым я был рад больше, чем живым. Обрадовался и обнадежился, что они еще не последние. Если они сумели уцелеть в пору такой жесткой, убийственной местной прихватизации, то способны уберечься мягких зимних морозов демократии. На пороге обещанного глобального потепления.

Самое же время теперь их, зеркальных карпов-пролетариев, расцвета и благоденствия. Время их царства и барства, если хоть слегка пораскинуть мозгами: едино только представить, по какой цене идут они сегодня на наш стол. И я каждое утро, как на работу, торопился на берег пруда. Может, где просверкнет, может, где взбурлит, вскинется – хвост или что другое покажет. Другое показывали, и довольно часто. То карасик, то птичка, стрекозы и козявки. Но я не терял надежды. Стыл столбом, всматривался, ожидал. В точности, как в школьном сочинении: Татьяна любила природу и часто бегала на двор. Ничего, ничегусеньки.

Однажды, в преддверии уже осени, выдалось такое утро, когда я пришел к пруду, а его не оказалось. Вообще-то он был. Огромная копанка с грязным

глеевым и безводным дном. И все. И больше ничего. Вместе с водой не под землю ли ушли и мои хилые карасики, и мои желанники, золотистые зеркальные карпы. Если они, конечно, были. Оставили меня в одиночестве с генеральным директором. Бросили, убежали. Стало пусто и грустно: крапивное семя не приживается в роскоши. С грязи да в князи – это не только поучительно звучит, но и вправду: сколько волка ни корми, а у осла пасик больше.

Но я надеюсь. Надеюсь, жду и верю. Хожу и хожу на берег пруда, грустно заросший камышом и аиром. Аир, кажется мне, всплакивает втихомолку, выжимает не только по утренней росе, но и в полдень на сабельно остром кончике прозрачную слезу. И ни солнце, ни ветер не властны ее высушить и стряхнуть. А камыш, похоже, раздражен и злится. Качается, клонится во все стороны над серо растрескавшимся до борозд дном и неведомо с кем перешептывается.

Это напоминает мне сказку Пушкина о золотой рыбке, старое корыто – потресканые осиновые ночовки, у которых хлопочут старик со старухой. Я, уподобленный им, сижу, будто на пьедестале, на металлической кабине брошенного тут и, скорее всего, насквозь ржавого истукана-экскаватора в обезвоженности печально шепотного камыша и дурно-пьяного целебного духа аира. Смотрю во все глаза, скручиваю голову, стремясь увидеть свою золотую рыбку – зеркального медаленосного карпа-пролетария.

А вдруг да он где-то сохранился для меня. Уцелел, выжил, есть. А вдруг, а вдруг. Не такой уж он большой барин, сделает одолжение, вернется. Окажет себя. Он же, как птица феникс, – вечный.

Он живой, и светится

Впервые я с ним встретился более полувека тому назад. Несмотря на то, что все сто двадцать пострелов Вильчанского детского дома были природными или даже суперприродными детьми – сама естественность, согласно нашему происхождению и негласному приказу творца, безжалостно и беззащитно голо вытолкала и поместила нас в лоно жестокой, а порой и людоедской стихийной натуральности – невзирая на это, мы ежегодно, как только спадала вода в Случи и Припяти, ходили в поход. В географию и историю отечества.

А эта география и история буквально врастала и вырастала в нас и из нас, как и мы в нее и из нее. Хотя мы были даже не на окраине ее, на отшибе. Думаю, случайно, но не без намека удалены с глаз долой и из сердца вон. За тридцать верст от тогдашней цивилизации – ближайшего местечка, так называемого в то время ГэПэ Житковичи, за десять километров от железнодорожного полустанка изредка пробегающих поездов и неизмеримой дали больших городов. В пятнадцати-двадцати годах от будущей в том краю бетонки Гомель-Брест. Правда, неподалеку был Туров – столица мертвой славы былого величия Беларуси. Но чтобы причаститься к ней, мы должны были родиться на века и века раньше.

Полесская глушь, тогда клятая, а на самом деле мемориально-историческая, заповедная и заветная, на каждом шагу кровавая, бесправная, голая и нищая. Но нищая не так, как в будущем, да и по сей день: туровские девки замуж без кожуха не ходили. И золотишко до прихода красных комиссаров было припрятано на черный день в каждой хате, в печи или под образами. Житло нам, детдомовцам, было определено в прежних казармах советский пограничников – по Случи после Брестского мира проходила граница с белопанской Польшей. Здешние пограничники опередили в то время всех в стране Советов, первыми лизнули уже покойника, того, кто лишил их отчизны, едва ли не половины, а может, и больше половины территории их страны. Провозгласили сбор средств на первый в СССР памятник вождю пролетариата в Житковичах. Деньги добывали грабежом и насилием. Арестовывали деревенские хаты, по нескольку дней не давали ни есть, ни пить. Рушили, разбирали по кирпичику печи: сдайте добровольно свое смертное золото на благое дело, увековечение святого человека. Да, при царе полешук имел золото, перебивался с хлеба на квас, но заглядывал и в день буду-

щий. Хотя и не так бедствовал, как это вдалбливают в наши головы сегодня. Беларусь российских и украинских голодов не знала: не родило поле – кормил лес, пустовал лес –отзывалась вода. Потому так и стояли за эту землю горемычные белорусы еще со времен ятвягов и до наших дней.

В вековых babyприприпятских дубровах еще теплится память не только языческого прошлого – печаль и жалоба о воинах-моряках Днепровско-Припятской флотилии, безвестно легшей здесь в самом начале Великой Отечественной войны. Но о них мы тогда, как и вся страна, еще ничего не знали. Хотя, хотя – как это все не однозначно и не просто. Как плачет кровавыми слезами обманутая и замороченная на свое прошлое наша белорусская незлобивая память.

Ничего не знали, ничего не ведали. Боялись знать и ведать. Приручили себя к беспамятству, если бы не обличительная и хранительная вода вечности. Она уже в наши времена возмущенно подмыла чуть вздыбленный черноземный берег при впадении Случи в Припять. Раскрыв, явив равнодушному глазу братскую могилу моряков, нашедших здесь, в забытой даже Богом полесской глуши, где, кажется, и войны не было, вечное упокоение. Пришли крадком, прилегли и уснули с миром навсегда.

Воды наши, наши вековые болота, трясины, гати и подгатья с загатьями, боры, дубровы и гаи – куда мы ни ступим ногой, ни ткнемся глазом – не только могильщики нас и нашего прошлого, но его хранители, обереги. А еще – молчаливые летописи и летописцы. Кому сказочники, баюны-былинщики, а векам – свидетели нашей сущности. Прочная, хотя и невидимая преграда идеологическому и всякому иному вранью. Необолганная и неиспоганеная кладовая памяти наших предков. Передаточная цепочка, шестеренка от поколений и поколений полешуков, которые испокон веку здесь рождались, смеялись, любили и горько плакали.

В дереве, воде, земле, даже сырой, могильной, кладбищенской, не просто же так на Белоруси наши погосты, кладбища еще и кладами зовут. Не навсегда там похоронено наше прошлое и будущее. Все клады ждут открытия. А еще меня занимают наши белорусские курганы. Недаром они привлекали и гусляров, и дудочников и пророков-песняров. В последнее время, разгадывая египетские пирамиды, британские стоунхеджи, мальтийские цельнолитые в скалах сооружения, все больше склоняются к мысли, что они возведены, сотворены из разжиженного камня – гранита, базальта. Нет ли чего похожего в возникновении наших печальных при селах и гостинцах курганах. У нас нет гор и горных пород – только земля. И эта земля вознесена и возвышена в курганы, как братские могильники, клады памяти наших предков, их завещание нам вековой заповедности жизни.

Мы, детдомовцы, натуральные стихийные носители этой патриархальной заповедности, крепко и нарекали на нее. Потому что с приходом лета,

может, чтобы и дальше удерживать в первозданности, у большинства из нас отбирали ботинки, штаны, рубашки и даже майки, вынуждая по окрестным болотам, кустам, липовым да ясеневым реликтовым рощам бегать босиком и голяком, не держа в голове убежать от них навсегда и подальше. Не примеряться к человеческим одеждам сладостного цивилизованного рая: быть бычку на лычку, а коровке – на веревке. Не с этой ли целью – спустить неистребимую беспризорную тягу к воле и бродяжничеству – нам устраивали однодневные походы по родному краю.

В тех неизменных после половодья путешествиях была еще одна тайная цель. Забота испокон веку мужская, деревенская, наших воспитателей, руководителей похода. Во-первых, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Недавние солдаты, войной лишенные детства, теперь около и рядом с нами добирали его, не без крестьянской корысти для себя – полешуки же, два пишем, три в уме.

После наводнения, пришлой большой воды по низам в колюгах, ямах, окопах, воронках от бомб и снарядов былой войны оставалась не успевшая уйти с водой рыба. Мелочь, конечно. Но привычному к дармовщине коту и она годится – зачем же пропадать добру, пусть лучше живот лопнет. Все мы, как сказано выше, включая и наших воспитателей той поры, были природными людьми. Собиратели, добытчики, ни своим, ни чужим не привыкшие разбрасываться и попускаться: что в рот или в руки попало – то пропало. Как и все, просторно выросшие на природе, мечтатели, конечно, но по приговору столетий – бесконечно приземленные. Затаенно грезили загадочностью каждой лужи, в нашем случае сокрытой в ней огромной рыбы, или даже золотой рыбки, ждущей нас, готовой исполнить любое наше желание: дать штаны и ботинки.

Ко всему, наши походы приурочивались к каким-нибудь торжествам, знаменательным датам, не всегда понятным нам. Это была чужая нам жизнь, никак не стыкующаяся с нашей, может только праздничным обедом, лишней пайкой хлеба. Но были у нас и свои праздники. Один из них готовились отметить тогда и мы. Выпускной вечер в нашей сельской школе-семилетке, а вместе с ним – законное и уже неотъемлемое право на рубашку, штаны и ботинки. На все лето, пока не попрут из детдома в свободную жизнь, не растолкают по ремеслухам, школам фабрично-заводского обучения. По цехам заводов и фабрик, где мы вольемся в ряды и шеренги гегемона – хозяина страны, соли земли. И сами превратимся в соль. Такое светлое будущее было уготовано нам, вместе с правом на штаны.

Право уже было, но еще бесштанное и не сегодня. Потому в походах по памятным историческим и географическим местам деревенско-крестьянской своей малой родины мы попутно промышляли разными здешнего про-

изводства устройствами, что-то добывая кобылами, топтухами, болтушами и бредешками. Плехались, коломутили отстоенно, небесно просвеченную, с облаками, но без звезд воду. Проделывали это отрешенно, хотя уже и без былого усердия. С одной стороны, занятие уже не наше, мы уже отрезанные ломти, а с другого – не пустодомки. Не даром казеннный хлеб харчили. Выросли, выучились – семь классов прошли. Живые и будем живы – не помрем. Плотвицы и окушки с карасиками, которые пойдут нам сегодня, считай, на взрослую вечерю,– знаковое свидетельство этому.

Вот так мы и шли в свое счастливое будущее в тот памятный день по истории и географии еще не совсем испоганенного края. Три километра до речки Припять, если напрямик через дубровы, луга, заросли кустов. По набитой дороге, придерживаясь изгибов, крючков, излучин своенравной нашей речки Случь – восемь. Шли непраздно. Рыбку полавливали, уток с гнезд взнимали, за утятами гонялись. Кто-то, отбившись от группы, втихую покуривал. Мирон Афанасьевич Сорока, директор детдома и руководитель похода, морщился, но делал вид, что не замечает.

Дорога была знакома нам не вприглядку. Наши ноги знали тут каждую выбоину, до крови сбитыми ногтями ощупали каждый корень. Но теперь она была уже прощальной, потому неосознанно милостивой и приятной. И мы это несли в себе с нарастающей в душе непонятной тревогой и не присущей нам и нашему глазу любовью и радостью к тому, что это именно мы идем, несем себя уже по пройденному, может, в последний раз. Сильнее и лучше нас, похоже, это понимала и чувствовала сама дорога, дуброва при береге, с богатырскими, еще прапрадедовскими дубами, что одноглазыми дуплянками, щербато щерящими емные провалы ртов, сочувственно и немо напутственно дышали в наши потные спины и стриженые затылки. Шалый ветерок над еще некошеной, но уже готовой под косу травой, шопот листвы осовелых от солнца лоз – все это было еще не прошлым, но уже и не настоящим. Приходящим из вечности, и в вечность уходящим.

Все это было неотъемлемо нашим. И сами мы были шопотом и дыханием задумчивой окрестности. Из года в год мы здесь ходили, спотыкались, падали, поднимались, припадали, тулились своими больками, обидами и горестями к земле, травам, деревьям. Исцелялись и росли, набрякая силой и Полесьем.

Из лета в лето на приприпятских заливных сенокосах – болони – косили детдомовским коням и волам траву. Сушили, сгребали, складывали в копы и на длинных жердях-носилках, едва ли не до пупа в воде, выносили на сухое, ставили стога. Голопупо и люто, до кровавых расчесов и опухолей, боролись с комарами, гнусом – драли, заготавливали валерьянов корень, чтобы кто-то поправил сердце.

А за этим комарино-валерьяновым болотом – детдомовское поле картошки. Мы ее сажали. И аккурат такой порой картошка должна зацвести. Рановато, но и мы ранние. В конце марта некоторые из нас уже купались. Я, например, купался. Протапливал детдомовскую баню. Надо было добавить в котел воды. Пошел к реке и не удержался в челне, болтнул с него. Разозлился, решил – все равно мокрый, почему бы не поплавать. Нырнул и поплыл. Какой-то щуренок, скорее от удивления, выскочил из воды. Сделал свечку и вбросился в челн – мне, истопнику, угощение. А случилось это поутру двадцать третьего марта. И вода в реке прогрелось, на мелком – совсем молоко, парная.

Неприметно, где накатанной телегами дорогой, а больше протоптанными нашими же ногами стежками, добрели до разливанного простора воды. Как сегодня мне вспоминается, над ее вечностью, безмятежно-болотной задумчивостью я впервые нашел и ощутил себя: есть, есть я, хотя и мелкий, пустоватый. Как подлёток-воробей, еще голый, ненароком выпавший из подстрешья гнезда, вприпрыжку, вприпрыжку пытаюсь выпутаться из высоковатой мне травы. И чирикаю, чирикаю, жалобно подаю голос не только матери, но и соседскому коту, топырящему уже свои остренькие ушки. Одновременно с вполне понятным намерением кошусь на мураша, который стеклянно и черноголово проточился из тоннеля своей норки и в раздумье пошевеливает чуткими жвалами.

Я уже везде и повсюду, зримо и явственно. Как этот приблудный, застрявший в устье Случи – пару шагов только не хватило до вольной и большой припятской воды – неведомо кем и откуда занесенный сюда то ли ветром, то ли недоразумением полуразрушенный, неопределенного уже цвета буксирчик. А первоначально был же белым. Жизнь, время никого не красит. Или, наоборот, так красит, что и мама родная не узнает.

Я непорывно и неразрывно, навсегда связан, слит с русалочьей прозеленью прибрежных осоковых кос, что мягко перебирают, сплетают и расплетают в обе струи воды двух рек. Со слепящей россыпью на желто-золотом донном песке плотвы, высыпанной на согретую солнцем отмель матери-Припяти – по этому, предполуденному, времени игривую и бликующую. Плотва выходит из водной бездны, словно из преисподней, радужно отмечаясь на солнце, соперничая с ним. Многим из них, большим, достаточно только обозначения на миру, после чего они сразу же исчезают. Те же, которые помельче, игриво продолжают хороводиться, взбурливая плавниками, словно кистью, удерживающую и хранящую их вечность родной воды и реки.

Подобно им, россыпью, дурачась, разбрелись по берегу Припяти и мы, неспособные усмирить в себе первобытность назапашенного за зиму желания вольницы, свободы, неотьемлемых в нашем возрасте, в детстве, которого

у многих из нас по сути и не было. Из войны мы вышли уже обработанными заготовками для колхозного и промышленного производства. Не потому ли и выплескивались сейчас, оттягивались по полной. Незамутненно спокойным, не поддавшимся телячьим нашим взбрыкам остался лишь один из нас, Адам Полын.

Но о нем надо отдельно и подробно.

Адам Полын – явление никому неведомых стран и времен, из каких он звано или незвано, а может, и избранно оказался в наших днях. Фигура и явление для деревни, детдома, школы, природы, истории и географии, которые, похоже, и вытолкнули его напоказ и удивление белому свету. Вытолкнули и напутственно пожелали: иди и будь в назидание временам и нравам. Он, несомненно, был схож с придорожной, пропыленной полынью. Не очень рослый, но широкий, коржаковатый, коричневато припорошенный по всему белесому лицу, заросшему мелкими, но густыми волосками, веснушками. Неповоротный ни шеей, ни туловищем. Отрешенный от всего сущего, происходящего с ним и перед ним, он, казалось и ходил не как люди. Каждым шагом дубово, босоного врастал в землю, не сознавая или не чувствуя поры года. Изредка только помаргивая, будто ловя себя непонятно на чем, маленькими пуговками – круглыми, словно у зверька, вросшими, может, и в мозг, глазками. Обувался только тогда, когда ему напоминали об этом. Так же и одевался, не обращая внимания на погоду.

Подлинный интерес и сознание пробуждались в нем, когда он встречался с чем-нибудь съедобным или с чем-то лежащим без присмотра, что он немедленно прибирал. Так он прибрал мой на два лезвия складной ножик, хотя тот был у меня в руках. Я сдуру хвалился им перед ребятами. Полын, словно вырос из-под земли, клещевато выдрал его у меня из рук, молча повернулся и пошел прочь. Я возмутился, набросился на него сзади. Он стряхнул меня с шеи, будто козявку. Но оборотился ко мне лицом и так пещерно и недоуменно, нисколько не грозно, посмотрел из дали таких столетий, что у меня мгновенно пропало желание перечить ему в его праве на мой ножик.

Единственно – человеком наш Адам был при детдомовских волах. Любил он наших волов Цоб и Цоба, что значит – левый и правый, налево и направо. Слушались волы такой команды только по голосу Адама. Были одной с ним масти, одной походки, стойловой лени и жвачно-жевательного равнодушия. Только его признавали, ему подчинялись, едва не облизывали его. Адам-то сам лизался с ними. Всегда носил при себе угольно-черный дробок рафинаду и такого же цвета детдомовскую пайку хлеба.

А еще Адама бесконечно привлекали пчелы. Пчелиные ульи, многочисленные тогда, дедовские и прадедовские, борти, древние колоды на вековых дубах. Наверно, в одной из своих жизней был Адам медведем. Был и остался.

Медвежья хмарная дремучесть навсегда набежала и застыла на его лице. И это зверино-медвежье было присуще ему во всем – предвидение добычи и места, где она его ждет.

Думаю, это звериное пробудилось в нем и в тот день. Мы еще носились и бесились на крутом берегу Припяти, а Адам размотал с суковатой палки, скорее – оглобли, которую нес всю дорогу на плече, суровую, как жила, веретенную нитку, явно ворованную у какой-нибудь старухи. Копытами ступней, когтями разодрал еще не очень прочную по весне дернину. С кротовой ловкостью добыл верткого червяка, почти выползка. Нанизал на крючок. Спрыгнул с обрывистого берега на утрамбованный водой клочок зеленовато-белой глины. Спугнул такого же цвета огромного припятского рака, дремно прикорнувшего на теплом месте. Что произошло дальше, можно показывать в кино, иначе не поверят.

Нитка-жила без намека на поплавок начала натяжно сучиться в непроточную заводь. И вдруг остановилась, обвисла, словно в той заводи кто-то принял ее и удерживал на весу, недоумевая, что это и откуда. Не намокшая еще, полежала на недвижности реки и, спохватившись, будто под пальцами пряхи ложась на веретено, устремилась вглубь, вструилась в реку, метнулась в одну-другую сторону. Разок резко дернулась и мелко-мелко задрожала, словно сообщая: спасибо, груз, посылку получили. Майна, переходите на вира. Чем ухватисто и уверенно не замедлил заняться Полын.

Даже огонек, подвижная искринка затеплилась и мелькнула в его глазах. Будто он добыл ее в себе и из себя. Как наш далекий пращур добывал ее в потерянных столетиях своего пещерного существования. И все мы почувствовали величественную минуту зарождения того огня. Он полыхнул уже через мгновение из глаз Полына. Обжигающе коснулся каждого из нас. Словно освободительно взвихрился из омутной сокрытости древней полесской реки. Но Полын быстренько погасил его. Откинул в сторону свою оглоблину, наступил на нее. Ухватился за потемневшую, мокрую уже нитку-жилу. И потянул, потянул ее, словно из себя. Будто продолжение неожиданно сохраненной и вязко застывшей вечности.

А из той вечности веером брызг, разрушив укрепляющий скреп столетий воды, выскочила слепящая, сверкающая всеми цветами радуги золотая рыбка. Только очень большая – рыбища. Она висела на крючке хоть и суровой, но слабой для ее веса нитки и хватала, хватала хрящевато-желтым ртом воздух, будто по-собачьи принюхивалась к нему. Узнавая его, но не принимая. И не очень дергалась, особо не сопротивляясь. Словно по своему желанию преодолела путь из речных глубин и только ради того, чтобы встретить, посмотреть на нашего Адама. А может, это и был сам Адам в своем древнем облике. Одаренный статью, красой и мыслью.

Адам и рыба узнаваемо и неузнаваемо, не сводя глаз, смотрели друг на друга. Одинаково маленьких и круглых, словно созданных по одному образцу и узору. Только у рыбы глаза были наружу, а у человека терялись между переносицей и щеками. Потому казалось, что рыба – существо, более земное, а человек откуда-то пришлый. И он подсознанием понимал это и потому чувствовал себя немного неловко, как чужой, недоуменно молчал и перебирал ногами. Рыба, будто поняла его недоумение, неожиданность их встречи. Выгнулась, кокетливо покручиваясь, напряглась, приглашая и дозволяя человеку и небу осмотреть себя всю целиком, оценить ее гибкое и совершенное тело, его краски, фигуристость. Слилась в одну линию, подтянув все выпуклости, слегка притушив жар и холод, ярко и крупно капельно стекающие в древнюю реку. И, похоже, вдруг застеснялась собственной красоты, своего в кои-то веки вдруг явления на этой грешной земле перед таким множеством непонятных и не очень привлекательных существ. Отмахнулась от них широким китайским веером хвоста, не без укоризны и презрения показывая: не сама, не по своему желанию и воле заглянула в этот грешный божий мир. Позвали, принудили, силой взяли. Окропила остатками приставшей к телу воды Адама. Как плюнула в глаза. А может, освятила. И в то же мгновение хлестко лопнула нитка-жила.

– А-а а, – глухо застонало, кажется, само небо вместе с солнцем.

Время застыло. Рыба недвижно застыла в воздухе и плоско стала падать под ноги Полыну, нарушая все писаные и неписаные законы земного притяжения. Падала, падала, снижалась и снижалась. Будто сухой и невесомый осенний лист осины. Рвала, резала глаз краснотой, прожилковой синью и жидкой ртутью.

Мне казалось, что это я парю над разливом воды, что это из-под моих ног разверзлась, уходит земля. Уплывает, обьятая призрачным маревом, цветным, одолженным у летнего полудня окрасом трав, лозняков и черемух безкорнево, обманно раскачивающихся на припятской волне. И сам я распускаюсь, расцветаю многокрасочностью рыбы, заполнившей меня, появившейся будто из сказки.

При всей своей полесской, а в дополнение и детдомовской приземленности я готов был согласиться: да, да, это чудо, это диво должно уйти опять туда, откуда пришло, пусть только ради мгновения. Мгновения радости, удивления и восторга сирот, поколения безотцовщины, по-солдатски стриженых под Котовского заготовок может и для будущей войны.

Но этот прилив милосердия был непродолжительным. Я хрипло вплел свой голос в общий стадный хор. Только из меня вырвалось нечто совсем противоположное тому, что кричали мои собратья:

– Он живой и светится!..

Почему он? Кто живой? Кто светится? Адам? Рыба? Или кто-то совсем иной, невидимый?

Разгадать бы мне это хотя бы сегодня.

Берег же был охвачен и подчинен совсем другому настроению. Одобряющим гимном собирателей и добытчиков, природных детей при встрече с природой. Заложникам и инстинктам невольников, которых слегка опахнула воля, свобода, почти по-библейски почувствовали: это хорошо. Но вопреки этому инстинктивное прошлое извергало из них: распни. Распни его.

Мне же в то мгновение почудилось, что добытчик и добыча, Полын и Рыба – родственники, братья. Хотя это было невероятно, невозможно. Что может быть общего у камня, ископаемого, с трепетным мотыльком над ним. Но было, было. Что-то из очень далекого и необъяснимого ни сердцем, ни умом и потому непонятного, наверно, обоим своячества. Урод и красавица – это на поверхности. А было и нечто глубинное, корневое в крестьянском сельском быте, неизжито юродивом, но эта юродивость была иконописной. Потому что на ту минуту и сама рыба, созданная из цвета и живущая в цвете, создавала, творила нечто иконописное. Круг, нимб над стриженой головой детдомовского блажного – слияние освященной вечности с будничностью.

– А – а! – опять и опять голосил и надрывался берег Припяти.

И там, на небе, надрыв этот, похоже, услышали. Посочувствовали, пожалели, перекрестились и открестились? Не знаю. Не дано мне этого знать. Как и того, что в слове нашем и за словом.

Рыба упала на зализанный водой, ровный, как стол, предобрывный глинистый лапик берега, полукругом вытолкнутый из реки. Едва ли не опережая ее в падении, туда же начал падать и Полын, чудом не столкнувшись с ней еще в воздухе. Навалился на нее всем телом, мертво прижал к берегу. Зажал обеими клешнями рук. Подбородком, ртом, лицом одноголово сросся с рыбой, слился своими совиными глазками с ее глазами навыкат – сейчас под тяжестью его тела – так, что бедная рыба одно только недоуменно желто открывала рот, избавляясь от воздуха в себе. То же самое проделывал и Полын, с той лишь разницей, что судорожно втягивал воздух в себя. Наверно, падая, забыв, что дышать надо непрерывно.

И лежал современный, двадцатого столетия Адам совсем как его предшественник, пра-пра-пра на Еве перед изгнанием из рая. Не было только змея-искусителя да райского яблока. Поднимали, тащили мы своего Адама с его бел-красно-белым дивом на припятские просторы, как из преисподней, всем походом. Он не смог или не пожелал расслабиться хотя бы на миг выйти из объятий с рыбой до той минуты, пока мы его, словно валун, не подняли на руки и не вытолкали на крутой берег реки.

Директор детдома Мирон Афанасьевич Сорока взвесил рыбину:

– Немного больше четырех килограммов, – сказал он. – Чистопородный, чистокровный байстрюк-язь.

И каждому из нас позволили прикоснуться, пощупать того благородного байстрюка. Больше мы его не видели. Ни живого, ни вареного, ни жареного на нашем выпускном вечере. Таким образом, я оправдан, безгрешен. Не ел я Адамова язя. Не сподобился.

Вот такой была моя первая встреча с этой рыбой. Первая, но не последняя. Уже далеко во времени и месте от того детского переживания я многое узнал о жизни и привычках язя. Про его огромный дом – от Припяти до Рейна и Лены. Мой первенец был еще подростком. Взрослый же язина – от восьми до десяти килограммов и до полуметра. Мне такого встретить не посчастливилось. Думаю, потому, что, как свидетельствуют опытные рыболовы, язь – один из самых распространенных объектов промысла и спортивной ловли. Охочих до него и без меня до чертовой матери.

А было, было. Полешки, судя сегодня только по казаням, обращались с ним на ты, панибратски. Для ловли его на небольших реках и затоках сплетали в воде из лозняка перевязь с проходным отверстием посредине, где ставили так званый на Туровщине жак – мережу или вершу. И была язёвка – специальное удилище. Вот так еще в прошлом столетии наши деды и даже отцы лакомились язёвыми пирогами, ели на весь рот и все губы. Доелись. Переели.

В дополнение к этому, а может, и в поучение. Язь – очень норовистая, капризная и свободолюбивая рыба. В реке ходит не как бабник налево, направо или посредине, а только наискось русла. Так надежнее можно избежать рыбацких сетей и неводов. Может, потому он и попался нашему Адаму Полыну: погулял наискось, надумал покопаться в наносном прибрежном мусоре отбойного противотечения и…

По нраву были и остаются язям наши полесские тихие реки. Об этом можно судить по Птичи, Случи и самой Припяти. В Случи они предпочитают низовья, не битые еще мелиорацией и сохранившие глубины с чистым течением, ямами, омутами и множественные затоки, старицы. Приживаемость и выживаемость язя на Случи, как это ни парадоксально, объясняется еще и некогда молевым сплавом по этой реке древесины, что происходило и в мои детдомовские времена. Столько угробленного леса, сразу, тесно, впритык плывущего по небольшой речушке, мне приходилось видеть только в Сибири, на реках больших, где и лесов, тайги не меряно. Было такое частично и у нас. Но те же сибирские шахты, рудники, стройки века оглоедно требовали не только белорусских, наших сиротских рабочих рук, но и белорусских боров, дубров и рощ. И шли под топор и на зуб бензопилам вековухи- сосны и сосны мачтовые, дубы, а потом и молодые дубки, подростки.

Потому русло Случи, особенно в низовьях, буквально выстлано усопшим, утонувшим деревом. Вода время от времени обнажает эти кладбища, оголяет занесенные белым песком моря Геродота почернело мореные дубовые сутунки, обглоданные, источенные до ржавого праха хвойные бревна. И тогда над ними в реке начинают стараться предприимчивые местные люди, добытчики. Вытягивать лес на берег, для своей надобности и на продажу. Как раз там, среди залежного в русле колодняка ведется и жирует в неуловимости язь.

Обычно он оказывает себя поутру, на восходе солнца и вечером – на закате. Без плеска и брызг, аккуратно, свечным выбросом воды, вроде как после прыжков с вышки спортсменов-мастеров. Мне повезло не раз наблюдать язевые игры и забавы. Их почерк, автограф на воде невозможно спутать. Язь – отшельник, индивидуалист, такой же руссудочно-осмотрительный, как и полешук. Сколько рыбацких зорь я потратил. И все впустую.

Как-то в урочище Свилево – многозначительное название, но неясное, может, от заволочного течения реки в этом месте или крučености, колдовской сплетенности всего растущего по берегу, повитого хмелем, а может, и проще – от цвили, плесени. Как бы то ни было, но очень по нраву это урочище местным и приезжим удильщикам. А глубины и заколоженность воды – язям. Однажды летом в урочище отаборился столичный рыбак-нахлыстовик, известный художник Петр Калинин. Страсть, азарт настоящего рыбака – это и подготовка к рыбалке, предчувствие ее, сборы, проверка и наладка снасти, примерка, прикидка и надежды, надежды.

Став лагерем возле реки, Калинин занимался этим пару дней. Искал пригодное деревце под удилище. Обязательно березку, небольшую и нетолстую, но гибкую, ловкую в руке. Хитрованно обрабатывал, парил, пропитывал подсолнечным и льняным маслом, прогревал на огне. И все это не раз. Испытывал на гибкость, упругость и какой-то, ведомый только ему, хлыстовой голос, свист удилища и плетеной в несколько нитей лески при взмахе. Скрытно перебирал множество мушек. Некоторые переделывал, менял окрас оперения, само оперение. Птичье, петушиное – на животное, звериное, белое – на красное, красное – на белое. Наконец объявил: сегодня после обеда пленер и презентация. При мне испытал нахлыстовую снасть. Впечатлил до заикания.

В детстве я на собственной шкуре познал, что такое кнут. Настоящий, поющий на ребрах бизун профессионального пастуха – специальное изделие великих сельских мастеров. Но знакомые мне местные Страдивари, Гварнери и в подметки не годились столичному маэстро-нахлыстовику. Чтобы не возникало вопросов, Калинин лично для меня провел презентацию в двух сферах – на земле и на воде. Это была песня – адажио с сольфеджио, музыканто, стаканто в сольном исполнении дуэтом Николо Паганини с местечковым скрипачом евреем Шлёмкой на единственной струне реки Случь. Сладкого-

лосая трель влюбленного соловья в белой кипени черемухи. Первый малиновый звонок жаворонка над полузаснеженными еще, но нагло сочными под синью неба озимыми. Могучая музыкальная точка, прощальный аккорд рафинированной, хотя и неживой мушки с упрятанным в ней крючком.

Я проводил его на промысел, как проводят призывника в солдаты. Долго шел берегом, наблюдая, как он десантно барражирует на своей армейского образца резиновой лодочке, изощренно издевается над водой нахлыстом. При мне ни поклевки, ни улова не было. Хотя уверен, будь я на месте случанского язя, клевал бы безостановочно и жадно.

Каждый рыболов на берегу реки – памятник. Скульптура, а может, и скульптурная группа – настоящий соцреализм. Трогательное и бесконечно жизненное правдивое изображение траура, надежды и безнадежности и лишь изредка удовлетворения. Рыбак-нахлыстовик, сам художник, Калинин в десантной резиновой одноместной лодочке – памятник дважды, скульптура и картина маслом. Монументален и на пъедестале, и в обрамлении воды, берегов под присмотром вечности. Все рыбы, раки и безголовые и безмозглые ракушки должны бегом бежать за ним, как шизофанатки бегут, отлавливая сегодня кино– и телезвезд. Но Калинин в тот день у речных див, судя по всему, восхищения не вызвал. Не вызвал он его и на другой, и во все последующие дни, что я наблюдал за ним, хотя каждый вечер он скромненько и немного стыдливо докладывал: сегодня два , а сегодня аж три. Я просил Калинина показать хотя бы одного. Но он отделывался тем, что уже засолил или зажарил.

– Ну, тогда на чешую или на кости дай подивиться.

– А это уже в реке, на прикорм ракам и рыбам.

И я вскоре отстал от него. Решил сам заняться ловлей язей. Ко мне в гости и на отдых припожаловал друг, писатель Алесь Жук. К сожалению, больше охотник, нежели рыбак. Но я искусил его язями нахлыстовика. Понимая, что нам не угнаться за ним, мы с Алесем пошли своей дорогой. Решили завлечь язя кормом. Все хорошее и плохое совершается на свете не только от головы, но и от брюха. До этого я многое слышал о конопле. Тогда она еще не была вне закона, не считалась опасным наркотиком. В домах своих деревенских приятелей мы за обе щеки хомячили ее толченое семя, макали и уминали с картошкой-паронками в мундирах. Не одну осень помогали сельчанам убирать коноплю с колхозных полей. Случалось, и угорали, но не жаловались и не обижались. Конопля нашему детству была необходима, как и колхозу, и любой деревенской избе – каждая веревочка, каждый шнурок.

Мы теребили, обдирали стебли конопли, снимали волокно, мяли и сушили. Плели оборы – завязки, крепление для лыж, коньков, снегурочек-дутышей, да и для поддержания собственных штанов. Позднее, уже будучи взрослым, я узнал, образовался у рыбацких костров, что крупная рыба не чурается

запаху льняного и конопляного семени, с удовольствием, как и мы в детстве, уминает их с толченой картошкой и хлебным мякишем: тайно ловит кайф и балдеет. В колхозе в то время коноплю еще не успели извести. Мы с Алесем насмыкали головок конопли с цветом и завязью семян. Запарили в печи вместе с картошкой, а в дополнение в той же печи потушили чугунок нелущенного гороха с подсолнечным маслом – прикорм и насадка. Сами бы ели, но язям надо.

С вечера, не жалея, щедро прикормили облюбованное язями колодистое место в реке. Вышли на рассвете. Опять, но теперь немного, чтобы только пробудить у язей жор, аппетит, сыпанули прикорму. И что вы думаете? Это была рыбалка. Удилища гнулись и трещали. Поплавки не задерживались на поверхности реки, сразу же пропадали. И мы совсем не были недвижными памятниками – все время в работе, в движении. Но брала только плотва. Правда, отменная, язевая, со всеми его признаками – золотым язевым отливом спелой чешуи, червонной медью плавников. И каждая с полкилограмма. И все же – плотва.

Это нас не радовало. Мы уже были близки к отчаянью, когда я почувствовал: есть, клюнул, наркот. Только радовался я преждевременно. На крючке сидел настоящий, правильный язь, язюк, язина. Но повел он себя неправильно.

Уперся, натянул до скрипичного звона леску и бросился полукругом прочь от меня, наискось течению реки. Я безуспешно пытался удержать его, боясь, что он уйдет под колоды. Тогда на рыбалке, как и на моей жизни, придется ставить крест.

Но этот крест, упредив меня, на моей рыбацкой доле поставил сам язь. Леска на удилище, а показалась – и внутри меня, мгновенно, абсолютно без моего вмешательства, звонко взвизгнула, брякнула и вскрикнула, издав петушино фальшивую ноту. Оборвалась.

Все прошло, минуло, ляснуло, кончилось. То же самое одновременно со мной началось и мгновенно кончилось и у Алеся. Мы долго молча курили под тихое шевеление наших безвольно обвисших на удилищах лесок, недоуменно вглядываясь в равнодушие воды. Может, хоть нос, сволочь, обозначит. Не удостоил. И я спросил ушедшего в себя друга:

– Алесь, тебе все еще нужен язь?

– А тебе?

– Я доволен плотвой.

Он тоже был доволен плотвой.

А что нам еще оставалось в этой жизни?

В рыбалке, как и в каждом непредсказуемом занятии, где сам Бог судит надвое, в какую сторону веревочка завьется, важен не результат, а гадание на

кофейной гуще, предощущение, проживание с ним. Успех не всегда означает душевное равновесие и зачастую необоснованно расслабляет надеждами. Таково уж свойство нашей подлой натуры. Поражение, неудачи подхлестывают, а потому более действенны и созидательны. Так произошло и с нами, во всяком случае, со мной.

Припятских, случанских язей после удачи Полына и нашего с Алесем невезения я все же удостоился встретить. Хотя моя заслуга в этом ноль без палочки. Было это на совместной рыбалке с непревзойденными деревенскими, вильчанскими рыбаками. Правда, кто-то меня может и укорить – браконьеры и браконьерство. Браконьерство испокон веку не было и не будет крестьянским, мужицким порождением – это как волка упрекать в том, что он хищник – не нюхает цветов, не поет соловьем и ест зайчиков.

Процветающее у нас браконьерство – оно профессиональное и образованное. Как наш политический, государственный хищно ненаедный Олимп. Совсем недавно оно было остепенено физико-химическими кандидатскими, а то и докторскими званиями – науке в нашей державе, особенно так называемым МНС, ведь тоже надо как-то выживать и кормиться, голь на выдумки хитра. Браконьерство теперь сплошь электрифицированное, электронное, а со временем и компьютерное, головасто изобретательное. В прошлом и настоящем мужик, тот же полешук со своими бредешками, кобылами, топтухами, болтушами, жаками, вершами, самодельными сетями лихого своей земле, своей воде не творил. Лихо стране и людям – дело государственное. В нашем случае промыслово- государственных, а теперь уже и частных артелей и бригад рыбаков с их многосотметровыми неводами, из ячеек которых самому неприглядному рачку не выдраться.

Деревенские рыбаки брали меня на свои ловы обычно по глубокой осени, под первые зимние мухи, в так называемое последнее осеннее половодье. Плавились под полную луну по тяге уже загустевшей, забеременевшей зимой воде на деревянных, дедовских еще душегубках без мотора. Тянули за собой накидную или наплавную сеть. Не по руслу, а вдоль его и по рвам, ярам, где не местному человеку и в голову не придет, что там может завестись рыба. Но стоящая рыбина именно там и обреталась.

Память. Генетическая память предков. До появления еще нас с вами. Долины, низины, рвы и яры были не просто, как сегодня мы их огулом называем, пересеченной местностью, а руслами древних рек – путями, дорогами, ходами их молодых отцов. Былые те стежки-дорожки истоптались, изгадились – пересохли. Забылись человеком. А рыба оказалась более памятливой и бежит туда не только на свежую и бодрящую осеннюю воду, но как на радоницу – на поминовение души своих предков, в их и свою молодость.

Мы плыли на душегубке по тому заброшенному древнему пути-гостинцу, твердо уже промороженному, будто подсоленному, вместе с двумя деревенскими знакомцами. Один подрабатывал весельцем на корме, второй посредине душегубки держал почеп наплавной сетки. Река иконописно играла и светилась в дозволительно задумчивом сиянии спелой луны, прокладывавшей нам узкую и зыбкую стежку из вечности в вечность. Рыбак – Харон срединный – время от времени, маятниково качаясь, дергал на себя и отпускал почеп: нету, нету, нету. И вдруг: есть, есть, есть – ёстека. И принялся выбирать сетку.

Душегубка утицей, сноровисто и послушно заскользила к прибрежно нависшим полуголым уже лозам, но, не достигнув их, медленно выправилась на средину русла и стремительно пошла против течения.

– Есть сила, что мама носила, – одобрил рыбак на корме.

Оба в один голос:

– Гуляет, гуляет. Как тогда...

И расслабленно замолчали, давая волю улову. Когда сетка с добычей была уже возле борта лодки, ведущий ее не удержался, загулил:

– Ну что, ну что… Иди ко мне, маленький.

Маленький потянул значительно больше новорожденного, около полупуда весом и длиннее вытянутой руки рыбака. Язь, язюк, язина. И хотя мое участие в ловле его было никаким, а может, и отрицательным даже – чужой глаз, постороннее присутствие – на ту минуту я был похож на Адама Полына, испытывая почти ископаемую радость, только без всхлипа: он живой и светится.

Язь мне показался печальным и угнетенно обиженным. И это опять было моим состоянием после пережитого возбуждения и восхищения. Состоянием реки и ее окрестностей, освещенных и благословленных полнолунием, прокинувшим мне и моим Харонам золотую в воде дорожку. Навсегда избавив этой дорожки язя.

Но та лунная дорожка осталась в моей памяти. Иногда ночью, в снах я выхожу и прогуливаюсь по ней. И в щекочуще дрожащих взблесках родной полесской воды видятся мне все мои пойманные и не пойманные золотые рыбки, рыбы и рыбины. Их хороводы, молодые, детские и взрослые, за которыми с умилением следили вместе со мной отмечавшие на Полесье юбилей Василя Быкова Алесь Адамович, Нил Гилевич, Сергей Залыгин, Лазарь Лазарев. Ирина Михайловна, жена Василя Быкова, кормила с рук рыбью молодь крошками белого хлеба, чтобы они росли и помнили: где-то на земле есть люди. А у людей есть реки. А в реках – рыбы. А среди них рыба язь, которого я лично не неволил. И он сейчас светло и лунно по молодой и полной

луне снится мне на исходе долгих уже сегодня моих ночей. Напоминает, что и рыбы не беспамятны. У них, как и у всех, свои вековые дороги, памятные и поминальные дни и праздники. Может, и мы снимся им. Наверно, на том свете они снятся и людям.

Пусть же всем нам в добром согласии и мире жить и светиться.

Жар-птица моря Геродота

Время, потраченное на друзей и дружбу, в зачет прожитых лет не идет. Я знал и слышал это издавна, как, наверно, почти каждый из нас. Но молодая память небрежна и забывчива. Не потому ли вольное или невольное возвращение в зрелость – второе рождение. Если оно вообще возможно и даровано человеку. Счастье обновления и пробуждения. Хотя все у нас кажется лишь повторным и запоздало происходящим. А может, и вовсе не происходящим. Больше жалостливо и безымянно разочаровывающим и навсегда щемяще обманным. Потому что мы заранее, еще в неведомо каком столетии, сложили руки и посыпали голову пеплом. П а м я р к о ў н а смирились: в нашей доле уже ничего не переменить.

По-всему, немного уже в иное время, время не ясного просветления и раздумья, на стыке конца и начала двух столетий, как позднее дошло – эпох, меня вновь настигла старая и вечная мудрость о дружбе и друзьях. Озвучил ее художник Анатолий Аникейчик, который, похоже, уже в то время что-то предчувствовал в неизбежной нареченности своей и общественной жизни. И предчувствия эти – одно к сожалению, другое еще в тумане, неясно, к чему, – вскоре сбылись: вечная беда Беларуси с отечественными пророками. Все сбывается только когда они уже на том свете. И тогда мы, как все некрофилы, можем по второму разу придушить их, уже в объятиях. А покойников – в мавзолей, мавзолей, старательно поправляя ленточки на занесенных солдатами надгробных венках.

Высказался же Аникейчик на собрании творческой интеллигенции по причине печальной тогда, а сейчас величественной и знаковой всем известных событий на Беларуси: Дня поминовения предков – Дзядоу. Тех самых, когда Беларусь и беларусов, минчуков, ОМОНом и паралитической черемухой, по словам Зенона Позняка, благословили на народ. Народ на той давней встрече с высшими партийными деятелями страны, вершителями судеб все же более привычно ощущал себя прослойкой. И потому верил не себе и своему слову, а в запротоколированные заявления, обращения, письма – во все то, что способно чернильно плакать, кланяться и просить.

Одно из таких холопских обращений от имени находящейся в зале прослойки было доверено мне передать секретарю ЦК компартии Беларуси. А тот отказывался его брать. Зал был настроен выжидательно и неуверенно, если не сказать более определенно – растерянно. И это было состояние не только зала, но времени. Времени еще не совсем утраченных надежд на хо-

рошего барина. А само барство чувствовало себя шатко, мулко, и седалищно непонятно. И не только на Олимпе, в привычных властных креслах, но и здесь, в зале, среди своей, кажется, давно и старательно прикормленной и прирученной прослойки-интеллигенции, которую еще сам Ленин на заре советской власти однозначно обозначил: говно.

Что-то, хотя неопределенно, неясно, с этим говном сейчас происходило. В воздухе в конце того трагического столетия что-то уже изменялось, перекручивалось. Скрытно сама себя поедала, не осознавая сама этого, вспоенная и взращенная на человечине, безусловно нареченная и приговоренная быть великой и величественной эпоха-живоглот, от которой внутренне нежданно и негаданно многие начали отрекаться. И в первую очередь, как это ни странно, те же прирученные и прикормленные, как было, видимо, всегда: громко крикнуть ура, а потом скрыться в кустах, потеряв в конце и начале своих расстрельных туннелей свет.

…Секретарь ЦК вынужденно, или исходя из каких-то своих партийных соображений, все же взял наше обращение. Властительно опростился, снизошел к прослойке. Взял и быстренько исчез, испарился. В зале остались писатели и художники, неожиданно объединенные безвременьем. И сейчас думали и решали, не надо ли объединиться в единый творческий союз. Вот во время таких размышлений Анатолий Аникейчик и сказал: время, потраченное на друзей и дружбу, не идет в зачет прожитых лет.

Само собой, из смычки всех творческих союзов в единый ничего не получилось. Колхоз уже давно всем осточертел. Так уж заведено у творцов: им и двоим не сговориться. Пока не подойдет третий. А чтобы толпой всем талантам и гениям да в одно стойло – стаканов не хватит. Двум медведям одной берлоге всегда тесно. А здесь все лебеди белые и белокрылые. Под ними только мелочевка пузатая – верховодки, ерши, щуки да раки. Бомжеватые писатели, от кочегаров не отличишь, ясное дело, больше похожи на раков: назад не ходят и по норам прячутся. Богемно рафинированные музыканты, композиторы, скрипачи, пианисты во фраках и при бабочках, несомненно – лебеди белые. Как же их в один воз. Не получится ли из этого и вправду белорусский вариант автомата Калашникова.

Пустое было предложение и задумка с единым творческим союзом, заранее обреченная на провал. Как, кстати, случилось это с большинством творцов и самим творчеством. Вскоре земная неизбежность настигла и самого Анатолия Аникейчика. Безвременье безжалостно к искусству и мастерам. Художники разошлись по своим могилам

Но в памяти занозой застряла, как это часто бывает в безладной суетности творческой жизни, не только великое и значительное – достойное фигуры художника и творца, а нечто мгновенно просверкнувшее, кажется, совсем не-

существенное, о чем лучше было бы и промолчать. Только, кто знает, может, как раз именно это полнее и ярче рисует облик не только художника, но и человека. Звездную неповторимость его рождения. И его смерти. Запятые, черточки, точки и многоточия между этими двумя необратимыми явлениями.

Так в моей памяти сознании и подсознании отложились и слова, молвленные, кажется, между прочим. Про друзей и дружбу.

Совсем не новые, прописные. Но не все ли мы до конца наших дней пробираемся через подобные прописи, каждый раз звучащие как открытие. Не это ли зовется искрой Божьей – сохранением в человеке того, что суждено ему: осмысленно создавать и длить себя, когда он остается наедине с самим собой. Из-за отмашек самонадеянной молодости я воспринял это лишь ушами. Но будь благословенна заложенная в нас склонность и сила к возвращению. Повторению самих себя такими, какими когда-то уже были. С чем обращались до безобразия расточительно, надеясь на повторение, покаяние и раскаяние.

До прежней, сегодня уже затянутой коростой души нас подталкивает подсознательное желание, свойственное, наверно, и самому закоренелому злодею: быть и остаться породненным с этим миром. Близким человеку, природе, дереву, грибу, воде, рыбе. В ком или в чем, может, даже нет души, в чем я сомневаюсь, но есть одухотворение.

Постепенно мы начинаем понимать, что вроде совсем еще и не жили, а только праведно или неправедно – чаще неправедно – употребляли жизнь. Наслаждались подаренным или приобретенным и ворованным – чаще ворованными – мгновениями и часами удовольствий. Запасались впрок суетным обманом бытия, чтобы позже рассчитаться безнадежной тоской одиночества и разочарования.

Приспело, выползло из потаенного сумрака души, подобно лохнесскому змею, время явить себя, остановиться и оглянуться. Задуматься, что чего и сколько стоит. Перебрать вновь пройденное и избытое по уцелевшим остаткам памяти прежней чистоты, невинности чуткой и сочувственной души. Пройтись снова по многообещающих тебе стежках твоего же начала. Без стыда ступить в воду твоего прошлого. Хотя все тебе криком кричат да и сам ты уже хорошо усвоил: дважды сделать такое невозможно. Врут. И сам себе ты врешь, привык к самообману.

В воде нет ни начал, ни концов. Она от земли и неба, из бесконечности мироздания. И ты оттуда. Только сейчас брезгуешь собой настоящим, уже нечистым. Испоганился в до горького подслащенных водах собственного благополучия. Но отвергая и не признаваясь даже себе в этом, ты будешь до своей последней минуты тосковать и завидовать голодному и голому, замур-

занному хлопчику в обратных водах реки вечности. И это бессмертно в тебе. Боль и горечь познания себя.

Именно в такие минуты многие из нас впервые понимают, что такое бессонница. Те, кто еще не окончательно проспали и приспали себя. В их ночах просыпается знание того, что они так мизерно мало имели дружественных дней.. Потому что жадно и хищно берегли себя, ни с кем по настоящему, до донца, не делясь. Вырвали, потеряли свой третий глаз – порвали с небом и землей.

И ничего тут уже не попишешь. Человек уже давно не видит и не слышит себя в собственном доме, среди травы, воды и леса. Наедине с птицей, зверем, грибом и собственной совестью. Не виртуальных, интернетно-компьютерных, а во плоти и крови, хотя, как ему кажется по его убогости, неодушевленных. Тут он, может, и прав. Забыли, как это смотреть в самих себя, в глаза своей души, не поганя ее. Потому она сегодня такая и неприкаянная, поверженная и поврежденная. Нет ей покоя. Ушло то, с чем приходили и уходили наши деды и прадеды. О чем догадывались еще наши родители. А мы…

Поэтому многие из нас длящимися бесконечно и уныло ночами не могут сомкнуть глаз. Блуждают и бродят по переулкам, тупикам и мусорницам своей растревоженной, но так и не пришедшей в сознание памяти. Я знаю эту пытку, когда она подуступает, начинает мерцать, щемить и сукровично кровоточить. Я прошел через этот непроглядный мрак и опустошение. Неспособность ни на забытье, ни на мысль. Самосожжение. Сжигание божьего, человечьего и даже звериного. Человек в пустыне. И пустыня в человеке.

Было, было такое со мной. Избавился от помрачнения, вспомнив непомерную тяжесть и такую же легкость детства. Легкость и ласку погодных и непогодных дней, дождя и солнца, под которыми так быстро и русо отрастали волосы на голове, дзаживали все больки-вавки, стоило только дунуть на них, подставить ветру и сказать: уже не болит. И действительно – не болело. Вспомнил все, что таил в себе, с чем не расстаюсь и сегодня: жестокость, без которой нет детства, и его милосердие, без которой мы не способны вырасти людьми. И тихое ночное сожаление, может, и о глупой, но не замутненно искренней святости, к которой хотелось если не вернуться, то хотя бы приблизиться сохраненным во мне обжигающим стыдом былой щемящей чистоты.

Это позволило мне остаться самим собой и близким ко всему сущему на земле – к дереву, воде, небу. Я един с ручьями, реками, озерами, с прозрачно-пестрой синью стрекоз над ними, обжигающей белизной лилий в заводях, исповедальным шумом и тишью боров и дубров, молчаливых свидетелей вечности – памятниковых курганов, со скрытым в них белее белого песка моря Геродота. С напевами жалейки и гуслей, одолженными на лето у ромашек, васильков и полыни в игрищах спелого щедрого лета, в полную силу осиян-

ного светом солнца, луны и звезд. Звезды не только на небе – они остывают от своего же жара, космического холода и сглаза в колодцах, ямах, вирах, укрощенных за день-век водах тех же рек, озер, и даже одноглазых дуплах вечевых дубов.

И все это далеко и рядом. Обманно и подлинно. Во мне и за призрачной далью горизонтов. Ярко органно-звучно, мощно, так что временами трудно и выдержать блекло приплющенному глазу, более привычному поклоняться рукотворной и порожней пустосвятости. А сию минуту подсознательно плененному буянством возрождения или таинством рождения не самого ли себя. Сотворения восставшей обновленной вечности. И все это уже ведомо. Все это уже однажды было. Пережито. А сейчас стронуто, сдвинуто возвращением твоего же прошлого, что так долго чахло почти в преисподней предмогильного ожидания похорон или рождения. Сакрального мгновения.

И ты просчитал и ступил в это мгновение, в кровавый рассвет пробужденного тобою же дня. Прошелся по упругому вереску еще утренне-хмуро зевающего бора у реки, прибрежным песчаным соцветиям зайчиковой капусты, острострелочного лука. И не из этих ли соцветий, из острого клюва горького и зайцу лука, а может из опечаленного синеглазого вереска сорвалась и упала на тебя ликующе приветственная звездная слезинка. Слилась с влажной по утрам, дрожаще зависающей капелькой и на твоих ресницах в уголке глаз.

И все. Ты оросился. Ты попался. С этого мгновения ты уже навсегда сам и Леший, и Белун, и Водяной. Дерево, река, грибница и Царь- рыба. Потому что чисто или нечисто, чаянно или нечаянно ты приблизился и вошел в их ряд, язык. Услышал, подслушал и хотя с пятого на десятое стал понимать голос и язык леса, воды. Разбуженная тобой и в тебе вечность больше не томят тебя и не раздражают, не застят ока. Твое новое зрение и слух в слиянии и сопереживании на этом святом и грешном белом свете, говорящим с тобой на одном языке.

И та же вечная вода, былая и сегодняшняя, другим дурашливая, мокрая, болотная, криничная, железистая, щелочная – живая тебе. Способная не только утолять жажду, но и живить душу, делать ее зрячей. Тешить и во мраке ночи игривостью трудоголиков-бобров, слышать бег времени, повторяющий берег и саму реку и то, как обтекает это время, восставая из омутов, беременный собою же, прошлым и будущим, простовато широколобый сом. Будто в бубен, бьет в напряг темной воды жиловатым хвостом, понуждая повторить и туземно присоединиться к себе, ухнуть за грань ночного простора, чтобы всем чертям стало жарко, ушастого пугача-филина.

Ты в непорывности с этим видимым и невидимым миром, в его чистоте, покое и просветленности, дарованной и вдохнутой в тебя неизвестно кем. Между миром и тобой почти молитвенное согласие.

Река подразнивает тебя мелюзгой, веерными, в россыпь гонами полосатых юнг-окушков, слюдовыми вскидами верховодок, фигуристым скольжением по нисколько не ломкой воде долгоногих плясунов – жуков-скользунов. Испытывает на понимание и терпение. Но ты этим не обнесён. Где-то рад, что в начале рыбалка у тебя не ладится – хорошая примета на любое дело. Преждевременная удача может вылезти боком. Сглазить, навести духов, бесов и злыдней. Возле воды и леса ими хоть забор городи. И ты с замиранием сердца принимаешь и воспринимаешь каждую пойманную тобой малявку. Радуешься плюгавой плотвице, ртутно- подвижному пескарику, мусорной рыбешке – краснопёрке. Хотя, кто посмел ее назвать мусорной. Это лучистое, пронзенное солнцем, отлитое из красного и белого золота, с примесью воздуха, небесной сини и проточной воды Божье создание. Не иначе, обиженный на папу с мамой сам мусорный человек. Таким же видит и все иное. С пещерных времен и по сей день – озабоченный заготовитель, добытчик и потребитель.

Но стоит ли в этом его упрекать. Сами такими были. И я таким был. И первой своей красноперки, добытой на прогреве мелководья школьной старицы возле Припяти, не оценил. Юродивая, испорченная веками самость жаждала буйняка, как это говорилось в одном из заголовков «Комсомольской правды» тех дней: «Если делать, то по-большому». Что, видимо, касалось и рыбалки: равняться ни более, ни менее, как на гремевшую тогда китобойную флотилию «Слава».

А что наша капельная, в сравнении с теми же китами, в сжатой ладони не видать, красноперка полесского озера Школьное. Если уж мазаться, то – карася с пороса, окуня с коня, плотку с лодку. Такой в то время дал я себе зарок. Позже, намного позже я понял цену всем нашим пионерским и комсомольским клятвам и зарокам: все они лишь грабли на наших стежках и дорогах. Ниспосланы нам как напоминание бесконечности повторения и повторения того, от чего мы так упрямо отрекаемся. Скромненькое тили-тили наших синиц, которых мы не замечаем, держа в уме и на слуху курлы-курлы невидимых за дальним лесом или в небе журавлей.

Полноценная, укормленная красноперка ждала меня не в наших затишных домашних водоемах. На стариках и старицах, протоках и так называемых бочагах и ериках Царицына, Сталинградско-Волгоградского Поволжья. Причащенный к рыбацкому племени тихими и медленными водами Птичи, Уборти, Начи, Морочи, Случи я и не представлял, что красноперка может быть такой рослой и тяжелой. Каждая не меньше полукилограмма. Мы со швагером за полчаса надергали едва ли не пуд. Сначала азарт, а потом – работа и нудота. Как говорят про рыбалку, ничего сложного: наливай да пей. Вот и здесь, поправь на крючке уже обсосанного и обглоданного червяка, поплюй на него, на удачу. Забрасывай и сразу же тяни в лихорадке добытчика и во

власти жадности. И в ожидании каждый раз более крупной и немного все же иной рыбы.

Но бралась одна только красноперка, Как по заказу, мерная, укормленная, жирная. И в явных излишках жира на глазах меркли и гасли присущие нашим краснопёркам ярь и свечение красок. Но клевала она, заглатывала наживку с жадностью. Словно из голодного края или проклятая.

Чувство неправильности и неправедности ловли, сравнимое с воровством и издевательством, постепенно вкрадывалось в наше сознание. Может, еще и потому, что в воздухе ощутимо повисла и стала сгущаться, набирать силу томительная расслабленность, томление. Угрюмо и слезно налились и набрякли травы. От их дурнопьяна стало душно и трудно дышать. Прибрежные проточные осоки надломились и шелково почти легли на воду.

Чувствовалось приближение грозы. Приволжские же проселки в дождь непроезжие и непроходимые. Ко всему, наши жены наказали нам нарезать грибов, что в изобилии, косой коси, росли в так называемых сталинских лесополосах – хоть шерсти клок от убийцы и палача. Мокрые грузди, дубовики вроде наших дубровных боровиков, только более губастые и разлапистые – брыластые. Собирать их, как и удить здешнюю красноперку. Никакого поиска и тихой охоты. Одно старательное уничтожение: нагибание, подрезание и разгибание. Режь, режь и режь под самые сопливо молочайные кружева мокрых груздей, под груди им. Да не забывай хорошо вытирать осклизлые руки. Потому что потом придется долго и горько повинно плеваться.

Мы нарезали мех одних только молоденов, как пстрички в экспортном исполнении – мокрых кременно-розовых еще до соления груздей. Пристроили мне за спину. Оседлали мопед, в то время самый распространенный транспорт младших научных сотрудников и неоперившихся еще инженеров. И уже по нахлыстово буйному, хотя еще и редкому дождю, под возмущенное вдогонку ворчание неба направились в сторону дома. На первом же километре раз десять поскользнулись и обземлячились. Елозили, виляли, нарезали круги по черноземному проселку, словно негры, впервые ставшие на лыжи в своих саванах и пустынях.

Неприметно после очередного падения развернулись и, не бросив ни грибов, ни рыбы, продолжили свое приволжское сафари. Но недолго. Вскоре оказались снова у бочажины, где совсем недавно ловили красноперку. Посмотрели друг на друга – это край необходимо было: Репин с его бурлаками на Волге мог отдыхать. Посмеялись. Разделись. Смыли с себя африканский загар. И пехотой, пехотой пошли уже правильной дорогой, катя перед собой злонамеренный мопед с дневной добычей. Теперь уж точно, ни убавить, ни прибавить – действительные бурлаки на Волге, только свежеумытые.

И по дороге мне, хотя и запоздало, подумалось, что красноперка совсем непростая и не проклятая мусорная рыба. Не иначе, знается она и с водяным, и с русалками, не исключено – и с лешим, тенью или духом самого Сталина. Коварная рыба. А в чем примечательность и красота ее ужения я тогда так и не понял. Отнес все за стечение случайных обстоятельств и недоразумений. Но и это со временем выпало из памяти, потерялось и забылось.

Более осмысленной и памятной была встреча с красноперкой уже где-то под Астраханью. Это в самом деле было нечто. И не только в ловле, рыбацкой удаче, но и в сопряженности будничного, нетерпеливо суетного с мгновенным и вечным, что можно сравнить только с отрешением, уходом, впаданием в неведомо, куда. Все потустороннее отхлынуло, подобно речной волне, ветрено и бездумно шарящей по водной глади. Волна очистила берег от наносного мусора, омыла слежалый вековой песок. Все до черемухового и малиново-колокольного церковного звона спеленала и объяла прозрачность и чистота. И в ту голубиную первозданность майской пчелой вплелся человек. Похоже, один только я. Воедино соткались и выткались необъятность пространства, мягкое и ласковое приятие меня чужим царицыно-астраханскким летом: коврово-теплая синева и салатная зелень неба, степи и воды, вздрагивающе-трепетные, марьевые, не преходящие, с нажимом, непонятно откуда и как набежавшие тишина и покой, убежденность, что единственно так миру и мирозданию и надо. Это было живое воплощение ничем не омраченной вечности.

Потерянность и никчемность человека в безбрежье тишины и покоя. Выпотрошенность равнодушием к нему времени и пространства. Реально осмысленным был только мгновенный точечный просверк истомы, застывшее издавна в теле или сознании усталости да щемящее ощущение своей сиюминутности, утери, что теперь разыскивается, но так и не находится.

И не только сейчас. Это непреходяще здесь и при свете дня. А ночью – гортанные кличи давно исчезнувших людей да конское ржание копытной лавой пролетных под южно яркими звездами на бархате чужого неба, чужой разящей конницы, чужой жизни. Хотя это, похоже, больше от настроения, головное и надуманное. Потому что отаборились мы, как нам говорили, в былой столице самого Чингисхана – Сарае. Подтвердить или опровергнуть это сегодня может только ковыль.

Так же могильно, неземно-морочно и рыбачилось. Без взлетов и всплесков рыбацкого восторга и разочарования. Покаянно усердно. По-азиатски сосредоточенно и упрямо, словно принудительно урочно. Клевала одна только красноперка. И опять же, со всех сторон – урочно. В определенное время, в определенном месте, будто вовсе не татаро-монгольской, а немецкой крови. Просыпалась и шла на жор с восходом солнца, после прогрева воды. Будила

нас, как на работу, и сама трудилась. Бегом бежала к нашим удочкам, словно на приступ какого-нибудь русского города Козельск.

Чужеземная, татаро-тюркская, может, и скуластенькая, узкоглазая – не присматривались, до этого не дошло. Но ощущали, снимая с крючка парящую теплом воды и донной прелью ила, пьянящий аромат кумысу и кизячного дыма татарских костров – даже их маячный отблеск иной раз отсвечивал нам в глаза. Застил и слепил.

И было похоже, что мы не рыбачили, не красноперку в татарском краю ловили, а таскали жар, пылающие еще угли и головешки из былых, а может, и теперешних татаро-монгольских кострищ. Воровали и запивали жажду воровства сыродоем молодых кобылиц, курдючным кумысом. И опоенные им, похмельно истаивали, растворялись в давно отлетевшем дыму по тальниковым берегам неведомых нам, но связанных меж собой и вовсе не протоками, самим временем жилами, прожилками, артериями и венами – кровеносно – что невидимо и очень древне протачивались и сходились в великой татаро-русской реке негаснущей вечности Итиль-Волге.

Не потому ли сарайские красноперки, от килограмма и более, околдовывали. Доступной, чарующей привлекательностью чего-то требовали от нас и взамен. Не могу судить: вымогающе, просяще, невзначай или специально, но всё же… И что-то имели, брали у нас. Мы теряли возле них исконно свое. Вековое, полесское.

Жертвуя собой, они вроде предчувствовали, а может, и знали, что им это оплатится, вернется с лихвой. А мы, удачливые ловцы, уже нигде и никогда не избавимся от их русалочьего наваждения. Их, искушающего не только нас, ночью и на рассвете при полной и молодой луне мерцанием и отзвуками половецких плясок, цветных сполохов огня и пламени, холодно испепеляющего жара плавников, сводящей с ума патины их раздвоено-русалочьих хвостов. И мы никогда уже не избавимся, не изболеем вековой печалью их глаз, переданной подчас их разлучной разлучной тоски, того, что отныне и всегда мы будем носить в себе.

Как мы бежали от сараевщины, столицы Чингисхана, сегодня уже не помню. Давно простился с памятью прошлых, своих и чужих погоней. Но они были. И я бесконечно убегал, убегал, убегал. Может, и не жил, а бежал, бежал, бежал. По своей и чужой земле, потому что, оставив свою, поторопился сродниться с чужой, но потерял и ее.

На стареньком, больном на все советские автомобильные хвори, рябом четыреста двенадцатом, лягушечье облезлом москвичке, мы выхватились из жара и кумысно-полынного степного духа чингисханства, и – ноги в руки, попутного ветра мотору и багажнику. Но так опять недолго. Где-то

уже на подъезде к Волгограду наш «Москвичок» не выдержал смешанного цивилизованного и средневекового дыхания Европы и Азии. Всхлипнул, задрожал конской дрожью. Прощально щелкнул, как челюстями, нутром и отдал концы, дал дуба. В город нас доставили на буксире, простите, усталых, но довольных. Казалось, навсегда пресыщенных красноперкой, сложивших не только плавники, но и ласты, если мы их заимели, что очень близко к правде.

Потом были иные рыбалки и ловы. Другие рыбы утешали, продолжали и укорачивали жизнь, доводя порой до прединфарктного состояния. Взнимали на седьмое небо и низвергали в преисподнюю. Монголо-татарская красноперка, казалось, навсегда ушла в прошлое, не оставив в памяти и зарубины. Чужое все же есть чужое, хотя и даровое, халявное.

Но опять же, не только мы играем в жизнь и другие азартные игры. Жизнь, наш кратковременный партнер и противник, не дает нам спуску. Отслеживает каждый наш шаг, иногда дарует удачу, а чаще ставит подножку и насмехается – хочешь насмешить Бога, составь план – с нашей же страстью охолаживает и остепеняет нас. Особенно когда мы зарываемся, веря, что уже ухватили кое-кого за бороду. Очень даже непрочь перекинуться с нами в подкидного. И здесь уж неизменно самые фартовые шулеры, в конечном счете, всегда в дураках. В азартные игры опасно играть не только с державой и властью, но и с судьбой. Но это так, к слову.

Более существенное, думаю, в тленной необратимости нашего бытия, почему мы никак не можем избавиться от слепой надежды: возвратиться и повториться. Исходя из этого, легко уговариваем себя на все возможные и невозможные мерзости и гадости, надеясь : вот будет завтра, вот тогда мы… Но это завтра уже было вчера.

Но такое уж, видимо, нам предначертание: вскармливать и растить в себе вечного и совсем не сказочного волка-оборотня, по образу и подобию которого, похоже, мы созданы сами. Веками и тысячелетиями бежим и бежим по его следу и судьбе. А все гадостное и мерзкое списываем на обстоятельства, случай. На то, чего в жизни нет и не должно быть, потому что она всегда рузумна, во всем держит равновесие.

А мы в своих метаниях, преступном оправдании собственного зла, даром потраченного времени и жизни, творим себе уютную, а иногда и кровавую могилу. Колыбель и могилу сумеречной и пустой жизни.

Разлученный по своей воле и чужой неволе с родными большими и малыми реками и речушками, озерами и старицами я вновь и вновь в своих странствиях по свету листаю в памяти счастливые мгновения на воде и у воды, длю себя. Припоминаю пойманных мной рыб. И что удивительно, в туманной дали прошлого они не только не тускнеют, а набирают красок. Оживляют и

наполняют ранее неизведанным смыслом то, мимо чего я когда-то прошел, не споткнувшись ни глазом, ни душой.

В равнодушном, а может, и брезгливом прищуре ночных окон спальни я вижу солнечный взгляд дней, кажется давно избытых и забытых. Вижу до боли ярко. Я пытаюсь сильнее сжать ресницы, но только усиливаю свет в глазах. Словно это совсем не мои глаза. Может, и лампочки моего ночного видения.

Светло и празднично просыпается, распахивает мне окна и двери день, задушенный омертвелой толчеей лет. Сначала в мареве, призрачно, как это и бывает после долгого сна, почти небытия. Туманность прореживается, оседает и вспыхивает зеленым руном озимых посевов. Зелень победительно сгущается. Вот она уже такая, какой и суждено ей быть в предвестии будущей весны. Сочная от близости почвенных вод, упруго прочная у корня, по которому домашне ползают, пасутся рябые божьи коровки. И кто-то невидимый у моих босых ног пытается проклюнуть мою, еще неизнеженную городской обувью, голую и неведомо когда мытую пятку, почти бронированную.

Солнце соловьиными напевами лучисто колко высвистывает утреннюю побудку воде, реке, позолоченным языком слизывает с их груди сыродойную пенку, прозрачно взвихренные лохмы кудельно завитого ночного и утреннего тумана. Толчется в траве голоногий кулик. Камышовка, чувствуя где-то неподалеку от ее гнездавозятся то ли бобер, то ли выдра, испуганным хозяйским криком отводит, гонит их от своих, неоперенных еще в материнской колыбели наследников. Дрожаще раскачивает ветку лозы, будто намеревается ею отхлестать хищника. С лозового листка скачивается и падает еще рассветно прохладная и потому утяжеленная капелька росы.

Именно в это мгновение все и начинается. Росинка попадает на мой поплавок. На самый кончик его, облупленный словно девичий нос на солнце. Тонко заостренный и розовый. Нагибно смещает и слегка притапливает, что щекочет леску, которая в свою очередь вынуждает качнуться, привлекающе присесть и выпрямиться крючку с извивающимся червем при дне реки. Насадка, червяк, возмущен до нервной дрожи вьюна на раскаленной в печи сковороде. Дремлющая и ленивая до этого красноперка – она становится любопытной и входит в силу лишь тогда, когда хорошо прогреется на солнце вода – невольно встряхивается, губасто хватает раскрытым ртом назолу червя. И…

Нельзя сказать, что пошло, поехало. Красноперка в начале дня, как и любая хорошуля, еще должна избыть в себе ночь, не исключено, и подмакияжиться. Создать себя, сделать себе лицо – что ей делать, если завтрак уже подан в кровать. Рядом же наглые шилохвосты и жиголо – вертихвостки-плотвицы, фотомодельные сухоребрые ляскалки да и пескари с ершами.

Скромные, застенчивые, а охулки на руку не положат. Надо брать, хватать с лёту все, что подносят, не обращая внимания на распорядок дня. И робкая не суетная красноперка плюёт на свою природу и натуру. Стремится опередить своячек, ест сегодня, что подадут только завтра.

К полудню я с ног до головы в серебряных метах родной мне воды. Руки по локоть в рыбьей чешуе. Перед глазами живая радуга речной жар-птицы. Хотя она нисколько еще не птица. Только сказочный золотой и серебряный намек на нее. До птицы ей еще пуд червей. Есть и расти, как и мне. Пока я еще мужичок с ноготок – маленький, но уже полешук. И рыбка моя еще невеличкая. Но она уже красноперка. Она уже моя. Я должен думать и заботиться о ней. Потому многих очень маленьких красноперок отпускаю опять в воду. С ладони, с которой только торчит, будто стоп-сигнал, красный хвостик да желтоватый, птенцовый, клювик рта – просто в воду:

– Иди, гуляй да приводи маму.

Так я забавляюсь и играю, простите меня, мои красноперые утешницы. Имею право. Все ведь здесь мое. Так же, как и я их. Нам навсегда суждено быть разом. Некуда деваться от этого мира. Иного ведь не дано.

Спеленатый водами, обласканный и согретый солнцем, я улыбчиво и светло засыпаю, вбирая в себе умытую рассветом летнюю зелень трав, лоз, деревьев и синеву неба – краски жизни, мира и покоя. Такого же окраса и мои сны. Медленно настигают и длятся мгновения, дни и годы, не идущие в зачет моей жизни. Я навсегда породнен со всем сущим. С нашей неброской, рассудительной и осторожной рыбой – жар-птицей полесского моря Геродота, золотом которого обережена полесская тихая заводь.

Согласно последних изысканий ученых, оно, золото, неземного происхождения. Человечеству миллиарды лет тому его подарила Вселенная. Отсыпала из своего космического мешка в метеоритах и кометах. Перепало малость и белорусам. Есть оно у нас, только зуб не берет. Такая уже наша доля, и своего откусить не можем. Запрятано наше золото – это уже по исследованиям отечественных геологов – в двух километрах под землей, укрытое припятскими водами. Потому пока и недостижимое.

Но нам ниспосланы знаки. Живые знаки, воплощенные в наших рыбах, жар-птицах утраченного нами моря, которые оказывают себя, пророча нам долгий век. Приглашают и предлагают дружбу навсегда. Потому они и мечены серебром и золотом, выходя из донных глубин, умываются криничными водами древних рек, греются и вытираются лучами солнца.

Ведовство, память об этом у меня от бабушкиной печи, на которой вместе с котиком я въезжал в необъятность и тайну нашего мира. А бабушка на вечерних попрядках удивляла товарок рассказами о приключениях нашего полесского золота. О древних Домановичских, Петриковских и Туро-

во-пинских кладах. Почему-то большинство их, если не все, припадали на кладбища. Хоронится прикопанное на могилках золото обычно под косым истлевшим крестом, который никогда никому не был ставлен. А может, и был, но то уже забыто. Лежит, молча, и лишь время от времени, чтобы не забыться и узнать, что свет еще не кончился, выходит на поверхность. Прорастает из гробов, потому что и на том свете хочется воли. Постыло в гробу и деньгам.

Кладбищенское золото тоскует о земном. Хочет сбросить могильный тлен, обсохнуть, а заодно уже и позабавиться. Показать себя хотя бы в полночь на кладбище. И звездными мотыльками, дрожащим пламенем свечи светятся, вспыхивают и скачут над крестами почти языческой, поганской еще чеканки золотые рубли и червонцы. А в руки не даются, слово заповедное требуется. А на такое слово сегодня у нас не только память отбита, но отнят и язык. Ко всему, при себе надо иметь красный шерстяной платок, на который могло бы золото ссыпаться. Трудно, чтобы это все сошлось разом. Но в свое время сойдется, сложится. И человек разбогатеет.

Но что-то очень долго не сходится. Мое золото уже оказало себя. Вышло, явило свой лик, чтобы указать мне древнее русло реки, уже сухое, безводное. Оно проявляется лишь в большое половодье, которым некогда обманулся мудрый грек Геродот. Принял весенний разлив Припяти за море. И по этому былому разливанному морю в ливневые дождливые весны гуляют, хороводятся краснопёрки. Именно они притягивают и освобождают из двухкилометровой глубины наше золото. Они сами золото, его предшественники и весталки. Я черпаю его горстями. Умываюсь и согреваюсь им. Сберегаю для того, кого еще не знаю, но уже предчувствую.

Я лежу при долине на вересковом взлобке, когда-то донном, а сейчас сухом русле древней реки, в тени нависшего над песчаной гривой векового дуба. Подсознательно чувствую, что это мой дуб. Когда-то под ним избывали сенокосную истому, рыбацкую усталь мой дед и прадед. Их борть на дубу еще и сегодня служит пчелам. А на вспаханной и обрубленной молнией вершине дерева- старожила – огромное гнездо аиста, буслянка. Из нее, сигнально свесив красные клювы, смотрят на меня, как из дали веков, в четыре древних глаза два аиста – отец и мать – и двое белоголовых аистят. Не исключено, один из них – я. Вот только который. У моего бока, возле сердца, режется, просится на волю из вечной здесь грибницы зародыш боровика. Это зародыш меня. Это я из вечности прорастаю здесь грибом.

Словно занимая меня и откликаясь мне, старинное русло золотыми и серебряными всплесками подмаргивает небу, глазастому солнцу. Вода в новоявленнной старице прихвачена солнечным жаром, горит. Вправду горит, пылает донно, куда достигает мой глаз, и верхово, насколько мой глаз способен ухватить, угнаться за солнечным лучом. О том, что наши реки огненные, я

тоже знаю давно. Это не ново. Достаточно вспомнить лишь имя одной из пяти нашей Припяти – Горынь.

Таких Горыней у нас тьма. Названия, может, идущее даже от Змея Горыныча с вытекающими отсюда последствиями, отнюдь не только мифическими, а как говорится, имевшими место быть. Я сам в детстве не раз добывал и освобождал огонь из Случи. Она тогда меняла русло. Как говорили мои земляки, Западенщина –Западная Беларусь, принадлежавшая раньше панской Польше, – обрезала нашу землю. Речка круто повернула с запада на восток, подмяла мою стежку, срезала грудок, заросший лозами и ракитником. Покинула в непроточности прежнее русло, образовав там заводь – соединяющуюся с рекой канаву. Мне нравилось плескаться в теплой всегда воде той канавы. А однажды я вогнал в топкое дно ее добрый кол, оперся на него. И просто так – тогда я еще не курил, но спички, выбираясь на реку и в лес, по деревенской заведенке, всегда были в кармане – по наитию чиркнул спичкой. Бросил ее в воду себе под ноги. Боже, как тут вспыхнуло, как взвилось пламя. Я бежал из канавы, перегоняя самого себя. Хотя позже не раз возвращался туда и снова и снова добывал огонь.

Теперь не такой ли огонь сотворяла рыба. Красноперка, только-только отнерестившаяся или еще продолжавшая нереститься, полнить памятью жизни старое русло реки. Должить на миги и мгновения его, а это значит, и мою жизнь, идущую в зачет вечности.

Красноперка, судя по ее подвижности и вёрткости, совсем невеличкая. Но и я занимаю в отведенном мне пространстве не так уж много места. Вообще все мы на Беларуси неброские, склонны ужиматься, не отсвечивая и никому не мозоля глаза.

Я скрытно лежу на вереске под дубом. Наблюдаю, оберегаю и сторожу жизнь, зарождающуюся у меня на глазах, слежу за мигающем лётом отлитых из серебра и золота времени пуль, неспособных никого убить. Предназначенных только возрождать. .

Плач косатки над водами Уссури

Он непреходяще звучал во мне. Такое не с каждым ли даже вопреки всему происходит. Что-то неожиданно тронет душу, и ты долго носишь эту неожиданность в себе: неразгаданный звук, всхлип сонной птицы, застывшую на щеке каплю летнего дождя. Досадуешь, но постепенно избываешь и сбываешь. Звук глохнет в суетности мыслей, вскрик птицы и души подменяются и тонут в будничности и серости собственного существования, а тревожащая и обещающая капелька дождя на щеке высыхает сама, хотя не всегда бесследно. Знаковая, небесная помета иногда напоминает о себе до конца дня, а может, и до утреннего умывания. Но и следок все же чувствуется. Мигает и щемит в подсознании окутанной туманом памяти сотлевшими просверками светляков о былом крепком дереве. Поминовением давно и навсегда упокоенного уже и пня.

С таким упокоенным воспоминанием, следком, плачем косатки над водами чужой мне реки долгие годы жил и я. До этой вот поры, когда уже давно превратилась в прах и отошла младенческая, подростковая и даже зрелая решимость из края в край познать всю землю, своими ногами, собственными глазами и слухом. Вобрать, поместить в себе весь белый свет, в котором почетное место отведено той же реке Уссури, уссурийской дальневосточной тайге, течение и шелест которых пришли ко мне книжно, через голоса и шаги Пржевальского, Дерсу Узалы, геолога и писателя-фантаста Ивана Ефремова. И само собой – призывностью рыка солнечно-полосатого хищного таежного тигра, застойной неповоротливости в тиши своего омута пятипудового тайменя. Способен ли противостоять этому не видевший еще белого света полешучок, никогда далеко не отходивший от родного порога и болота, но уже имеющий что-то в голове, кроме мякины и опилок.

Не эта ли лишняя любопытствующая извилина в голове подвигла меня на воровство в библиотеке Вильчанского детского дома книжки о Пржевальском, Дерсу Узале и Уссурийской тайге. Книжка была сильно зачитана, без начала и конца, но с рисунками. Я долго хранил ее, пока мои домашние не сбагрили ее, скорее – выбросили как хлам в мусор.

Отсюда, с ворованной мусорной книжки, начало того, что вольно или невольно происходит с нами в непредсказуемой путанице нашей сумасбродной жизни. В нечаянных встречах и расставаниях, находах и пропажах, оборван-

ности того, что нам мило не мило, но не заранее ли суждено и предначертано. Мы лишь внушаем себе, что все делаем по собственной воле и по своему желанию.

На самом деле даже самый маленький наш шаг в сторону от проложенной для нас дороги приравнивается к побегу и наказуется, иногда и смертельно. О чем мы уже никогда не узнаем, потому что конвой наш по жизни совсем не вологодский. Нас совмещают с жизнью, подводят к ней и неумолимо, невидимо, как слепых котят и нищих, ведут по ней за подаянием – великих, малых, величественных и никудышных. Определяют не только судьбу, ее протяженность, во времени, пространстве, направленность. В моем случае – принуждают и понуждают делать именно то, чем я сейчас и занимаюсь.

Отгорели память и надежды на познание и вместимость в меня всего белого Божьего мира – Америк, Дальнего востока, Уссурийской тайги, до скончания веков бродящих там Пржевальских и Узал. Но и через годы моя жизнь споткнулась на затаенной моей памяти, напомнила мне уже отмершую пробесковую несвершенность. Мстительно и кроваво, как это присуще забытью и измене самому себе: нет, совсем не случайно падает какому-нибудь прохожему в определенном месте и в определенное мгновение кирпич на голову.

Я подсознательно остерегался своего кирпича, но мало, кому дано, а может, и никому, пройти свое прижизненное минное поле, миновать его и уберечься неизбежности сужденного. В будничной суете нашей жизни – это, может, и просто, хотя, скорее, растительно, травно, незамечаемо. Но только не перед Высшим судом и судьей. И не один на один перед белым безмолвием нетронутого листа бумаги. Некто или нечто, заставляющий нас исчеркивать, заполнять его буковками, требует доверяться и поверять ему не ведомое даже пишущему. Водит его рукой.

А я при всем отрицании себя, нежелании признаваться и признавать подсознательное в себе, а тем более увиденное, услышанное, придуманное и приснившееся, в действительности был на Уссури, ходил по Уссурийской тайге и ее тюбетейковым татаро-монгольским сопкам. Возвращаясь, чувствовал войну не только через все еще болящее и кровавящее раненое родное Полесье, но и вдали от него – в чужой стороне, на чужой реке Уссури и чужом острове Даманский. Некогда рассказал об этом Льву Александровичу Анненскому – писателю, критику, философу, по происхождению имеющему отношение к Беларуси.

– Это у тебе записано? – спросил он.

– Да нет. Зачем, пусть пишут другие. Их теперь много.

– Напрасно. У других – другое. А у тебя свое. Тебе, может, и не надо. А вот всем этим другим… Я, к примеру, в дополнение к напечатанному, веду

еще и записи. Уже около десятка томов. Это история, моя и не только. В остережение тем, другим, которые будут писать вслед за нами.

Я тогда не прислушался к его словам. В глубинах памяти еще была жива заложенная и затаённая со времен военного лихолетья мина замедленного действия, которую носили в себе почти все дети войны. Мина, которую и сегодня опасно трогать и вызывать из небытия подчас уже самого заминированного. И я надолго оградил свою память молчанием, почти на полстолетие. Считал, что застолбился и спасся. Потому что сросся с предупреждением: никогда не возвращайтесь в прошлое, особенно в детство – это печально, больно и горько. Другое дело, если вам нравятся зеленые и кислые яблоки. Выпавшие зубы тоскуют по оскоме.

Но кто-то настаивал, как это всегда бывало со мной, жаждал моего возвращения. Неумолимо и жестоко заставлял, стремился повернуть мою жизнь и душу к щемящей и горькой чистоте детства, которого у меня, можно считать, и не было: короткая пробежка взрослого во взрослость – ближе к финишу. И теперь может так радела мне моя обделенность. Неуспокоенно напоминало о себе кладбище моей непогребенной памяти, которой я то и дело отказывал отрицаньем. Неверием в происходящее и очевидное: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Не выдам ни обид, ни обманов, ни измен, своих и чужих. Исповеди и в храме не будет. Только… Но и про это промолчу. Юродивость пещерная, обезьянья, еще до дарвинского естественного отбора, который, кстати, происходил без нашего, человеческого в нем участия. Мы же сразу объявились на свет закоренелыми язычниками, не усвоив христианства, ими блаженно и остаемся. Но жизнь и без нашего участия подбрасывала нам одно запинание за другим.

Так решилось, произошло и с Уссури, и с памятью об острове Даманский. Я уже и думать про них запретил себе. Хотя звонки из прошлого проходили. Первый, когда я в пору распада Советского Союза с делегацией Союза писателей побывал в Китае. Принимало нас Министерство обороны КНР. Пекинские писатели – тоже структура военная. Когда заходил разговор о событиях на китайско-советской границе, на острове Даманском, я молчал, придерживаясь так называемой политкорректности. Среди нас был и отставной командир стрелковой дивизии, в то время ответственный секретарь Союза писателей СССР. Именно его дивизия участвовала в давнем пограничном конфликте и у него была своя точка зрения по этому поводу. Он ее и высказал. Я же предпочел промолчать.Только что-то все же всколыхнулось во мне. Пробудилось в памяти и погасло. Кстати, китайцы относились к конфликту без агрессии, рассудительно, несмотря на то, что за ними было больше правоты…

Только память наша несговорчивая, долгая и многоправдная. Уже в наши дни попалась мне на глаза, словно специально кто подкинул, книжка Л. Мле-

чина о руководителе СССР и КГБ Ю. В. Андропове. И то, что, казалось, я вчера прогнал через двери, постучалось мне в окно: Приморский и Хабаровский край, река Уссури, советско-китайская граница, остров Даманский. Скребло, цепляло все, вплоть до названия острова – Даманский. Ведь я сам был рожден на Гомельщине в местечке Домановичи, расположенном через дорогу да кладбище от моей родной деревни Анисовичи.

Я понял, что деваться мне некуда. Я уже на крючке. Свои долги надо оплачивать самому, при жизни и без ссылок на других. Свои конюшни, туалеты и кладбища мы должны содержать и убирать только сами. Чужим они без надобности, хотя, как заведено у людей, почитаемы и почти святы, но не щемяще. Иначе за нами и после нас те же кладбища. Пустота, что еще неведомо в какую отольется форму. А именно она больше всего стремится найти форму и приобретает ее, но зачастую гибельную, монстровую и не всегда земную.

Остров Даманский на реке Уссури был ничем не примечательным и размерами не впечатлял. От китайского берега до него четыреста метров, от советского – километр, тысяча семьсот метров в длину, пятьсот – в ширину. Незаселенный. Только по осени на нем косили траву на сено. По острову как раз и пролегла граница между Китаем и Советским Союзом. Вопрос о ней давний, запутанный и сложный – с царских времен надлежало придерживаться фарватера реки, который часто менялся. Китайцы требовали пересмотра границ. Советский Союз не соглашался.

За непонимание и взаимную неуступчивость расплачивались пограничники обеих сторон. В Китае набирала силу культурная революция. Так называемые хунвэйбины уничтожали не только культуру, как это свершается во время каждой революции, но и всех причастных к ней – мыслителей, творцов и просто добропорядочных людей. Врагов. Внутренних, внешних, явных и скрытых, а под эту гребенку – и возможных. Потому не редки были стычки, правда, пока без применения оружия, между китайскими и советскими пограничниками. Нашим разрешалось иметь при себе дубинки, не длиннее двух метров. Но какие там два, обзаводились и тащили за собой такие оглоблины – не всякий мог от пупа оторвать и вверх вскинуть. Китайцы же творили шоу, задирали, насмехались, демонстрировали изобилие китайской подогретой водки, ханши, но не пили, лишь переливали ее из одной посудины в другую. И хлеб свой китайский, пампушки, тоже не ели, рупорно горланили.: «Широкий русский солдат, переходи на наша сторона, каждому дадим тарелку риса и пампушек!». Наши пограничники, стоя зимой на морозе перед толпой китайцев, этих криков обычно долго не выдерживали. Начинал кто-то один, самый промороженный или слегка нетерпеливо отмороженный, замухрышистый и непоглядный. Как на медведя, вскидывал рогатину, и начиналось ледовое побоище: без победителей, но согревающее и до крови.

Так было до первого марта 1969 года. А ночью на второе марта несколько сот вооруженных китайцев перешли границу и сделали на Даманском засаду. Начальник заставы №2 старший лейтенант Иван Иванович Стрельников выехал на остров с пограничниками на автомашинах. Китайцы расстреляли их в упор. Вторая группа пограничников во главе с младшим сержантом Юрием Бабанским задержалась, потому что только-только вернулась в казарму из дозора, и Бабанский не сразу смог найти свои валенки, поставленные на просушку. Эти затерявшиеся валенки спасли ему жизнь.

Расстрел первой группы произошел на глазах младшего сержанта Бабанского. Он сразу же залег и прокричал: «Ребята, это – война!». Что тут удивляет – как свидетельствует уже Млечин, те же слова произнес и Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И, Брежнев, когда ему доложили о событиях на советско-китайской границе: это война. Генсек был готов дать команду нанести по китайской территории ответный удар. Но запротестовал Юрий Андропов. (Мир висел на волоске).

…Другой Юрий, младший сержант Бабанский, открыл огонь, начал отстреливаться. Но недолго. В горячке где-то потерял запасной рожок с патронами. На подмогу заставе Стрельникова подоспел на бронетранспортере начальник первой заставы старший лейтенант Виталий Дмитриевич Бубенин. Зашел с фланга и расстрелял командный пункт китайцев. Но сам в том бою был ранен и контужен.

А всего в тот день на Даманском погибли двадцать два советских пограничника, и один попал в плен. Большинство – сибиряки. Преимущественно из них формировался пятьдесят седьмой, с размещением в городе Иман, пограничный отряд. Поначалу в нем были и москвичи, и ленинградцы. Но они не выдерживали суровых условий Дальнего востока и пограничной службы. От них негласно избавлялись. Среди сибиряков было немало и хулиганистых окраинных ребят из Кузбасса, хотя бы тот же Бабанский – кемеровчанин.

Этим и объясняется наша тогдашняя командировка. На остров Даманский Кемеровский обком партии направил от партийной газеты «Кузбасс» Максима Щербакова, офицера запаса, и от «Комсомольца Кузбасса» меня, рядового, необученного. Выехали сразу же после первых событий, а попали на вторые, еще более трагические. Мое положение осложнялось тем, что как раз перед этим я, похоже, начал умнеть – стали резаться зубы мудрости. Боль была невыносимая, запущенная. Все надеялся – само пройдет. И только накануне отъезда, вечером, пошел к стоматологу, а утром с кровоточащими деснами был уже в поезде «Россия». Мои мудрые зубы и причастили меня к Даманскому и речке Уссури.

В Имане, сейчас Дальнереченске, мы оказались ночью с четырнадцатого на пятнадцатое марта, когда на Даманском все повторилось, как и в начале

месяца. Повторилось нежданно и негаданно, как всякое лихо в советской отчизне. Пятнадцатого марта китайцы полностью захватили остров. Москва, Кремль вели бесконечные переговоры с дальневосточным пограничным округом. Позже нам рассказали об этом офицеры, обеспечивающие правительственную связь. Бездеятельность и нерешительность верхов присудила к смерти мальчишек-пограничников. Ни оружием, ни политически решить вопрос с границей не удалось. Воинское командование округа не хотело и не отваживалось без приказа свыше вмешиваться в пограничный конфликт. Все было, как это было и накануне и в начале Великой Отечественной войны. История повторялась той же трагедией и таким же фарсом – рядовые солдаты заливали и тушили военный пожар горящей родины собственной кровью.

Командир пограничного отряда полковник Демократ Владимирович Леонов под свою ответственность возглавил и повел на остров четыре танка. Китайцы сражались умело. Командирский танк был подбит сразу же, остальные повернули назад. Леонов был ранен и не смог выбраться из танка. Как рассказывал потом уже Бабанский, бывший среди добровольцев по освобождению его из танка, полковник был ранен в ногу и, скорее всего, умер от потери крови. Пытался ее остановить, надрезал кожаные командирские ремни, но на дальнейшее не хватило силы. Его тело было доставлено на советский берег Уссури.

В то же время решалась судьба и самого младшего сержанта Бабанского: отдать под суд за то, что без команды открыл огонь, или наградить за инициативу. Опять же – типичное явление времен Великой Отечественной войны. Бабанского наградили – присвоили звание Героя Советского Союза, как и старшим лейтенантам Стрельникову и Бубенину. Стрельникову – посмертно. Бубенина едва ли не сразу из госпиталя направили в военную академию, куда он до этого пробовал поступить, но чем-то, видимо, не подходил анкетно. Бабанский проложил себе путь в генералы.

Мы со Щербаковым сразу же с поезда погрузились в БМП и двинулись на остров Даманский, в село то ли Михайловку, то ли Ново-Михайловку. Лишь во время поездки я пришел в себя и рассмотрел чужую мне землю, увидел реку Уссури, к которой стремился еще с детдомовской поры. Край как край, земля, своя, чужая – остается землей, хоть и обложенная до горизонтов щетиной сумеречно-небритых сопок, напоминающих, благодаря этой щетинистости, круглые деревенские боханы хлеба с остево-ощеренными подпеченными корками, через которые уже пробивалась весенняя красноталица соков. Сопки тянулись цепью, словно взявшись за руки, одна за другой и вдали стягивались в одну самопрядную суровую нитку.

Но мое внимание больше привлекала река, хотя она и не показалась мне броской и желанной. Широкая и ровная, в таких же ровно зализанных берегах,

не очерченных течением, потому что подо льдом. И лед тот был пугающим, усопшим, мертвым, уже слегка слезно оплавленным просверком мартовской влаги. Напряженно синий и безмолвный, будто губы, кожа покойника. Синь, казалось, объяла все русло от берега до берега и до дна, не оставив реке и тому, что в ней водилось, даже малой надежды на весеннее пробуждение и возрождение. Это была река именно войны и ее последствий. И я не мог ее принять, она сразу же стала мне чужой. Нет, не ее я видел в своих снах.

Поселили нас со Щербаковым в одной просторной палатке с комадиром маневренной группы полковником Яншиным, преданным поклонником пограничной службы, которой по-отечески заботился о молодых солдатиках-пограничниках. А чтобы подчеркнуть свою им преданность пограничной службе, зимой и летом ходил в зеленой пограничной фуражке. Очень достойный, заботливый командир и человек, он, по слухам, заканчивал службу в Беларуси. Китайцы дали клятву уничтожить его, как и каждого из офицеров, отличившихся в стычках с ними.

Яншин встретил наше подселение к нему в палатку приветливо. Но возмутился специальный корреспондент газеты «Правда» С. Борзенко, Герой Советского Союза времен Великой Отечественной войны.

– Как вы сюда попали? Кто вам позволил? Я приказал журналистов и на выстрел не подпускать на Даманский.

Гнев правдиста выпал на долю старшины, украинца Барвенко, разместившего нас вместе с Героем. Старшина барский гнев перенёс, молча, как и положено служивому. Но отыгрался, когда для ночного дозора выдал нам автоматы и новые безукоризненно белые полушубки.

– Пусть этот чванливый правдист ходит в ношеном. А вам – новенькие, только-только с фабрики.

За эти новые полушубки и расположенность к нам старшины мы очень быстро рассчитались. Ужасом. Снег уже сошел, земля повсюду оголилась до чернозема. И мы в своих новеньких полушубках были на ней, как белые вороны. И потому команда и требование: «Стоять! Пароль, отзыв!» прозвучали для нас, как немецкое «хенде хох». Пограничники, сопровождавшие нас, будто сквозь землю провалились. А мы, ни живые, ни мертвые, прикипели к черному бестравному лоскутку земли. Мы, да еще пожаловавшая на человеческий голос откуда-то со стороны ближней подслеповатой избушки рябенькая, похоже, сошедшая с ума от чужого люду и войны, курица. Бросалась под ноги, как собаки после Чернобыльской катастрофы, поднимала голову, надеясь на защиту, и горласто кудахтала, выдавая нас.

– Эй вы, шурупы! – подали ниоткуда голос сопровождающие нас пограничники. На армейском сленге шурупами из-за обмоток пограничники издавна еще прозвали пехотинцев и пехоту. – Шурупы, обмоточники, не вам приказывать нам, как ходить по нашей земле.

– А вы, гусеницы зеленые, кочколазы… Приготовиться к огню на поражение!

Загремели автоматы, защелкали затворы, и уже были взведены курки. Слышимость в ночи, в темени была пронизывающая. Я не решался пошевелиться и только искоса и сверху вниз, больше подбородкам, всматривался в чернь автомата, подвешенного на груди. О чем думал, куда смотрел, на что надеялся – не знаю, рядовой же необученный. На что нажимать, как стрелять – ни духом, ни слухом. Когда этот «калаш» еще вешали на шею, больше переживал, чтобы он сам собой неожиданно не выстрелил.

Спасла нас со Щербаковым яркая вспышка прожекторного луча и проявившаяся в нем смушковая бекеша или папаха, что, кажется, безголово бежала или плыла в обрезанной струе света: наличие бекеши или папахи было свидетельством того, что к нам торопится офицер, и в звании не ниже полковника.

– Отставить, прекратить! Автоматы на предохранитель!

Голос был зычный, полковничий, а может, и генеральский. Мы воспрянули, ожили. А вот рябенькая курочка, будто разрешилось яйцом, вскрикнула петушиным голосом и пропала в ночи. Пограничники с не меньшим оживлением, чем встретившиеся на Эльбе американские и русские солдаты, вылезли из своих скрыток и бросились едва ли не брататься: советские признали советских. И в помине не было новозаветного: своя своих не познаша.

Как же все повторяемо в нашей жизни и истории. Их эхо бежит вдогонку за нами из пещер, изобретения огня и колеса до сегодняшнего дня, атомной и космической эры, эпохи коллайдеров. А может, и не эхо. Столетия и тысячелетия, умытые кровью, жаждут и требуют лишь новой крови.

И словно в подтверждение этому, уже после нашего возвращения с дозора, поднялся невероятный ветер. Почти библейский, как при создании планеты, когда всем сущим правили огонь и смерчи. Вот и здесь ветер был со страшными разрядами грома, полыханьем молний. Наша палатка среди сопок – у самого Бога за пазухой, но ее шатало и рвало до треска армейского, на резине, брезента. И происходило это, очевидно, не только от бешенства и сумасшествия стихии. Буйствовало и властвовало что-то высшее. Яншин по рации начал вызывать штаб отряда и пограничного округа. Но никто не отвечал. Борзенко высказал предположение, что началась война. Так заполнен был пустынным разрушением ветер.

Значительно позже мы узнали, что это была если и не война, то что-то очень близкое к ней. Наблюдатели отследили на китайском берегу Уссури сопку, в глубине которой сосредоточились войска китайцев. Четырем дивизионам советских ракетных установок было приказано открыть залповый огонь

и сравнять сопку с землей. Что и было исполнено. А где-то через год с чем-то, когда я опять был на советско-китайской границе, советские прослушиватели чужого берега под большим секретом проговорились: когда начался обстрел, китайцы возопили: «Русские братья, что же вы делаете?»

Мы покидали Уссури и Даманский в невероятной сумятице и мешанине, скоплении самых разных подразделений войск и техники. Дорога на Иман, к штаб- квартире пограничного отряда, была разбита распутицей и военным транспортом. По глубокой колее, заполненной водою, можно было плыть на лодках, в крайнем случае – в гусеничных амфибиях. Мы же, едва удерживаясь, скользили по брони БТР вместе с художниками военной студии имени Грекова, которые согласились подбросить нас. Официального разрешения ехать с ними у нас не было, а бюрократическая машина уже работала. Но на нас никто до поры до времени не обращал внимания. Никто и нигде не проверял документы, хотя КПП стояли едва ли не на каждом километре. В общем – вполне пристойный и достаточно хорошо спланированный и организованный советский бардак.

Так, не таясь, подпольно и конспиративно, мы добрались, как сегодня думаю, до какой-то специальной и сверхсекретной воинской части. Художников встретили и повели на угощение. Мы же, поскольку были пришей-пристебай к ним, самостоятельно начали бродить среди каких-то дивных, высоких и островерхих, толстых, в два-три обхвата, закамуфлированных армейской сетью под заросли кустов, установок. Дружески похлопывали по их поросячьим задницам. А я еще вздумал и сфотографироваться на их фоне. Но только расчехлили фотоаппарат, как началось что-то схожее с происшествием в дозоре. Только куда более серьезное.

Нас арестовали, словно китайских, хотя мордами мы явно не вышли, а может, каких-то еще более серьезных лазутчиков и шпионов. Оказывается, мы попали в расположение полка или дивизиона ракетных установок залпового огня, может, и тех, которые ночью посадили китайскую сопку. Был допрос, были секретчики, контррахведка, смерш, не смерш, но спасибо нашему славянскому обличию. А еще славянскому же организованному беспорядку, в котором нам привычно было жить, воевать и умирать.

Все на китайской границе было по-настоящему с большой буквы и по- советски героично, по-русски жизненно и потому опасно, преступно-смертно. Хаос и сопутствующие ему восторг и эйфория были вполне сопоставимы с будущими победными войнушками с Грузией и новым покорением Крыма. Пьянила пролитая молодая солдатская кровь и хмельное предвидение крови новой, свежей.

…Стадион, где происходило прощание с погибшими пограничниками, не мог вместить всех пришедших на похороны жителей Имана. У наших лю-

дей в чести похороны, смерти и кладбища, впрочем, наверно, как и всюду. И перед этим можно было склонить голову, если бы, если бы не наше: хоронили тещу – порвали три баяна. Из-за большого наплыва народа на стадионе по бокам его пришлось срочно сооружать леса в три или четыре яруса. Людей налипло на эти леса столько, что они не выдержали и обломились. Это добавило новых, уже штатских покойников.

В ту же ночь, а может, и в следующую, в казармы возвращался со службы караульный взвод. Навстречу их газику выкатил бронетранспортер во главе с армейским офицером: не хватило водки, спешил докупить. Взвод, более десятка солдат, погиб на месте. И в том числе капитан, начальник клуба, от звонка до звонка прошедший Великую Отечественную войну.

В тихом пограничном городке Иман правила бал смерть. Героизм и готовность защищать социалистическое отечество, эйфория патриотизма, перевязанная и подпоясанная не изношенными и не выброшенными еще солдатскими ремнями отслуживших свое срочников, скрепленная истерией мгновения, взяла в кольцо, оккупировала город. (Опять же нечто, весьма напоминающее телевезионный восторг от российской самолетной войны в Сирии, угрозам Турции и всем врагам великой державы.) Противостоять этому коллективному боевому сумасшествию было невозможно. Я тоже полностью поддался ему. Трудно судить, человеческое это или животное, звериное, грешное или святое, но это в нас неистребимо. Я ощущаю это в токе крови, на Украине, где творят смерть совсем не так называемые «укропы» и «колорады», а искусственно выведенная и взращенная еще в сталинских лабораториях, кремлевских закрытых институтах и недрах былого и сегодняшнего КГБ порода генномодифицированных отморозков, современных гомосапиенсов – не то ли потерянное звено от обезьяны к человеку – под знаменами былого, как говорили в наше время, последнего пристанища подлецов, имперского вранья и высокого рейтинга властителей – патриотизма. Рейтинга действительно неоспоримо высокого, но все же – немного ниже, чем у фюрера. Хотя тот был вегетарианцем, а по некоторым сведениям, импотентом.

Думаю, что это у нас стадное, животное. И в стадности, в борьбе высокого и низкого чаще побеждает последнее. Инстинкт толпы, желание единения с ней, первобытность. И сам я в этом не исключение. Пришел к этому, когда Иман прощался с Демократом Владимировичем Леоновым. Присутствовала там еще не старая женщина с двух-трехлетним зареванным ребенком на руках. Кем она приходилась Леонову? Может, и никем. Но плакала она в голос и не стыдилась слёз. Плакал мальчишка. Слезы двумя дорожками безостановочно катились по его лицу. А вот плача, голоса его я не слышал. Наверно, он ревел под настроение матери. Мне будто заложило уши. Не потому ли я настырничал с фотоаппаратом, словно пытался им поймать голос ребенка. Втянуть, завлечь в западню собственной опустошенности, овладевшей мной.

Добился лишь того, что женщина стала прятаться от моего фотоаппарата, докучливости моей глухой на ту минуту души. И безголосость мальчишки, а позднее и женщины, была единственной добычей слепого фотоаппарата. Хотя голошение, как мне представляется сейчас, продолжалось, и было довольно громким, только не дадено мне было услышать его, как, наверно, и прощающейся толпе. Только слезинка ребенка, почти по Достоевскому – немое послание и укор смерти.

Я услышал его плач на той же реке где-то через год с небольшим. Так уже сложилось. Моя командировка на остров Даманский затянулась, вместо недели, на месяц. Дороги, поездки на заставы и в госпиталь, встречи. Беседы с пограничниками, посильное участие в их жизни. Из-за чего, кстати, меня взялись из моей штатской газеты вербовать, тянуть в военную, окружную. Грозили: не пойдешь в газету округа, пойдешь политруком в роту. Насилу отбился.

Редактор отстоял, напрямую обратился к первому секретарю обкома партии. Тот цыкнул на военных. Так вот моя военная карьера была погублена. Я навсегда остался рядовым необученным. Но, видимо, и за это – за командировку на Даманский, и за свою душевную глухоту, слезинку ребенка – заплатил здоровьем. Зубы мудрости, о которых я уже упоминал, тогда так и не прорезались, а вскрытую стоматологом десну разнесло до того, что она не вмещалась во рту. Рот стянуло, как куриную гузку, я не мог есть. Одно только пил – суп, воду, соки и, понятное дело, все прочее. В новосибирском аэропорту Кольцово, где я обратился в медпункт, меня уже за четыреста километров от дома хотели снять с рейса – температура сорок один градус. Но если бы только температура, были и последствия. Полет в Кемерово заканчивал в туалете. Но в городе, в редакции и дома, успел еще, как говорят газетчики, отписаться.

А дальше были больницы, больницы. С самым страшным, хотя, слава Богу, позже не подтвержденным диагнозом. Следующим летом жена добилась мне путевки на реабилитацию в санаторий Шмаковка – на ту же советско-китайскую границу по реке Уссури. Вот так причудливо и своенравно судьба играет нами. Я с радостью подчинился этой игре еще и потому, что Уссури осталась не обловленной мною. А так хотелось посидеть с удочкой на ее луговом берегу, попробовать ее ухи, рыбы не только нашей, но и китайской. Еще на подлете к Шмаковке я оздоровел. Встретился с друзьями-пограничниками.

– А живем ништяк, – балагурили они.– Китайцы тихие, только понаставили на своем берегу на обзор нам портреты Мао-Цзе-Дуна. А мы им в ответ – клозеты без задних стенок. Портреты китайцы убрали, заменили тоже клозетами без стенок. Вот так и переглядываемся и переговариваемся.

Солдатский юмор, двусторонний – наш и китайский. Исцеляющий не только санаторно, Шмаковкой. Хотя надо особо отметить, что лучшего ле-

чения и отдыха, чем в Шмаковке, мне не выпадало. Из-за близости границы, таёжной глуши санаторий не был еще развращен и испоганен номенклатурными болящими, их капризами и претензиями. Таежные здоровые люди, не озабоченные тем, кому сколько и за что дать, приветливые лица даже младшего персонала, сестричек, нянечек. С той и другой стороны – уважение, достоинство, совесть, по-настоящему пролетарско-интеллигентные. Здоровый воздух, здоровье душ, так что мне некогда было болеть. Единственное, чем можно и следовало заняться в этом эдеме – рыбалка. Хотя Уссури, по всему, была не моей рекой.

Считалась она горной, но здесь была равнинной. Сопки, что по осени, как позолоченные маковки церквей, – совсем не горы, хотя вполне могут быть храмами. Река омывала их, от каждой серебром и золотом принимая дань. Китежем с легкой дрожью сусального золота в отражении воды возвращала ее в услаждение глаза и мира. Свежо и тепло до плавления того же золота в душе, чарующе и до перехвата дыхания целяще.

Но моя рыбацкая натура склонялась совсем к иным рекам – сурово и строго ворчливым, буйствующим, сибирским. К стыдливо закрытым, на первый взгляд, кротким, но глубинно, донно-напряженным, как сам белорус-полешук, – Припяти, Сожу с Березиной. В них я чувствовал что-то корневое, сращенное с землей, из которой они вышли, и со мной. Личность, характер. Особенно в Припяти – многодетной матери пяти рек. Ничего внешне броского, показного в русле и при береге, несмотря на заматерелость, омуты и ямы, вихревое отбойное течение с винтовой притягательной и милой, как у деревенской красавицы на щеке, подвижной ямочкой – от глубины до донышка припятской слегка загорелой на солнце воды. Сердца реки, в котором поместительно проживает хозяин Припяти – богатырский седой сом.

Крученая наполненность омута плещет ему в лоб и хлещет по усам, он пугается собственной дерзости, убегает на средину реки, к фарватеру, где скрывается невидимый глазу ее стержень. Не дай, Господь, испытать его силу, довериться его объятиям, в страсти не уступающим девичьим, женским. В его неумолимой ласке остается лишь одно – покориться и протянуть ноги. Такова уж нареченность бегучей воды белорусского Полесья. Таковы характер и кротость. Этого я не почувствовал в Уссури. Хотя, конечно, ошибался, как каждый кулик в чужом болоте. А болото, безусловно, было чужим и, может, больше китайским даже, с восточными тонкостями и премудростями. Недаром же соседи ежедневно по своему радио желали нам: «Спокойной ночи вам, дорогие сибиряки, временно проживающие на территории Китая».

Может, потому и не таланило мне на ловлю чужой рыбы в чужом краю. Чужое небо, чужая вода, чужие голоса окружали меня. А рыбы? И близко не было ни знаменитого сибирского тайменя, ни остро– или тупорылого ленка, не говоря уже о толстолобиках и экзотических аухах. Обыкновенные

мелкие мусорные ельчики, чебачки да вездесущие оглоеды-ершики. Такое удовольствие я мог получить и дома, не слезая с печи. А на какую наживку я ту дребедень только ни ловил, чем только ни ублажал – и чилимом, пресноводной местной креветкой, и железняком, черным червем, и червями обычными, родными, и кашами, хлебом, мухами, оводами. Результат один: глухо, безнадежно, безрезультатно.

Правда, иногда попадалась рыба не рыба, животное не животное – удивительное божье создание, названное местными рыбаками конь-губарь. О губах говорить трудно – не селиконовые ли? А вот конек был настоящий, с высоко вскинутой, хотя и без гривы, головой, по-лошадиному выпяченной грудью. Конь, и все тут. Только не ржет и очень маленький, с седалищем, более пригодным для шахматной доски, хоть ты его бери и дари гроссмейстерам – Каспарову или Купрейчику. Поможет справиться с рыжим американцем Фишером. Но ловить того губатого коника я не желал, немного брезговал, а больше жалел. На зуб его – нечем и плюнуть. Пусть идет опять в речку, за настоящей лошадью, колхозным сивым мерином.

Так забавлялся я на Уссури, пока однажды не поймал что-то непонятное. Клюнуло хищно, окунево – сразу на дно. Я потянул без подсечки. На крючке было что-то рыбье, или беременной рыбой, округлое и брюхатое, вроде выползка, проглотившего крота. Я вскинул вверх удилище и по-рыбацки выставил навстречу этому созданию руку. Приятель, с которым я рыбачил, тут же отбил ее, отвел в сторону от летящего на меня улова:

– Опасно! Косатка-скрипут. В шипах по обе стороны головы – отрава. Не смертельно, но руку, как куклу, долго будешь носить.

Он еще что-то долго и убедительно мне говорил, но я уже не слышал. Заложило уши. Мой улов, моя добыча плакала не услышанным год тому назад детским плачем. Заложенные пустотой во время прощания Имана с полковником Леоновым уши открылись. Мне незнакомо, как плачут рыбы и плачут ли они вообще. Есть ли у них в воде слезы, какие они, соленые, как и наши, или со сластинкой, сладкие, горькие. Одним миром и горем мы с ними мазаные или разделенные, разведенные навсегда?

Это, наверно, больше сегодняшнее, хотя полностью из прошлого. От беззвучного плача ребенка год тому назад, к которому я был глух.

Над водами Дальневосточной реки Уссури горько и по-детски неутешно плакала несуразная рыба косатка-скрипут. Я оставил на берегу снасти и пошел прочь от этого плача. А на следующий день, не добывши свой срок в санатории, был в небе. Приспешивал самолет как можно быстрее и дальше улететь от реки, которой грезил, видел в детских своих снах. От мечты, которая сбылась, но не заполнилась еще пустотой.

Out the Body

Это было уже после того, как все было. Хотя, что это было? Что это всё? Никто толком не знал. Но предполагали все – что-то было. Испепеляюще сухая весна. Непохожая на весны прошлые. Особенно тот первый день Вербницы, когда это случилось. С которого и пошел новый отсчет времени. Времени уже потерянного для также потерянной тут земли и тоже потерянных в праздничности при солнце и весенней набряклости и вспышке цвета людей. Потому что на первый взгляд все оставалось и продолжалось как и прежде, всегда. И ничего еще не было и все уже было.

По уверению создателя бравого солдата Швейка Ярослава Гашека: « никогда не было, чтобы никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да было». Только вот птицы забыли петь. Хотя и продолжали оказывать себя. Линейно расчерчивали небо, ныряя из-под солнца в низины и заросли кустов. Скрытно вили гнезда. Но уже тихо и невидимо начинался и их исход из этого края. В первую очередь из подстреший деревенских изб. И те без их векового гомону неприметно немели, звякая только запорами калиток да скрипом их дверей.

Тенями притаились и притихли во дворах, палисадниках и люди. Изредка только перебрасывались словом через забор сосед с соседом. И женщины не задерживались надолго с ведрами у колодцев. И у воробьев угасла задиристая, подростковая жажда купаться в зольном уличном песке, топырить перья и чирикать. Их вообще на глазах стало меньше, а раньше   от беззаботного прискока и гвалта, рябило в глазах и закладывало уши, почему их, снисходительно приближая к себе и своим огородам, называли коноплянаками, а иногда и жидками.

Коноплю здесь извели повсеместно и давно. И намека на нее не покинули, когда в села хлынула за ней городская набродь еще до перестроечных, установленных меченым Михаилом времен. А так названные, с давних пор тут проживающие жидки вдруг снялись и сошли сами сразу послеоктябрьского переворота в Петрограде и Москве. С крылатыми, казалось, тоже все решилось просто: им дали псевдоним, новое имя. Окрестили и обязали зваться только конопляниками. Но здесь, как уже упоминалось, возникла проблема. Люди стали опасаться собственного языка и истории с географией, побаивались называть Житковичи – от слова жито – Житковичами, переведя их на Еврейковичи. Так из обихода уходило не только птичье, но и национальное.

И что знаменательно, два этих события связались меж собой. Один исход совпал со вторым. И все, хотя внешне круто вроде поменялось, но также круто

и возвратилось на круги своя. Сельчане то ли от обиды, тои из-за непонятости зигзагов жизни, возвратили исконное, первое и второе имя пернатым, что в нашей истории происходит повсеместно и во все времена. Очевидно, противясь этому, заклято и с вызовом нарекли воробьиное племя снова жидками.

Заклято, но не зло, сочувственно. Потому что сжились с крепнущим в мире маразмом. Нарекать начали позднее, в пору Брежневского застоя, когда их тезки не все ли поголовно устремились к своей обетованной земле. Возмутились, словно брошенная разведенка жена на ушедшего мужа, будто что-то уже загодя в своей судьбе предчувствуя: мы приняли вас, гонимых и оскорбленных, будто помолвились. Потеснились, дали приют, дело ремесло. А теперь вы бросаете нас, бежите прочь, словно мыши с тонущего корабля. Не племя вы, а в поле – ветер.

Не подобно ли тому далекому людскому исходу в ту оглушенную и немеющую весну начался и всего прочего Божьего мира, птичий исход. Блюдущих себя журавлей, глуповатых уток, а заметнее деревенских деток – воробьев-конопляников и жидков – плоть от плоти деревни. А следом за ними посыпалось и множество иного. В том числе и самих людей. Но свято место, как говорится, пусто не бывает. Началось великое замещение и переселение, подобное новому сотворению света. Как саранча на чистую и родящую землю или эмигранты третьего мира на Европу – Парижи, Лондоны и Берлины – на горчащие воды, молчаливые леса, огороды, поля, вековые кладбища, на которых и кресты уже спрахли или пошли на топливо в ад, обринулись тьмы и тьмы нахальных и прожорливых заморских чаек, наглых и хищных лесных пришельцев – дроздов и соек. Свет свернул голову и поменял мозги. Почти домашние кроткие буслы принялись красть с деревенских подворий цыплят. Сороки и вороны – таскать из скворечен и жрать живьем голых скворцов. Стаи лесных хищных серых и черных дроздов, которые до этого боялись показаться и на глаза живому человеку, теперь пировали на его огородах, палисадниках и садах, пожирая клубнику и только наливающиеся вишни и черешни. И не просто грабили, а еще и сердито прикрикивали на человека.

Один за другим воровато проливались цыганские дожди – при солнце, без молний и грома. Довольно спорые, а иногда и ливневые. Хотя ливни были теплые, грибные. Только грибы после них не зарождались. Земля торопливо прибирала лужи и некрасиво метила их недавнее стояние будто рвотой человека, страдающего от болезней почек, желудка и печени, желчью, – казенно-тюремного окраса желтого и коричневого оттенка, словно прахом и тленом неведомого пришельца, преждевременно почившего на чужбине и смертью обозначившего себя. Чужой ему земной ветер укрывал его останки, запахи и краски.

Стирал их не только с полесских песков, обочин дорог, но и с низин, бугров, брезгуя чужим на вековых курганах, вересковых долинах и полянах, целительных сфагновых верховых болотах, на взлобках, отторгающих не свое с боровиковых хвойных прогалов. Где только встречал, тут же и прибирал. Невозвратно и жестко. Как выжигал огнем, дотла. Словно кто-то направлял, наводил в ту весну тот суховейный ветер. Наводил, отдавая приказание на полное уничтожение. И согревался страданием, смертными мучениями благословленной, но уже приговоренной, неизвестно только, кем, когда и почему, земли. Какой архангел протрубил над ней в свои небесные трубы?

И сами по себе, будто рожденные жизнью и для жизни, вспыхивали и загорались хвойные леса, хотя входы и даже подходы к ним были строго настрого запрещены, перекрыты бел-красно-белыми, как будущим и былым государственным флагом отчизны, шлагбаумами. А местами были они перегорожены и колючей проволокой времен прокатившихся тут двух мировых войн. Только и эта память и предостережение не спасали боры. Хвойные леса горели и горели изо дня в день как по расписанию, исправно и неистово пламенно. С утра и до ночи, свечно таращась в темное небо огарками стволов. И что удивительно, там, где их больше всего охраняли, ставили стражу, посты и пикеты лесников и пожарников, возгорание происходило сразу с четырех сторон лесного квадрата. Нарекали на злоумышленников-поджигателей, таинственно скрытых и опять возрожденных Прометеев или протестующих антипрометеев. Пытались ловить их пеши – и конно, на мотоциклах и вертолетах. Безрезультатно.

Тогда, умудренная собственным руководящим долголетием и изобретательностью, власть предержащая по издавна отработанной схеме: кто у нас виноват – Пушкин, сионисты и погода, поставила на этом вопросе точку. Не исключено, страшась того, что дальнейший разбор полетов может привести и к правде, выдвинуло и обосновало версию: в пожарах виновато солнце. Не только светит, но и жжет, понимаешь. А ко всему, пьет народ. Но это не страшно, не только пьет, но и из бутылок. Засоряет природу. Солнце припекает в донышко брошенных среди леса пустых бутылок, пивных и водочных, которые, подобно увеличительному стеклу, и творят огонь. Версия была очень правдоподобная. Солнце всходило каждый день, и жаркое. И пивные, и водочные бутылки в лесу наличествовали. Население пило не только на дому. И пьющему населению было понятно, кому в какую лысую голову припекало в то лето солнце, так что горели пятки и задница, отчего мерещился коктейль Молотова. Но опять же, на чужой роток, а тем более руководящий, не накинешь платок. Власти, любой и во все времена, необходимо, хотя и безумное, но утешительное оправдание. И таких правдивых оправданий, что случившееся беда не беда, а нечто похожее на рентген зуба, было наворочено в ту пору неисчислимо. Потому годилось, сходило с рук и такое.

Тихо впадали в теле- и радио сумасшествие не только люди, но и не имеющие голоса, рупора и трибуны звери, из которых на планетарном огнище живьем жарили кроваво корчащиеся шашлыки, под гарниром, но еще не отмерших здесь вековых грибниц. Когда же некоторым из зверей удавалось, как птице Феникс, лишь слегка смоленым выскользнуть из огня, они теряли голову, утрачивали звериное – бережность и врожденную скрытность. Шли, бежали к людям, к человеку, жертвенно прося милосердия, несли ему напоказ впереди себя на своих лапах, мордах и подпалинах боков свое страдание и боль. Несли своим, как считалось до сих пор, старшим братьям, более свойственное двуногим и разумным, а сейчас объединенное зверино-человеческое безумие, как разновидность СПИДа или неизлечимую лихорадку Эбола – порождение двадцатого и двадцать первого века. И на века вперед.

По скрытым от стороннего глаза тупикам, запасным путям небольших железнодорожных станций и заросшим полынью разъездам и полустанкам трубно ревели эвакуированные, принудительно гонимые в беженство племенные и беспородные коровы. Почему–то одни только дойные и стельные коровы. Куда девались быки, телята, похоже, знали одни только мясокомбинаты, да, видимо, вечная мерзлота за Полярным кругом, Колымой и Магаданом, где со вчерашнего дня ничего еще не разрушено, готово к приему нового товара. Пусть и мертвого: быдло есть быдло. А что мертвое – это еще лучше. Те, что когда-то помещались здесь раньше, потеснятся. Места для «груза двести» достаточно. И хранить его в том природном коммунистическом холодильнике, несколько согретом двуногими предшественниками, можно без срока давности, пока из него не выветрится запах, дух и даже намёк заботы былого отца и вождя всех народов мира, обещание поголовного счастья от его наследника – мирного атома конца второго миллениума от Рождества Христова. И тогда этот товар, эту нежить животную и человеческую, породненную единостью братской могилы можно будет харчить следующим поколением. Пользовать, как сегодня пользуют Днепрогэсы, Беломоро-Балтийский, Волгодонской и прочие сакрально знаковые меты героической эпохи, на которой все мы кроваво взошли, которой нам всем никогда не избыть. Мы все с этим, винные и безвинные, смертно повязаны. Навсегда приговорены.

Может, потому, словно на поминках, раскулаченные теперь уже по коллективным фермам крупного рогатого скота почти через полстолетие после великого перелома и голосили коровы в ометаленно скелетных, созданных и приспособленных для их перевоза железнодорожных вагонах, по столыпински и сталински зарешеченных. Голосили, высолапливая языки, обвешивались слюной и ручьями слез, прощально и судорожно вздыхая запавшими боками, горестно всматриваясь застланными тоской и печалью влажно красноватыми глазами в туманно задымленную даль протоптанных ими проселков, троп и стежек, сине-остекленных, так похожих на их же глаза крестьянских изб, болтливо распахнутые на ветру калитки и ворота совсем

недавно их родных подворий, на которых теперь уже хозяйничали тоска и тризна запустения.

Человек, люди нигде не просматривались. Хотя они где-то все же имелись, незвестно только, какого рода и пола. Женщин, детей, стариков и старух дедовскими еще тропами-гостинцами, мощенными камнем и нетронутыми с прошлого, а может, и позапрошлого века, лишь обсаженными вишнями да сливами, яблонями и грушами-дичками – для тенька и приятной дороги путнику – свезли на машинах, как и товар, в беженство, напоминающее то, былое, лихолетное. Когда по этим гостинцами и проселкам шли в неведомое их матери, иногда неся их еще в животе. А потом повезли евреев и цыган. Женщины и старухи голосили и ревели, не уступая коровам. Дети выморочно молчали, притулившись к материнским ногам, зажав в кулаке их юбки, а которые постарше и расположились подальше от матерей, преимущественно у бортов машины, смеялись и не без удовольствия и радости прощально махали руками. Страна уходила в прочки – прочь от своей родины.

Мужчин было мало. Почти не было. Тех, кто помоложе и покрепче, мобилизовали укладывать асфальт на ненужных теперь уже никому безлюдных улицах нежилых уже сел. По тому свежему асфальту, будто не веря самим себе, ходили мелким шагом лишь беспризорные коты, брезгливо отрясая лапы. Большинство же мужского населения, в годах и преждевременно по известной причине утративших трудоспособность, выгнали на дезинфекцию их же собственных домов – гонтовых и соломенных, камышовых и шиферных крыш. Зачем делалось это именно теперь, когда жизни здесь уже не было и на тысячи лет не предвиделось, никто не знал: начальство велело, ему видней.

Жара стояла невыносимая. Мужики работали до пояса голые. Многие давно уже крепко подгорели и коричнево лоснились грязными потеками пота, присыпанного уличной ветряной пылью и терухой крыш, припадающих к их по-крестьянски поджарым телам, почти без жира. Припекало не только с неба, но и из нутра. У многих который уже день горели трубы. Но нутряной огонь сейчас не поддавался тушению. Власть, держава, будто издеваясь, пыточно объявила сухой закон. То есть – горите всухую.

По завету предков и святому писанию, человеку дано выдержать только три искушения. После чего – потеря жизненных интересов и ориентации, веры в человеческое и Божье предначертание. Обратимость, преобразование в монстра и нелюдя – зомбирование и манкурство. Все три искушения и превращения были очевидны и неоспоримы: прощание и отречение от земли, крова, семьи и детей – забвение вечности и утрата будущего. И того, что милостиво и жестоко удерживало на трижды проклятом и гибельном свете – неминуемой здесь собственной смерти и могилы, могилы и кладбища их предков. Клады,

погосты их отцов, дедов и прадедов, благодаря которым они утешались какой бы то не было – призрачной, беспросветно горькой и идиотической, но все-таки жизнью. А сейчас в дополнение ко всему, последняя капля, – издевательство сухим законом.

До чего же тяжело, почти невыносимо в наш цивилизованный, технологический век, век нанотехнологий быть человеком, похоже, именно нано – нанопылью. Может, исходя из этого, психологи утверждают: из тысячи людей человеком сегодня можно считать лишь одного. Думаю, что и это завышено. Человек остался на Ноевом ковчеге, поплыл в небытие, растаял, распылился. Недаром, оправдывая это, ему изобрели амбивалентность, текучесть. Ежеминутно мы сегодня меняем свою валентность, взгляды, лицо, задницу и пол. Все мы сегодня, не в обиду робким хамелеонам, силиконовые. Рукотворные пластиковые острова в океанах, гигантские свалки мусорного пластика на земле – не предвестник ли это нашего будущего.

Зачинались с поганства – язычества. К поганству возвращаемся. Только уже без язычества – языка. Наше язычество безмолвно рафинированное, кровожадно каннибальское, агрессивное. И на свое потребу – может и подсознательно, в каждом из нас больше не человеческого, земного, а изобретательно сатанинского, потустороннего. В каждом из нас совсем не зеленые человечки, пришельцы иных миров, которыми нас страшат телеящики, а некто очень близкий и родной по крови, о кого мы спотыкаемся взглядом в зеркале. Он правит бал и ведет слепых только ему известно куда. А может статься, что это неизвестно и ему.

Как и мне в довольно скоростном и уютном автомобиле, в начале или в конце своей дороги спешащему в пригрезившийся мне рай, а может наоборот – в ад. Границы и разницы между ними давно уже нет. Все в этом свихнутом, давно уже не белом свете настолько перекособочено, поставлено с ног на голову, что в пору следующей революции – перестроечной – и сопутствующего ей сухого закона о смысле какого-либо движения, местонахождения и даже существования говорить определенно – врать и самому себе вешать на уши лапшу. Я не знаю своей дороги и даже ощущения себя. Не хочу, не желаю, наконец, боюсь. Может, и потому, что немного еще верю, хочу верить, хотя не знаю, кому и во что. Скорее в того и то, что за подкоркой. Во что верить сегодня не надо, ибо этого нет, за чем и кроются самые жестокие и разрушительные обманы, надежно скрытые в шелухе слов о чести, справедливости и совести.

Как и многие, пока я жив – самообманываюсь. Испокон века горит в нас неведомо кем разожженный и вдохнутый огонек, негасимая свеча. Мигает, туда-сюда клонится и всхлипывает в еще мятежном черно-белом подсознании. Но попытка довести ее до огня рождает лишь одиночество: зачем, почему и кому мое я. Возвратите обратно меня, к дорогому уже мне безумию. Я готов рассчитаться за это обретенными, даденными мне в утешение и награду за него

тридцатью серебрениками, остатками почти выпрямленного до последней извилины мозга, девственно чистого – вечным уже сумасшествием и счастливым беспамятством.

Но, то ли все это сегодня в большей цене, то ли я такой торговец и бизнесмен, неспособный за весь свой наличный жизненный капитал ничего купить, даже подлости. Ни купить, ни продать того, что еще изредка прокидывается в моей голове. Поменялись потребности, изменились люди. Поменялись деньги, размножились, озверели и одеревенели. Единственно лишь ум как был, так и остался – дешевым. Серое вещество – навсегда серое.

Слава Богу, что у меня его не в избытке: живы будем – не умрем. Перезимуем, до зеленой травы дотянем. Перебьемся на лебеде и крапиве, не впервой. А кончимся, так что уж всем, то и бабиному внуку – коллективно и сразу, не отягощенные невостребованностью. Ни историей, ни временем, ни государством с его излишеством ума. Чего нет, на то и неча пенять. Сегодня на пьедестале и в гербовом почете совсем иное: безусловно, у. е., нал, наличность. Можно кредитной карточкой, а желательно все же, достойнее, счетом в заморском банке. Зелеными, чтобы и после нас трава также густо и яро зеленела.

Вот только вопрос. Даже вопросик времен покойного уже сегодня писателя Янки Брыля: сколько сегодня будет в пересчете на сегодняшние деньги тридцать серебреников. Можно ли на них сейчас купить пару метров государственной границы. С границей, похоже, вопрос отпал, вместе руководящей и направляющей ролью коммунистической партии. При замене этой роли налом и зарубежным счетом Шенген доступен всем и в любое время суток. Но как быть нам, приговоренным к недвижимости при полном ее отсутствии – тутошним, тубыльцам. Кто и как будет стричь и собирать с нас шерсть за то, что мы еще при коже. а многие и волосаты. Двигаемся, снуем и материмся. Кто будет тиснуть из нас масло так, чтобы и молоко не сбежало, и шерсть вновь нарастала. Брать, принимать плату – грошики, копеечки, рублики, доллары и серебреники, к примеру, за тот же дым из трубы, воздух, воду и солнце. За то, что мы еще ходим, топчем землю. Изредка ездим сегодня уже по частным дорогам, моемся и купаемся в частных реках и водоемах.

Все клонится (клонируется?) к тому, что скорее за так и ступить будет нельзя. И тогда на самом деле, не хочешь, но вынужден будешь совершить то, что академик, научный руководитель института мозга Н. Бехтерова назвала «Out the body» – выходом из собственного тела. И этот выход, избавление от своего же тела началось не сегодня и даже не вчера. Процесс пошел, по словам очень компетентного человека, давно. И с того времени успешно подхвачен многими и продолжен, не зная передыху.

«Out the body» – это то, что и со мной происходит сейчас. И если бы только со мной одним. Нас, бестелесных, оболочных, несть числа на этой

юдоли, по словам В.Короткевича, «святой колоднице-земле.» По стежкам, проселкам, гостинцам и дорогам, а больше – на росстанях, раздорожье. Еще больше притаилось по избам, сирых и убогих. По избам, не всегда им принадлежащим. Нет у них уже своего угла, пристанища. Гонят и гонят их в белый свет, как в копеечку.

Они выселились из казенных и собственных домов. Выселились из своих сел – из себя. И куда им деваться, куда их погонят – большой государственный секрет. Секрет и для самого государства: из огня да в полымя. Потому что невозможно вернуться в прежнее свое собственное тело, если ты покинул, отрекся от него, сжег на атомном огне. Когда ты только призрачная оболочка человека, сброшенной подобно гусенице, превратившейся уже в однодневно бездумную бабочку. Выгорел, испепелился. И пепел развеян и курит на обвязанных рушниками на распятом темными крестами припорожье твоего былого селища, от которого только знаки и знаки.

Мы цепляемся за эту знаковость, словно за вечность. В действительности это больше крючок, на котором прошлое распяло и изловило нас. Мы добровольно заглотили его не тогда ли еще, в уготовленном нам Эдеме, когда только-только обрели жабры. Нас подсекли, потянули и вытащили из хилого еще совсем недавно обретенного тела. Сами пожелали вытянуться: кошку сгубило любопытство. Возжаждали помножения и блаженства.

Не потому ли, проклятые и клянущие, сами же себя за невозможность и неспособность вернуться к тому, кем были и что имели раньше, свыклись с пустотой и немощью, призрачностью собственного существования: человек такая скотина, что ко всему привыкает. Нам давно уже уютно, тепло и даже мухи не кусают в бессознательности организованного нами небытия.

В этом я убедился на собственной шкуре. Мое начало, как, видимо, и у многих, – летаргическая, будничная повседневная туманность сознания. Своеобразный клинический уход неведомо куда, в какие химеры. У многих такое длится без просыпа до последнего срока. Это очень счастливые люди, от рождения помеченные вечностью. Но есть и иные. Зачинаются также с клинической смерти, но беспрестанно противостоят и борются с ней. Несчастные, пыльным мешком мысли оглоушенные на первом своем шаге, полуразбуженные. После чего уже навсегда судьбой приговоренные к борьбе, мучениям и нищенству. И никакого Эдема на этом свете. Как, кстати, и на том: пепел Клааса не позволит. Сорок сороков, сорок смертных грехов последуют за ними.

Меж двумя этими порождениями срединное разграничение. И на этой без конца и края посрединности – множественно и прочно обосновались третьи, способные поддержать и присоединиться к обоим краям, выгодным им, любящих их, как волк кобылу, покинувший от нее только хвост и гриву. Срединные третьи как раз и являются теми, которых обдирают, что липку, с

двух сторон: белые придут – грабят, красные придут – грабят, ну и, конечно, – либералы, олигархи, радетели и заботники: бей своих, чтобы чужие боялись.

Так уж у нас издревле заведено. Иначе задушит жаба из зависти к сорной неистребимости нашей славной памяркоўнасці, придушить которую раз и навсегда так чешутся руки: был бы человек, а уничтожить его всегда можно найти право. Стоит только, как говорится, н а ч а т ь, а потом с дубинкой и под дубинушку само пойдет. Особенно после первой капли живой крови, крещения силой и страхом. Страхом невозвратности себя, творящего суд и расправу, озверение. Тому же, кого изводят, некогда бояться страхов и боли. Такое уже их предназначение. «Out the bodu» Клиническое забвение с полной бессознательной утратой собственного тела. Того, о чем не знаешь, – нет. Это только где-то – где и нас нет.

Но мои дорожные страхи и моя дорожная боль… Странно, очень странно – тела нет, сам я, может, и от рождения в состоянии клинической смерти, а страхи, боль живые и неподдельные. Ползут по мне, по коже, как многоногая прожора-гусеница по свежему листу березы.

Я чувствую омерзение и погань ее поступательного и уверенного движения. Вздрагиваю, пытаясь стряхнуть. Но у нее волосатые и уцепистые ноги с крючками в конце. Крюки надежно щемятся мне в кожу, шприцево рыхлят тело. Я временами теряю его, связанного с бытием и небытием, окружающим меня, с безумием и разумом земли и неподвластных мне иных миров, из глины, пыли и сора которых я сотворен, вылеплен. Произведен без моего согласия, наделен энергией созидания и мощи. А в большой степени – энергией бесстрашия разрушения и страха. Не только своего, но и всего сущего, земного и космического. Хотя с некоторых пор это мне, как говорится, по барабану. Страх страха не боится. Он не приемлет только слепоты, невидимости и глухоты, неосязаемости и еще чего-то совсем неопределенного.

Потому, наверно, как клубок зимовальных змей по весне подкожно проснулись, ожили, после всего, что уже произошло – незнано, невидимо и непонятно что – и все мои страхи. Напитались моей же кровью, смыслом и сознанием. Обрушились, пролились на меня запечено-синими злобными дождями и ливнями. Желчно припали и поползли по сельским и городским без асфальта улицам, где земля еще способна дышать. Заполыхали черемуховым пламенем, неохватными и жаркими шашлычными кострищами под боровую и дубровную живую дичь. А иногда и людскую, как раз на святой поминальный день, под радуницу, поставив, вздув на все Полесье гигантскую атомную свечу в местечке, в дореволюционную еще пору массово производящем для всей округи свечи церковные.

Округа заплакала отчаяньем остолыпленных коров, немым укором мучениц, векующих здесь вдов гитлеровского и сталинского нашествия. Обожгло

сухим холодным жаром глаза и губы победителей, без устали даже на поминках утверждающих: жизнь хороша, и жить хорошо. Забывая, что жить им уже некогда, да и негде.

Будто в подтверждение этого – самообмана, безнадежности и беды – из мировой, планетарной необъятности мириадно космического времени и дали прокинулся, выпнулся впереди меня кровавый и дразнящий меня, утягивающий в никуда язык. Когда, откуда и как он пролег, из какой глотки, пасти выскользнул? Поначалу, кажется, и не без приятности и завлекательности бросился под колеса моей машины. И я подумал – мерещится. Вырвался из притихшего и обескровленного Гомеля по грязно-черному пригородному отечественному асфальту в ямах и выбоинах. Но он, привычный и милый глазу, не от кенгуриных ли скачков по нему, до сотрясения мозга, незаметно стал пятнаться и отчуждаться. Такая же чуждость дороги и самого себя неприметно охватила и меня. Сознание стало хрупким, начало слоиться и дробиться. Меня словно постепенно вводили в иной мир, иную сущность, невесомую и бездумную. Не земную, а если и земную, то, похоже, дурманно коноплевую.

Я подсознанием и глазом опережал дорогу, как это бывает в детстве при игре в догонялки, где все решается не головой, а скоростью, быстротой реакции. И ты отдаешься им, не соображая, ничего не видя ни сбоку, ни под ногами – только тусклую точку впереди, вобравшую в себя весь белый свет, в том числе и самого тебя. И ты сначала бегом, а потом и полетом слит, связан с каждой, трепещущей в тебе жилкой, даже миганием глаз, шевелением век с вошедшей в тебя точкой. И, похоже, сам придаешь ей движение, но только навстречу себе. Подгоняешь и одухотворяешь застывшие и недвижные горизонты и себя в них.

Но, к сожалению, сегодня это застывшее и бездушное, отчужденное и равнодушное водит нас, властвует над нами, порой незримо, призрачно и мифично. И не все ли мы от рождения, нашего еще первого протестного крика и плача уже опутаны, не исключено, сотворенной из нашего протеста призрачной и мифической паутиной, привлекательностью первородных метастаз оболганного прошлого, остолыплено-арестованного будущего. Издавна, подобно чернобыльским коровам, – в клетке, запертой совсем не Столыпиным, а нами же – напоказ и в поучение, может, тем же обезьянам. Всему сущему не только здесь, на Земле, но и в космосе, перед которым мы голы и немы, не имеем даже права на голос. Кто нас лишил его – вопрос не ко мне.

Не взамен ли моему безголосию, как еще одно напоминание или намек на него мне сейчас проброшен уже пятнисто трупный, а живой, сплошь красный язык дороги, распростертый в направлении моего движения. Словно указующий это направление. Не исключено, что это мой болящий язык. Неизвестно только – бывший, настоящий или будущий. Как издевательство, су-

дебный смертельный приговор или помилование. Судить трудно, потому что, кажется, только-только по-живому вырван и узеньком обрамлении зеленеющих обочинных зарослей и трав покладен как некий знак мне – моего еще земного бытия или уже небытия.

Свежесотворенный не из новых ли уже мифов и обманов, может, в предвидении моего здесь появления. Он еще парно и освежеванно красно кровавит, что невозможно в слежавшемся асфальте. Курится редким страдательным туманом розоватого оттенка, начатого и прерванного вдоха или выдоха. Обманом поддельного прошлого, несостоявшихся настоящего и будущего, похороненных на перекрестках бесчисленных здесь ветхозаветных кладбищ, веков и эпох, под завязку напакованных нежитью призраков, мифов и небылиц. Чему нас принуждал поклоняться и верить, что навсегда было слито в нашу кровь, кровавость наших государственных флагов и крученую историю. Великие и ничтожные тени того и тех, кого и чего никогда не было.

Естественно, не было и меня. Я давно уже споткнулся о себя несуществующего. Догадался об этом через сны. Может, единственную неприукрашенную и не исправленную правду в этом мире. Догадался и отвергал прозрение. Как та старуха, отравившаяся на исходе жизни грибами. Знала, что они ядовитые, но ела, жевала пеньками зубов, потому что кто у нее спрашивал, хочет она есть те грибы или нет – скармливали принудительно, силком.

Так же и я слепо глотаю все, что мне без моего спроса подносят, в том числе и собственные мозги. Все мы на этом свете записные корытники. Кроме, может, горсти избранных, которые знают и распоряжаются теми грибами. Но они уже отравлены раньше нас, и не только грибами. А избежавшие пока еще отравления сегодня уже приговорены к нему завтра. Иначе жизнь действительно лишена смысла.

В укор, наказание, а может и оправдание, должен признать, что я, подобно многим, хотя и возмущенно согласный со всем, но, сжав руку в кулак, а кулак тот с фигурой в три пальца, никому не показывая, держу в кармане. Потому что до сырой могильной земли заручен со всем белым светом, хотя ему до меня ни тпру, ни ну. Прикован намертво к дороге, выпавшей мне до этого и сейчас. Таково вечное неписаное согласие и договоренность жертвы и палача. Самостоятельное и раздельное их существование невозможно, хотя живут они, как кот с собакой. Дом им хозяин, как мне дорога, а я дороге. На окровавленном ее языке, домогающемся попробовать меня, с какого-нибудь бока укусить, а то и целиком проглотить. Я же скоростно убегаю, отбиваюсь на каждом метре и километре, но лишь сукровично и все глубже и глубже увязаю, заглатывая уже связавшие и опутавшие меня дали. Но я продолжаю бег и нервное сражение. Упертый, как всякий белорус, а тем более полешук. Упертый, но не агрессивный и буйный – вырос все же, склонив голову, на об-

мане и лжи, с чем и вышел в белый свет, на люди и в люди и никак не вернусь к себе домой. Далеко, далеко зашел обманными тропами обманного согласия с Божьим миром. Водой, небом, землей. Покорно приняв: так надо. Так надо!

Эти два навязчивых слова будто наговаривал кто-то мне. Под них я утратил ощущения дня, дороги, мира и собственного тела. «Оут the body». Мне это, надеюсь, простительно. Я только песчинка, мутная капелька пота и росы, крови на глине, торфе спящего еще Полесья, в котором лишь на мгновенье промелькнул, и так же мгновенно исчезну, осушусь. А земля – вечное мировое лоно, хотя, к сожалению, не всегда благодатной и полезной сущности, к которой, похоже, отношусь и я.

Может, именно поэтому и со мной ведутся такие игрища. Я, конечно, недоумок. Но не согласен смириться с безумием Земли, подкинувшей мне под колеса длинный и кровавый подорожный язык. Вывалив его не хуже признанного умника нобелевского лауреата Эйнштейна, не с того ли света или с далеких космических империй издевательски и презрительно насмехающегося надо мной. Мне надо спешить, мчаться хотя бы и в никуда, мне совсем не по дороге с чумовыми гениями. У них свои заморочки – дразниться или двенадцать лет рисовать женские губы, как Леонардо да Винчи, – у меня свои. Мне с ними не по дороге. Тот же, кто без мыла лезет к ним, пытается стать с ними вровень, должен крепко обижаться на папу с мамой. Я тоже в обиде на них, хотя я убегаю, и за мной гонится лишь страх. Приговорен к страху и страхам, ожившим в последнее время, оплодотворенным растерявшимся умом сегодня и неизбежно – завтра. Все они смертные и бессмертно вечные, как Кощей.

И я в своем судьбоносном движении сакрально пойман, подвешен и не крестно ли распятый на расстрельно прямой дороге времени и безвременья на эту минуту – шоссе Гомель-Новозыбков. В Новозыбков, не знающий меня, как и я его, тихий и миролюбивый под синью небес. А дорога сукровично и хворовито охватывет меня кровавыми объятиями, и я неспособен избавиться от них. Я утопленник в реке рока и времени, прикован, сокрыт в морочном течении немощи и немости дорожного языка. Асфальта, дороги проложенной не так и давно, может только для меня неведомо кем, живыми или мертвыми новоявленными Харонами с искушающе бредовым вкусом и понятием, скорее – неземными. Притягательность неизвестности и в то же время очевидная бредовость ее возбужденно тревожат и пугают меня.

Я в плену мироздания – земли, времени и пространства из-за невозможности и нежеланиия, безволия съехать на обочину, остановиться или повернуть с большака на первый попавшийся проселок. А их, как перекладин на православном кресте. Но перед каждым окрик: «Съезд на обочину и остановка строго запрещены!». А над этим словесным запрещением и знаковое – трилистник, будто цветок облитой кровью ромашки, опробованный уже на

любит, не любит. Ромашка из трех лепестков, обещающая: к черту пошлет. Кто-то уже погадал.

Но мне гадать нечего. Я и так знаю: « В 1986 году Новозыбковский район был заражен радиоактивными осадками, принесенными с места аварии Чернобыльской АЭС. В первый год после аварии средняя эффективная доза облучения по данным международной экспертной групп составила 10,0 мЗв (1,0 бэр); мощность доза гаммо-облучения в мае на территории города достигла 5000 мкр.ч…» Для меня эта абэвэгэдэйка – пустой звук. Нас с самого начала катастрофы ими дурят, утешают и морочат так, что нам это властное и наукообразное бла-бла-бла до лампочки. Ильича, конечно, со времен которого и начали расти эти ноги. Страх и ужас в другом: в атмосфере, в воздухе, в котором нельзя дышать, в успокоительно беспардонном обмане, что это абсолютно безопасно, если даже не полезно. Как обычный рентген ради исцеления зуба. Не так ли заговаривают зубы кроликам нильские крокодилы? Наши, сидящие вчера и сегодня на Олимпе крокодилы не уступают им, а во многом, если не во всем, превосходят их. Поднаторели в производстве лапши и навешивании ее на уши изголодавщегося по правде, да и просто голодного и вот уже почти столетие бездыханного народа.

Запрет остановки и съезда на обочину – шаг налево, шаг направо в атомной, как и в гулаговской зоне, приравнен к побегу – будто белку, заставляет меня наматывать километры, гонят и гонят вперед. Заставляют ускоряться потому, что впереди вроде что-то проблескивает. Языково кровавая дорога, кажется, суживается, подходит к окончанию, сходит нанет. Привычны и обычный обман зрения уже – скорым достижением горизонтов, перспективой, вроде построения коммунизма в стране. На самом же деле наше светлое будущее такое же, как и у той же белки в колесе: что имеем, чем наградили, что есть и было – то останется и будет.

А радиационного страха нет. Объяснение простое – я белорус. Дважды даже белорус – потому что еще и полешук. А это значит, памяркоўны. Куда входит, само собой подразумевается: травоядный, жвачный, кроткий, державную лапшу употребляю вместе с собственной бульбой. Никогда и никому не перечащий, всем властям и временам, как считается, законопослушный. Поэтому все палачи, живодеры нас любят и уважают. Сам Лаврентий Павлович Берия удивлялся нам, белорусам. «Не понимаю, не понимаю, плакать надо, а они спокойные и живые…» После этих слов, наверно, понятно, почему в каждой войне, в каждой завирушке мы теряем треть, половину, а то и две трети самих себя. Сегодня же от встречи и забот мирного атома – «мирный атом – в каждый дом» – есть надежда исчезнуть совсем. Когда-то один мудрый еврей на большевистский лозунг: «Пролетарии всех стран –соединяйтесь!», одобрительно заметил: «Соединяйтесь, только не в моем доме». Мы же превратили свой дом в проходную войн и в разменную монету побежденных и победителей.

Но мы спокойны, потому что любимые и милые всему миру привычны быть, полубыть и не быть. Столько и в таком количестве неосознанно уходили на тот свет в столетиях, что одним больше, одним меньше – никто и не заметит. Может, единственно только земля. Не выдержала, сомкнулась и замкнулась болотами, топями и трясинами, укрылась лесами и водами. Но изнасиловали, изгадили и это, лишили последнего пристанища и покоя даже мертвых. А живые кротки и рассудительны. Наше отечественное бесстрашие оживает, когда уже пора умирать. И то не всегда и не у всех. Потому мы зачастую не успеваем даже испугаться.

…Шоссе скользкое, гололед. На торможении «Москвич» юзом пошел в кювет. Спас сугроб ссунутого на обочину снега.

– Испугались? – спросил я своего пассажира старика.

– А ты знаешь, нисколько не испугался. Не успел.

В залоге у него на ту минуту была неизвестность и два выбора: что милостивее – умереть мгновенно на дороге или страдать под ножом столичного хирурга, который ко всему порушит его тело. А ему ведь лежать в гробу на глазах односельчан и на тот свет идти изуродованным. Выбор был небольшой. Но векового мужицкого ума хватило: тут уж что на роду написано – перечить не выпадает. А смерть одна, и это неизбежность. С нею не порассуждаешь и не сговоришься.

Вот такие мы, упертые рогом в самих себя, белорусы. Вечные и мгновенные. Это без восхваления и нарекания: родится теленок с лысинкой – с лысинкой и на тот свет пойдет. Моя беда и одновременно счастье, ограниченность, а за ней и безграничность прописаны на моей белорусской полешуцкой, дубленой топями и болотами шкуре. Боязнь, страхи ухода и небытия – надуманные. За ними только всхлип тоски и печали, пристегнутости к этому миру. Но когда уже пошло отторжение от него, когда к тебе начала колыбельно льнуть мать-земля – облегчение. Со мной такое было не раз. И если бы только со мной. Дети войны, а это поколение, считай, – вся Беларусь, помирали в войну и после ее окончания. Затяжно и ежедневно – до сего времени.

Из всех своих, многих, очень многих, умираний никогда не избавлюсь от двух. Я уже полностью был там. Туннеля, о котором свидетельствуют едва ли не все, принудительно побывавшие на том свете, не было. Не помню. Неосознанно и невесомо протек, пронзил свет и мрак. Обнаружился, всплыв в туманной серой занавешенности, где меня, похоже, ждали мои родные, кровные покойники. Мама, сестренка, бабушка и отец. Ждали у какой-то ограды, отнюдь не райской. Уж очень земно, непрезентабельно она выглядела. Встретили совсем не хлебом и солью. Погнали назад из туманной серости – в свет, из света снова во мрак, и опять в свет. Потусторонним прутом, по молчаливому одобрению и приказу матери – рукой отца. И мне это не померещилось. Спина ныла неделю. Отец благословил меня трижды, от души. И напутствовал:

– Рано тебе еще сюда. Рано…

Были, были слова. И именно такие. Без земного укора, как не от родного отца, короткие и бесстрастные. Навсегда вписанные в меня. Так говорить и приговаривать может, наверно, одна лишь вечность и потусторонность – рай или ад.

Я мог заупрямиться, занатуриться, как это не раз было в детстве. Но был удивлен тем, что и на том свете мои кровные покойники были в тех же одеждах, что и на этом, при жизни – нищим и рай не в рай, ничего уже не говоря о пекле. В чем настигла, догнала их преждевременная военная смерть, на что заработали на грешной земле, в том, бедолаги, ходили и там. И я, обиженный и оскорбленный за них, молча поплелся, а потом и бегом побежал с того света.

Совсем иначе, привлекающе и мило мне, было, когда меня на носилках вбросили со вторым инфарктом в реанимобиль. Там я млел и роскошевал, не желая даже лишний раз пошевелиться. Впервые, с плотно сомкнутыми глазами, спеленутый, словно в детской зыбке, увидел и поразился красоте и неге звезд, словно девичьи глаза азиатских див, с их умыто обволакивающей слезой, семафорно открытых мне для прохода в небытие. Почему-то южных, обещающих и утешительных, каких ни на том, ни на этом свете не могло быть. Но они были, со скрытой лаской и печалью, со слезой провожающие или встречающие меня, как никто и никогда до этого не провожал и не встречал. Почему я и сегодня не прочь возвратиться в тот метельный февральской поры реанимобиль.

Но это память и лирика уже прошедшей жизни. После того, когда уже все было, совершилось. На стыке потустороннего и земного выискрилась новая реальность. Энергия страха и наплевательства на все страхи, разума и безумия живых и померших. И была мертвая дорога, проложенная распростерто вырванным в мучительной агонии рдяным языком заката, с крестово-сукровичными прожилками по обе стороны, вверх – в небо и вниз – в землю, ее лоно. И никто по той дороге не ехал и не шел, кроме меня. На ней властвовал страх. Даль и близость, день, время и пространство агонизировали виной и страхами. Большак-гостинец, проложенный из ветхозаветности в день последующий, новый, туда не добежал. В одну ночь стерся, утонул, поглощенный сумерками наступающего векового мрака. Безголосия, безъязыкости.

В том немом мраке я, слепленный беззвучием и непроглядностью, отрицания всего сущего. Творение неизвестных миров, черная карликовая дыра в космосе, а скорее, в отечественном бублике, пустоте своего бытия. Беглец, а может, и выползок из собственного тела, неведомо, кем и когда проклятого. За что и на что осужденного. « Out the body»…

На оставленном мне, рожисто злящемся языке я присматриваюсь к этому беглому скитальцу и выползку. К самому себе. Но, как ни стараюсь, не узнаю себя. Может, потому, что страшнее самого себя на свете зверя нет.

Нет и нет. Не уговаривайте меня – это не я. Я иной. Если не внешне, душой – полностью человек человеком. Все на месте и в цвете. А этот, будто огарок, струпчато-черный. Нелюдь. И неприкаянно шатается, будто похмельный или сонный. А я же и лишенный собственного тела, – еще живой и двигательный. Понимаю и признаю никчемность своей живости и двигательности.

На этой дорожной адовой Голгофе я одинок, как крест на груди православного. Никого – ни встречного, ни поперечного, ни пеши, ни конно, ни машинно. Ни единой деревушки, человека, кто подал бы знак, что я действительно еще живой и на этом свете. Не призрак, покойник и нелюдь. Ведь только благодаря нашему окружению, мы осознаем, себя. В пустоте – пусто даже дьяволу и черту. И Богу необходим человек, потому что без него, грешного, преступающего все заповеди – нет и самого Бога. Вот почему мы вбираем в себя столько сора, так поддаемся суете, мгновению и вечности. В памяти и даже беспамятно, в доме и за его порогом я принимаю и приветствую все и всех: человека, змея и птицу – все они от одного корня. Признаю, приветствую и узнаю самого себя в этом мире. Теперь же мне некого приветствовать и узнавать, некому приветствовать и меня. Даже плюнуть мне в глаза или вслед некому. Ни души, ни глаза.

…А до чего же непроходно и суетно на этой дороге было раньше. На шоссе Гомель-Брест меня перевстретил одинокий бродяга-зубр. Сошел со стратегической бетонки к памятнику полесским Сусаниным, братьям Цуприкам. Я остановил машину и бегом побежал к зубру, неся на раскрытой ладони навстречу избраннику веков и Богов осеннее наливное яблоко, как, может, подносила то яблоко Ева Адаму. И зубр, подобно Адаму, принял мой дар. Аккуратным маленьким ротиком слизал его с моей руки. Захрустел желтыми зубами, не обронив ни капли сока и слюны, на зависть белорусским дедкам, настоящим, а не мифическим мученикам и жертвам, Сусаниным. Партизанам отряда легендарного Коржа. Одного из них, отказавшегося вести фашистских карателей в партизанский лагерь, пристрелили возле его же хаты. Второй повел – безвозвратно, в трясину, болота и топи. И сейчас оба они каменно смотрели из вечности, как странник веков лакомится в тени их сирени. Чем не тайная вечеря через столетия на росстанях полесских дорог, былых тайных тропах зубра и стежках мучеников-Цуприков. Так сошлись, перекрестились и породнились смертное и бессмертное, человеческое и звериное. Духовно и нерасторжимо, неразъято во времени.

Другая встреча была в полушаге от неминуемой беды, аварии со смертельным исходом. Тогда я тоже был в дороге на рыбалку или грибалку и в предвосхищении любимого занятия нетерпеливо мчался по проселкам со скоростью, намного большей за сто километров. На этой скорости, уже на асфальте, навстречу мне вышел лось – матерая лосиха с теленком, пришнурованным хромовой мордочкой к хвосту матери. Повернуть, съехать на

обочину было невозможно – только лоб в лоб с сосной – тормозить поздно. Я успел только искоса кинуть глазом по сторонам, ухватить неподвижность и безоблачность маленького лапика дарованного мне сквозь лобовое стекло неба и впаяться руками в рулевое колесо. И что удивительно – при этом мог внимательно и отчетливо следить за равнодушием опрокидно набегающего на меня поминальной чернью асфальта, замершей обочинной стеной сосен, выразского хвоста, внюханный в него, целиком ему доверяющий. Дитя есть дитя, хотя и лесное, звериное: ум и жизнь его на первых шагах материнские, родительские.

Как мы разминулись, клянусь – не знаю. Кто-то развел нас. Не лосиная, не моя то была судьба – стакнуться и похоронить друг друга. Я словно заранее знал и предчувствовал это. Будто знак был ниспослан свыше, знак на жизнь. Может, потому, когда я уже оказался на обочине, плашмя упал в траву – во мне не осталось ни капли страха. Видно, и вправду страх родился гораздо раньше нас, он опережает и предупреждает, когда мы ступаем на опасную черту. Грань, за которой ничего уже нет. Нет возвращения к себе, человеку – в себя.

Не знаю, почему, но мною владело лишь чувство вины. Глухое, давящее, невыносимое. Вековая наша страдательность и виноватость безвинных. Первая и главная особенность и примета белоруса, у которого с библейских времен кто-то неслышимо спрашивает: Каин, где брат твой, Авель. А он совсем не Каин. И у него никогда не было брата Авеля. Потому что Авель – это сам он, неспособный одновременно быть убийцей и убитым. Но, получается – может, может. Такова уж его доля, так ему на роду наречено. Недаром сколько наших пророков горько вопрошают и также горько сокрушаются: Беларусь – моя могила?!

Я на крючке этого недоуменного и убийственного вопроса, полусогласия, полуотрицания. Полу – это и есть мое я. Я в плену без вины виноватости, бесстрашия страха и по-детски упертого нежелания признать это. В полдыхания стыдливо живу вопреки окружающему миру и прежде всего – вопреки самому себе, немыслимому, похороненному, неведомо где и кем, прошлому, несостоявшемуся настоящему, туманному и зыбкому будущему.

Отсюда, наверно, и Новозыбков, совсем не новый. Старый и древний. И моя не судьбоносная ли, мучительная к нему дорога: кровавый оскал времени и безвременья, запретительно предостерегающие дорожные знаки: «Остановка и съезд на обочину строго запрещены!». Цветной трехлистник ромашки, уже кому-то посуливший: к черту пошлет. А на меня – и намека: есть, был, буду. Только поминальная, мощеная красным асфальтом пустынная дорога, словно в преисподнюю.

И у меня зреет ощущение, что я однажды, а может, и не однажды, кто знает, что спрятано в непредсказуемости моей беспамятно рыскающей памяти, я боюсь ее, но вынужден сожительствовать с ней и потому думаю, что я уже

проходил этой дорогой – таким же кровавым гостинцем. Только было это тогда, когда мало еще чего было из того, что выпало человеку сегодня. Но людям на беду и на горе всякой нечисти уже хватало во все времена и при царе Горохе и когда горох тот съели. И повсеместно, по всей нашей и не нашей географии и истории, которым мы пришлись не ко двору, не глянулись рылом.

Город, укрытый вечнозеленым кедрачом, колыхался меж небом и землей, словно жемчужина в раскрытой ракушке. Особенно красив и сказочен он был зимой, ночью. С низов, долины, подсвеченный гирляндами электрических фонарей по центру, а по краям – в белоснежно дымчатом собольем манто глубоких сибирских сугробов. Хотя, по сути, снег только маскировался белизной, был таковым лишь когда падал, отрывался от неба. А ложился на землю он уже слегка подчерненным. Город был шахтерский, углем меченый. У мужчин его чернота несмываемо оставалась в закрайках глаз. Да и у женщин подглазье было такого же оттенка, без наведения тушью или черным карандашом. Женщин в то время еще не вывели из шахт. Они с войны работали в подземных забоях вместе со своими мужьями. Единственное им послабление – не на добыче и не на проходке. В угольной шахте цвет всему и всем – черный.

В том городе зимой и летом текли черные речки. В них впадали такие же черные ручьи. Не замерзающие, потому что вода с углеобогатительных фабрик поступала подогретая. В той воде водились и рыбы, также черные, и без чешуи. Их так и звали – гольяны. Коты и кошки ими брезговали, потому гольянов было много.

А еще город был примечателен тем, что в нем время от времени проваливались, исчезали, словно в преисподнюю, дома. Одни медленно углублялись в землю, с другими это происходило быстро. Крепилась, стояла, стояла шахтерская избушка, дышала, лупила окна в белый свет и вдруг теми же окнами зырит уже почти с того света. Может, из забоя, в котором добывает уголь ее хозяин. Случалось это чаще по территории старых, отработанных и заброшенных шахт. Потому население жалось к окраинам города.

Так вот у териконника одной относительно молодой шахты появились два новых поселка. Понятно – самооккупация, самострой. Соответственно имя одного – Цап-царап, второго, противостоящего ему, – Хап-царап. Не исключено, имена даны нашими земляками, звучат уж очень по-нашенски. Их хибарное прозябание под кружение и рыпение сверху, схожего с египетскими пирамидами террикона, стальных канатов и колеса, с помощью которых поднимали на гору пустую шахтную породу, хотя и удаленное от цивилизованного центра, было обычным и привычным рабочему человеку той поры. Хапом и цапом обустраивались, справляли новоселье и свадьбы, рожали и крестили детей, провожали покойников.

Тот памятный день был веселым, праздничным. Гуляли свадьбу. Народу собралось больше сотни. А если точно – сто пять человек. Было безветренно и солнечно. Но уже где-то под третью и четвертую чарку – самое время

расслабиться – нахмарило. Начиналась гроза, которой обрадовались: молодым хорошая примета, а гостям – приятнее и легче пьется.

Первый гром над поселком молнией угодил в терриконик, и без того денно и нощно нервно и одышливо дымящий. Теперь же он полностью захлебнулся густым и черным дымом. Словно кто-то там свыше дал себе волю и на полную мощь раскурил огромную трубку. Выпустил дым и принялся уже безостановочно посасывать ту трубку в сибирском высоком и чистом поднебесье. Невидимый, жмурил глаза и пыхал антрацитовым подземным гаром в черно ощетиненные отвалы пустой породы. Словно подавал знак тем, нижним, под ним, что он не дремлет и сверху видит все. Но огня не пускал. Огонь до удара грома и вспышки молнии был нутряной. И такой, что испепелял не только остатки угля, попавшего в терриконник, но и негорючую пустую породу, камень в смеси с гранитом и колчеданом. Сжигал до золы, пыльно и красно разлетающейся.

Молния цмоком, сказочным монстром оседлала динамитно взрывную гору, кроваво озарила грозовой день, словно кровью его спеленала. В одно мгновение свадьба вспыхнула и утонула в адском огне. Чадный терриконник взорвался зольно испепеленным камнем, будто прахом, слезами, страданием ее неисчислимых грешников, запеченных в преисподней,

От земной свадьбы, ста пяти человек и одного царапного поселка не осталось и следа. В городе, в квартире на втором или третьем этаже у открытого окна сидела женщина, кормила грудью ребенка. Ребенка и женщину, голую до пояса, сожгло, оплавило, будто свечу. Как позже выяснилось, температура при взрыве терриконника превышала две тысячи градусов.

Но ужас того дня на этом не закончился. Длился еще месяцы, и даже годы. Груды, остатки мертвой породы, горелого камня вместе с золой начали вывозить за город и мостить ими дороги. А так как остатки были охряно, киноварно кровавые, то кто бы ни ходил и ни ездил по тем дорогам, – перекрашивался, рдяно багровел обувью, одеждой и лицом.

Кровавые люди пошли по кровавым дорогам, большакам и проселкам. Перламутрово-жемчужный, антрацитно-искрящийся город превратился в мясо-комбинатно багровый. Речки и ручьи потекли в нем уже не черные, а позначенные кровью, то же было и с травой, дождем и снегом. Кровью мироточили земля и небо.

Не с руки, грешно, оглядываясь, искать параллели, но позже, через годы и годы и дали, подсознательно у меня это связалось с приходом и падением в родном моем крае звезды Полынь, с появлением которой, по библейским предсказаниям, воды становятся горькими. Горечи из-за своей всеядности мы не ощутили, а беду, отравную, горькую, обрели на тысячелетия. Не из той ли беды сегодня мне выпала и эта дорога с кроваво пролегшим языком.

Каюсь, сегодня каюсь. А тогда, проезжая по ней, я ни слухом, ни духом, что язык этот мой, обглоданный и выдранный столетиями уничижения и самоуничтожения. Совсем не случайно он здесь распростерся. Совсем е случайно я лишился, вышел из собственного тела. Меня не иначе навели сюда далекие и не прожитые мной века, позорно, стыдливо растраченное и похороненное в них прошлое. И опять – не состоявшееся будущее. Так бессмысленно и решительно я устремился в призрачность своего детства, забыв китайскую поговорку: не надо искать в темной комнате черную кошку, которой там нет. Время невозможно повернуть вспять. Тем более, когда оно, как говорят сегодня, неподвижно, неизменно и вечно.

А мы по своей натуре жаждем покорить его, оседлать и повелевать им, ускорить или повернуть вспять. Как это все глупо и суетно в глазах вечности: что было – то уже было. Кровь, измены, низость и благородство. Все прочее мы придумали, все – грезы или сон. Как я придумал себя и свое возвращение в детство. В прошлое, что где-то заблудилось, потеряло меня и горько стенает в ожидании меня на перекрестках неведомых дорог. Может и на этом большаке в зыбкой хмари древнего Новозыбкова, к которому я так упрямо стремлюсь по больной дороге неведомо чьей памяти. К былым беспризорникам – к себе и моему скитальцу-другу по судьбе и казенному дому, детприемнику, – Кольке Кацапу. Не исключено, тоже придуманному мной или приснившемуся, как я, может быть, приснился самому себе. Кто знает, не придумана ли и жизнь всего моего поколения. Я не в силах оспорить это, потому что из породы вечных соглашателей, которые вроде были и вроде нет. Остались тенями там, где все было и ничего не было.

И все же Колька Кацап с его и моим Новозыбковом был. Мы с ним братья по судьбе, по надежде и вере – по зыбкости рождения и существования. Вечности и братству, с которым нас обручила наша история и география: Зып – Зыпков –Новозыпков и, наконец, Новозыбков – песчинка прежнего Великого Княжества Литовского.

Моя память, потеряв меня при выходе из собственного тела, с возмущением освобождает меня от беспамятства. Тризненно сокрушаясь, принуждает, хотя и запоздало, подсознательно прозреть былью и небылью прошлого. Возвратиться и ответить на детскую дурилку: почему греки в пятом веке ходили пятками назад?

Возвращение в обман

Семьдесят шесть призрачных кровавых километров бытия и небытия. Но ничего не попишешь. Я сам выбрал эту дорогу. С похмелья не придумать. Только я был трезвый. Может, потому так морочно и пролег мой путь, подбросив худшую из дорог. Только вознесся на седьмое небо, воспарил, как сразу же и обземлячился.

Воскрешенная дорога моего беспризорного сиротского детства припала ко мне бурьянной спелостью предосеннего уже седоватого дедовника у обочин и заборов, клещевато впилась в память россыпью и перхотью коричневых прикюветных чертополохов, которые мы в детстве за уцепистость к штанинам, намерение даже ухватиться своими крючками за голые наши ноги, прозвали собачками. Их сохранность потрясла и прохватила меня до слез.

Я все же добился, ступил в невозвратность, на мусорные стежки давно избытого времени. Так давно, что уже начал сомневаться: было ли то время и те стежки, на которых я сегодня должен состояться, выбраться из сорняков. Я навсегда опоздал в свой прежний мир и мир сегодня. Кто-то угадал меня. Забежал вперед, подкинул чужое, как мое. Где-то я прокололся в своих потайных, казалось, глубоко спрятанных желаниях. Есть, живет, хоронится среди людей нехороший глаз, злой и завистливый, подрезающий нам крылья, задуманные и обещанные каждому из нас еще при рождении. Кто-то недобрым оком подсмотрел и разгадал нам сужденное. И потому вместо крыльев у нас только зуд меж лопаток да привычные детские больки, струпья вроде подростковых прыщей. Кружащий голову хмельной дымок сжигающих детства костров и слеза. Слеза расставания с огнем, огнищем, в золе которого пеклась совсем не картошка, защитно и пригарочно обгорали и твердели мы сами. Избывали и теряли себя, но как захватывающе и трогательно теряли – горели до язычества еще обещанные нам крылья. На прутиках – рожнах – жарилось сало. Шипя, капельно сочилось и вспыхивало пламенем на синем жаре, живя костер. Мы следили за скворчением сала, но не всегда доставало ловкости поймать туманную каплю жира на горбушку хлеба. И получали огарок. Но все равно, хотя и несъедобный, но памятно зудящий, сладкий.

Мне, подпаску, как только я стал на ноги, подобного почти не довелось испытать. Надо было думать не о полетах и крыльях, и не о куске хлеба с маслом или салом, а просто о хлебе насущном. Детство мое было возвратным, когда я уже сам зарабатывал на хлеб и масло. Мог позволить себе беспривязно и бездельно пойти или поехать в лес только ради собственного

удовольствия – за грибом или ягодой. И там мне что-то аукалось при костре с печеной в нем бульбой, сала на сосновом или березовом рожне, а потом на горбушке задымленного, угольного с живичным или деготным запахом хвои или сосны хлеба.

Вот такая, искусительная и привередливая наша не самостоятельная еще, незрелая и порхающая в глубинах столетий память. Хотя, хотя кто знает – зрелая, незрелая. Но терпкая, ранняя, взлетная и предполетная. Позже – это уже болота, омуты, в которых полощется наше сознание. До ухода уже топкая зыбь, старательно прикрытая ярко-зеленой, словно потянутой маслом, ряской. Зацепным донным жабером, по-деревенски – мудорезом. Люди знают настоящее имя и всему и всех.

У взрослых иной, нежели у их чад с бурлящим, пенисто-сыродойным духом и звездным ощущением, другая голова – повернутая только на полезное, как говорится и считается, разумное, доброе, вечное, что совсем не так однозначно и очень спорно. Но так уже заведено и кем-то вложено, вбито в нас. Такой уж разбег, между намерениями, благими помыслами и конечным результатом, началом жизни и ее завершением. И такое, к сожалению, – со всем сущим на земле. Как кто-то в наше уже время, разведя в отчаянье руками, воскликнул: чем бы ни занимались, чтобы ни изобретали – все равно получается автомат Калашникова. Что можно дополнить – или самогонный аппарат.

А детвора, следуя основному и вечному занятию отцов, любит играть в войну. Но в их черепушке, еще не окостеневшем темени – глаз в космос, к несчастью с возрастом зарастающий.

Года два я приятельствовал с жеребенком. Встретился и познакомился с ним случайно. Как-то летним утром он сам подошел ко мне и напросился в друзья. Молочно дохнул полднем сначала в шею, а потом и в лицо. Это было так неожиданно и почти любовно искренне, что я на какое-то мгновение растерялся. Поведение жеребенка не было поведением животного. Не могу определить и свое тогда состояние. Картина маслом: впавший в ступор взрослый человек и, хотя еще непонятливый, но уже доверчивый к нему, только-только из материнского лона жеребенок, которого едва – едва начали держать ноги.

До этого дня я почти не видел его, не примечал, как и каждый выходец из деревни, навсегда впитавший: корова, поросенок и конь – это не пейзанская фигура и картина на фоне самого себя, а полноправный член семьи, подспорье, работник. По-другому на него не смотрел и не видел, но не раз любовался, как он стремглав вихрит, рушит покой высокой, склоненной к земле травы, длинноного шерстя и разбрасывая ее зелеными, голубыми и даже золотыми брызгами в осоловело-дремном полдне. Глаз, опять же бы-

лого деревенского жителя, незаметно, но зорко без пропусков, вбирал в себя суету и безостановочность окружающей жизни, кажущейся человеку со стороны нелепой, а на самом деле очень даже организованной, подсознательно запоминал. Складывал и запасил на всякий случай, как все прочее в долгий, огромный сундук крестьянского образа и лада жизни. Бережно продолжал тем же заниматься уже расставшись с этим ладом, выпав из него: ни мне так пригодится другому, кто ступит в мой след. Ступит, что-то припомнит, глянет моим уже отмершим взглядом и улыбнется, разделяя мысленно мое деревенское, ушедшее, то, что сегодня ему может только присниться.

У меня и на уме не было, что стригунок играет, тоскуя по воле в огороженном жердями поле. Ему сиротливо при матери, с нею и без нее. Она, пока солнце на небе, – в работе, тоже не свободна в туго затянутом хомуте. Это будущее жеребенка, он об этом еще не знает. Но уже тоскует, провожая взглядом проносящихся в небе ласточек, прядает ушами вслед им. А те мимо, мимо. А ему так хочется, шкура огнем горит, привлечь к себе хоть на мгновенье чье-то внимание, чтобы хоть кто-то живой споткнулся в своем равнодушии, пролетая или проходя мимо. Но человека, взращенного деревней, трудно сбить с ноги.

Жеребенок словно почувствовал и понял это. Медленно и тихо, украдкой приблизился ко мне. Положил свою легкую, еще бесхомутную и невзнузданную голову мне на плечо и вздохнул. А может, это не раз паханное его родичами и засеянное травами поле вздохнуло им или я, хватив духа его вольницы, воровато наскочившего легкого цыганского ветра.

Я повернулся и мы с жеребенком оказались лицом к лицу. Я не удержался и тоже вздохнул. Глубоко, насколько хватило слегка горчащего полевого воздуха, изношенности уже в нем летних цветов. Но откуда возник у меня этот жалобный вздох, я не понимаю и сегодня, вспоминая тот далекий день. Оснований для печали и тоски не было. Наоборот, легкое и невесомое возбуждение от прикосновения неизведанной мною ранее доброты. Возможно, это было наше с жеребенком взаимное возвращение из далекого и ничем еще не омраченного прошлого. Мы предстали один перед другим как еще не существующие в нашем столетии в этот день. Хотя все остальное в нем уже реально было звеняще гудящее, летало, ползало и паслось. Крылато прыгали по полю кузнечики. Многие из них с перелетом или недолетом до избранной цели пулями падали в траву. Другие же, более приноровленные или ленивые, сложив крылья, успевали зацепиться за русо седоватые головки спелого уже дятлика или метлицы. Раскачивались, будто на качелях, на протестующих от их вторжения стеблях. Серпасто-жатвенно торопились дальше и заговорно шептались. И что-то еще, сплошь наше, земное и сегодняшнее, мелькало,

кружилось под синью голубого до звона неба. Ползало, кормилось и дышало парящим духом ее обнаженной и ископыченной жеребенком и моими тяжелыми ботинками плоти.

Будто отдаваясь и подчиняясь этому вековому, не знающему отдохновения круговороту – гону, порханию и насыщению, пожиранию друг друга – жеребенок и сам попытался вклиниться, присоединиться к нему, разрешающе и одобряюще подмигнул ему молодым, еще чернильно не набрякшим глазом. И я ответно подмигнул грузом прожитых лет и суетой цивилизаций ему и миру, окружающему нас. Знакомство состоялось. Завязался разговор. Жеребенок понятливо и согласно стриганул ушами. Я попытался собезьянничать, проделать то же. Но, видимо, мои уши непривычны были к такому языку: в моей человеческой жизни мало еще было заеди – комаров, мошек, слепней, обучающих этому.

Но вопреки языковому барьеру и разводящей нас сущности, мы поняли друг друга и подружились. С того дня, чем бы жеребенок не был занят, завидев меня или даже почувствовав где-то вблизи себя, бросал себе под длинные ноги поле, сенокос, дорогу, рысью и галопом несся ко мне, не уступая в скорости, иноходи породистому ипподромному ахалтекинцу. Так шелковисто и песенно-водопадно струилась его грива, подобно волнению васильковой ржи в пору цветения – красования – когда над ней зависает и колышется текучая дымка пыльцы. Я всегда на такой случай запасался и подносил своему приятелю горбушку посыпанного крупной солью ржаного хлеба или дробок рафинаду.

Наше приятельство и взаимное умиление длились, пока мы не разошлись на долгую разлучную и отчуждающую зиму. Но и по весне жеребенок не изменил мне. Повзрослел, подрос. Но еще был на свободе возле сжатых оглоблями, вспотело темных боков матери, от которой был судьбоносно отлучен. Отлучен не только от ее молока, утреннего умывания языком, но и образа жизни: жеребенок все еще оставался волен, а мать взнуздана и охомутана. Но это различие в скором времени неизбежно должно было исчезнуть. Они должны были слиться судьбами.

Но мы с жеребенком еще были верны прошлогодней дружбе. Только я надеялся, что он по старой памяти устремится ко мне. Но жеребенок, лошадка уже, помахивая отяжелелой головой с парикмахерски обкорнанной, подстриженной гривой, приблизился ко мне не бегом, а степенным шагом, постукивая раздавшимися и ороговелыми копытами. Будто уже тащил за собой не очень груженую, но и не совсем пустую телегу.

Обдал меня запахом и теплом разомлелых на солнце трав, приобретенным за год родовым духом лошади. Правда, с еще сохраненной памятью детства, потому что сразу же потянулся к оттопыренному карману куртки,

хранящей и дышащей прошлым – ладный окраец осыпанного буйной солью ржаного хлеба. Хлеба, и мне с детства также лакомого, именуемого зайчиковым, бесконечно вкусного не только из-за его нехватки. Он хранил в себе поле и лес, неизвестность завлекательность чужой, заячьей жизни. Через малую краюшку хлеба познавалось безграничность мира, божественная причастность и прикосновение к нему.

Не благодаря ли этому заячьему хлебу на моей ладони, когда мир познается через запахи и вкус, вкус материнского молока, мы спознались и подружились. Человек и лошадь, сейчас уже очевидно – лошадь. Моя следующая встреча с ним была, когда стригунок уже ходил в табуне. Я издали выделил и приметил его на выгороженном жердями лошадином выгоне за сельской околицей. В первое мгновение он, как и раньше, попытался податься навстречу мне. Мы сошлись с ним под косые взгляды его сородичей. При этом ни один из них не оторвался от травы. На ходу, сбивно притормаживая и оглядываясь, норовил скубануть траву и мой коник. Стыдится, без ревности подумал я, вплотную подходя к нему. Притронулся к шее, запустил пальцы в теплую, согретую солнцем гриву. Коняшка, зелено и сочно дожевывая траву, передернул шкурой, словно отгоняя докучливую полуденную заедь, знаково прошелся по крупу хвостом.

К той докучливой заеди очевидно приравнивался и я. Мой приветливый и ласковый жеребенок не признавал и чурался меня, словно между нами никогда не было дружбы. Я глянул ему в чернильного цвета детства глаза. Цвет сохранился, только меня в нем уже не было. Я был стерт из зеркального отражения его глаз, из головы, видимо уже предчувствующей хомут и удила. Удален из предстоящей ему будущей жизни со взрослыми заботами, где не было места грезам о братстве и дружбе. Стригунок даже изменился мастью. Был буланый с благородным просверком седины. А сейчас едино только, буднично и беспородно – буланый. Время перекрашивало и перестраивало его. Вместо нетерпеливо стройных ног с тонкими, разящими землю копытами, наращивало твердую поступь в борозде. Доверчивость и искренность, детскую легкость замещало лошадиной силой и тяговитостью. Равнодушием степенного рабства большинства наших былых, да и сегодняшних животно-человеческих отношений с повседневностью.

Стригунок ты мой, стригунок, лошадь ты моя, лошадь. Зачем только тебя одомашнили. Создали достойное сожаления подобие человека – трудолюбиво послушную скотину. Порадело человечество, постарались сотлевшие уже, молчаливо и горько проклятые в столетиях ставшими домашними животными приручатели и дрессировщики, от которых сегодня ни звания, ни знака.

Я свыкся с коником, полюбил его детство, доверие, доверие ребенка к взрослому. А коник мой неожиданно, как говорят, оказался с кониками. Как это случается едва ли не с каждым подростком – взбрыкнул и дал в хомут.

Оборотился во что-то или кого-то, совсем иного. Хотя, не исключено, стал самим собой, и может, немного нашим подобием, что мы отказываемся признать в себе, но горько познаем в собственных детях. В трепетном детстве мы не разлей вода со всем Божьим светом. Но стоит хотя бы однажды на чем-то споткнуться и набить первую шишку, как мы обрастаем мозолями, диким мясом. Настолько диким, что без скальпеля от него не избавиться. И то не всегда с первого раза.

Я познал это на себе, собственной шкуре, живя среди взрослых и детей. Время играет и мудрствует не только внешне над нами, но внутренне, чтобы не заносились, не держали лишнего в общем-то еще хилой своей головенке и не изгнали сами себя преждевременно с этого света. Каждому фрукту – своя пора. Недаром свыше велено: успокойтесь.

Лошади, как и многие, если не все братья наши меньшие, хоть и не без нашего участия, под принуждением, кажется, смирились со своей судьбой. Но не праздно говорят: когда кажется – креститься надо. Креститься, потому что нет ничего ужаснее гнева и боли подавленных, задушенных, действительно звериных, животных. Звери усмирены не только и, может, совсем не интеллектом, а еще и за плату. Плату непомерную для человека – потерей себя, выходом из собственного тела. А это значит – безумием. И цена такого усмирения адекватна и двусторонння: «Out the bodu». Но, надо признать, есть и исключения. Что удивительно, совсем не личности, ничем не примечательные особи, мелочь пузатая или, точнее, пернатая – дворовые воробьи, коноплянки, семя крапивное, жидки, наконец.

Знаменитый дрессировщик с мировым именем как-то увидел, что воробьи ходят неправильно – не шагом, как все прочие, а прыгом – скоком. Потратил два месяца на то, чтобы научить их правильному передвижению. Воробьи заупрямились и наотрез отказались учиться. Как прыгали веками, так и прыгают, да еще передразнивают учителя непристойными действиями и звуками. Вот такие упертые наши памятливые полесские воробьи. Так же неискоренимо памятлива и смерть. Она никогда и ни про кого не забывает. В нашем подсознании, сознании всего сущего, словно в сундуке с множеством секретных замков и замочков и таким же множеством старушечьих смертных узлов и узелочков, хранится нечто не подвластное нашему потребительскому практичному уму. Последний, правда, часто покидает и отказывает нам.

Задолжал человек преобразованиями, усовершенствованием своего суетного разума всему сущему. В неоплатном долгу перед самим собой, перед той же лошадью, ее и своим будущим. Обанкротился и теперь норовит скрыться в бестелесности, беспамятстве и безумии, Out the body, как это происходит и со мной на распростертом передо мной языке моей кровавой дороги.

А пока мы с коником среди палящего лета молча стоим на оскубанном колхозными лошадьми выгоне. Трава на нем жидкая. Да и та, что чудом уцелела, под корень обгрызена и скопычена, и коням не очень интересна. Они отошли от нас. Сюда доносятся только всхлипы и голошение остатков кое-где сохранившихся трав. И звон, звон, звон этого дня и вечности. Окрыленный разгул и пиршество кровососущих. Оводов, паутов и мух, заходящихся от жадности, халявной добычи живой крови. В высоком небе, прохладной его синеве купаются ласточки. Взлетают ввысь, насколько хватает духу и силы. На мгновение черной мантией, по- монашески укрывшись крыльями, показно безгрешно ныряют, словно в прорву, в позлащенный лучистый и прозрачный свод неба. Тут же выныривают, уже умытые и довольные – одно лишь не отряхиваются. Их черно-белые сутаны как обещание непреходящего – добра и зла завтра и послезавтра, лошадям на выгоне под ними, самому выгону и человеку. Так завещано ласточкам – быть вестунами в этом мире.

Мы с моим коником словно чего-то ждем, может, и от тех же ласточек. В конике, похоже, терпения и ожидания больше. Они выразительнее и определеннее. Хотя именно его время от времени мурашечными наплывными волнами пронзает нетерпеливая, словно сигнальная, дрожь, вроде судорожно бегущего буквеннного ряда на экране телеящика, пытаясь что-то втемяшить мне. Но, кроме меня, принимающего это сообщение, – полуденная, хищно жаждущая крови заедь, от которой коник сам защищается, стирая с крупа кривые и извилистые кровавые послания. Но моему сознанию и глазу все же удается за что-то зацепиться, припомнить что-то из того, что тускло и притаенно прячется во мне.

Хотелось, как это было с прежним моим стригунком, обнять чужого мне буланчика, припасть к его насыщенной посланиями и памятью прошлого, почившего в веках вольного ветра, гривы. Не к этому ли он призывал он меня, неосознанно дрожа телом. Мы оба по-настоящему желали родства и дружбы, ласки. Но, по всему, меж нами уже навсегда пролегло прощальное и необратимое – разлука, понимание которой полностью овладело мной, без видимых печали и тоски, но до боли щемящее. А у коника то же читалась в немо открытом рте с угрожающе выпуклыми, крупными никотиново желтыми зубами.

Но в осмуженном, хотя и подернутом уже равнодушием чернильном его глазу было что-то иное, нисколько не грозное. Хмурое, но доброе. Память глаза воскресила в нем что-то давнее, не погасшее до сих пор. Не погасшее, но уже почти и неосознаваемое, что лишь изредка слабой искрой прорывалось через столетия и дали моего пещерного существования. А в лошади, повсему, пыталась взять верх, пробудиться тоска по горизонтам и далям, еще не познавшим косы зеленеющим земным пространствам. Не эта ли сокрушающая памятность в беспамятности не позволили нам в тот день припасть друг к другу, горько и щемяще развели уже навсегда.

Коник канул в свое конское. А я… Не уверен, что в человеческое, нареченное мне на роду. Из так и не проясненных глазных чернил коника неожиданно выкатилась слеза, на удивления прозрачная и крупная. Выкатилась и, не распадаясь, застыла на краешке его глаз, жестко орешеченных защитительными ресницами. Дрожаще колыхнулась и, не дробясь, упругим шариком упала на копыто, едва не вскипев на его равнодушной серой окостенелости.

По сей день не могу сказать, что вызвало в нем ту слезу. Солнечный луч, пролетающий овод или комар, пожелавший утолить жажду. Или его тронул, застлал взгляд легкий налетный ветер, в котором притаилось отринутое прошлое или несостоявшееся будущее. А может, проснулось во времени уже давно созревшее невидимое семя какого-то забытого, не взошедшего в веках растения и в нашей земле ищущее пристанища и продолжения. И, по-всему, обманно приняло за землю обетованную живой животный глаз. И было то не пророчеством ли? Не предсказанием ли очень даже возможного в будущем нашему глухому, слепому и не поддающемуся и на ощупь ощущению света. И потому та слеза была хотя и не призрачная, но необъяснимая и из очень далеких миров. Всепланетная, о которой еще в девятнадцатом столетии было говорено – слезинка ребенка, его небытия. Кровавая слеза жалобы души, оглохшей памяти матери и отца, не прощаемой ни живым, ни мертвым.

Лошадь и человек уныло и понуро стояли друг перед другом. Лошадь изредка проявляла еще немногие, но уже туманно занавешенные отражения прожитого ею земного века. Человек завивал веревочкой что-то свое, потому что только веревочкой можно было и завить его подсознательное. А там, где и когда он пробует осмыслить это умом, разумом, вновь и вновь получается и грезится ему автомат Калашникова или самогонный аппарат.

Досадно и обидно, но такие уж мы есть сегодня во Вселенной, в Млечной предопределенности нам земного пути. Может именно потому все на нем и чураются, избегают протянуть нам руку. Только надумали создать так называемый колайдер, чтобы узнать что-то о своем происхождении и Вселенной, как возникла угроза Земле и жизни. Таково уж наше кровавое познание себя. Такие уж мы есть, хищные и неопределенные, а возле нас и все прочее. Даже наши безобидные и затрапезные деревенские воробьи передвигаются только вскачь Все мы сегодня только так, таким, как говорится, макаром. Один к одному – безродные на Земле и во Вселенной макары, только телят пасти.

И я не исключение среди наших скачущих воробьев. И не все ли мы полешуки их породы. Но в нашей полесской корчеватости, болотной, неприглаженной пресловутой памяркоўнасці, набившей уже оскому, таится нечто непознанное и не разгаданное самими белорусазми-полешуками: неожиданное взрывное бунтарство, ятвяжья ярость идти, не оглядываясь, до края пропасти и в пропасть, в огонь и на виселицу. И неизвестно, кого они в ту минуту слушают, кому уподобляются и подчиняются – ангелу, Богу или Дьяволу.

Недаром говорят, в тихом болоте все черти водятся. Ангелы также, падшие. Не сплошь ли обрезанными крыльями.

Не в этом ли сегодня, кстати, как и всегда раздрай с самим собой, лошадью, временем и пространством. Не потому ли я сейчас на этой крестно распятой дороге. В вечной погоне за тем, что было, чего не было и никогда уже не будет. Намного раньше и придумал и создал это в себе. Создал, олицетворил и поверил. Спрятал и замкнул в памяти, тайно надеясь все же вернуться к этому и вновь на свежую и взрослую голову пройтись по прожитому. Трезво воскресить его без боли окунуться в прерванные и недосмотренные сны детства, их щемящую чистоту, глупость и озаряющий свет.

В них был и город, из не очень родственных объятий которого я только что вырвался. Он во мне издавна и все же добрый. В начале мы были с ним одной судьбы. Меченые одним несчастьем, одной бедой. Я приехал в этот город лечить непознанную в поселковой глубинке болезнь, от которой уже доходил. А большой, на мой взгляд, самый большой в мире город был болен сам. Громоздился черными каменными костями руин на огромной госпитальной кровати, забинтованный недоумевающими водами полесской реки Сож.

Город лечили те же, кто и навел болезнь, изувечил его. Пленные немцы. Чего я никак не мог понять. Моя болезнь была тоже от них, только я не мог доверить лечение ее немцам. Я жаловался то на живот, то на голову – кроме них, у меня в то время, кажется, ничего и не было. Изможденный, оголодалый, полотняно-кортовый, я не мог позволить себе еще что-то. Но получил в дополнение к своим хворям немощь разрушенного, нагого, скелетно обрешеченного большого города. Уныло хмурых людей в шинельно серых, наводящих страх чужих одеждах. Ощущение, что вся земля лишь только такая, понурая и изувеченная, немая. Скорее всего, потому, что немцы поправляют ей и городу здоровье.

Позже я еще не раз встречался с этим городом. Оценил и полюбил его красочность и веселую многоликость, неброскость. Что-то было в нем от самого меня и моих знакомых, поджарого мастеровитого люда, среди которого я жил и рос. Люд тот нисколько не походил на сегодняшний. Еще легкий на ногу, не заплывший жиром и отолстелый как в наши дни. Занятый совсем не тем, как бы похудеть, а чтобы съесть самому и принести хоть во рту детям. Прогонистый, подвижный, подстать модельно щепочным девицам сегодня, с охотничье выстреленными вперед, оголенными до не могу своими тыквами, помидорами, а чаще – фасолями. Это был бесконечно милый мне человек, сегодня оскорбленный, названный совком. Он мерещится мне, я вновь хочу видеть его, не потрясающим при входе общественный транспорт

Ощущение родства с ним и городом особенно сильно проросло и взошло во мне, когда пришла время прощаться, как я считал навсегда, уезжая в бе-

лый свет будто в копеечку. В скитания и беспризорность. Город, несмотря на старательность и трудолюбие пленных немцев, оставался еще в руинах, большей частью был пріватно деревянным и одноэтажным. Задымленным, как не все ли той поры большие и малые узловые наши железнодорожные станции, астматично задыхающимся.

Восприятием и представлением мира мы, и город, похожи как две рельсовые креозотные шпалы из одного бора, одного бревна, из-под одного топора, одной пилорамы и одной креозотовой купелью моченые. Он меня создал, он же меня в свое время и приберет. Может прихватит где-то и под забором с недопитой бутылкой чернильца и недокуренной сигаретой прима, что происходит с большинством моих ровесников и друзей. Такова уж судьба многих и многих послевоенных сирот, безотцовщины железнодорожного пристанционного полубандитского, полуворовского поколения, не выдержавшего скорости и искушения достойной где-то жизни и паровозного соблазна движения. Здесь только – мимо, мимо.

Железная дорога когда-то и породила город, отцов этого поколения и само это поколение. При болотах, пустых и голых песках, почти дюнах, используя их руки – вывело в люди, создав новое сообщество и новую здесь породу – пролетариев. Вытолкала из вековых деревень, бросила на рельсы, струйным блеском стали втягивающие их за горизонты, обещающие надежное будущее. И это новая порода людей паровозами «ИС» – Иосиф Сталин, «ФЭД» – Феликс Эдмундович Дзержинский, основательными и сокрушающе мощными; деревенское око неприглядными, но работящими маневровыми «ОВами» – овечками и «Щ» – щуками безоглядно и торопливо побежала в небытие, из пахарей – в стрелочники, смазчики вагонов, обходчики и кочегары. Неизменно необходимые тому и этому свету. Так было суждено и мне.

Но выпала другая доля. Дала мне хорошего поджопника. Погнала, на мое сегодня суждение, неспособного по здоровью принять эстафету отцов, прочь. Вытолкала в одиночество, чуж-чуженину и скитальчество. Невыносимые в начале жизни горечь, тоска и немой плач без слез.Тогда я и пригадать не мог, что за этим –моя настоящая судьба, что это рука, протянутая мне с того света мамой или бабушкой. Выживу – выживу. А нет, на нет и суда нет. Мало, ничего не стоит быть самим собой. Надо прежде еще найти себя.

Единение, хотя по первости и принудительное, с движением, скоростью, дорогой, до потери себя и времени слияние с далью, щемящее ожидание впереди непредсказемости того, что скрыто, прячется в вихревой, пружинно сжатой плоти встревоженного тобой неподвижно слежалого до тебя воздуха – чего еще просить и ждать, что может быть дороже. В тебе и набегающей и убегающей дороге всего понемногу. Нетерпения, дразнящей вечности погони и отчаянья догоняющего: все уходит и это уйдет. А потому – слеза на ресницах, от ветра, конечно. Но не только. Жгучая печаль и тоска по самому себе в невозврат-

ности застывшего времени. Застывшего, но еще хранящегося в твоих глаза, в блуждающем взгляде И твоя несостоятельность в родной хате, где еще бродит тень твоей матери, потихоньку истаивает в дымчатой туманности новых окаемов, рвется то что лишь вчера казалось неразрывным. Единым с тобой, живым и упругим, до краев наполненным тобой, твоим духом, дыханием, кровью.

Так было. До того, когда еще много и много чего не было. И это так было сыграло со мной в вечную нашу игру. В не верю или: верю каждому зверю, только не самому себе. С надеждой один раз все же поверить или проверить. Пройтись, пробежать, нырком прорваться в свою мятущуюся, больную и сегодня, словно чужую подозрительную память.

Я не совсем представлял, что ждет меня в ее тусклых глубинах что за зверь скрывается в них. Но там что-то было, что-то оставалось. Частица меня, щемящее манящая и почти не проявленная. Только дразнящее обозначенная. Навсегда призрачная и обманная, как предсмертный свет в конце тоннеля. Возможный, но не даденый мне.

Обещанный, ниспосланный всем прошедшим через этот туннель, но уворованный из моих, так и не прозревших там глаз. А давно известно, недоеденный кусок самый сладкий. И хотя сегодня я сытый, но все равно обделенный, нищий детством. И это навсегда вросло и приросло ко мне, потому и гоняюсь нищенской сукровичной памятью за заячьей горбушкой своего несостоявшегося детства: не догоню, так хотя бы согреюсь.

В подсознании при всех играх и игрищах в верю и не верю зыбко дрожит, вспыхивает и гаснет: а вдруг, а если. А потому – погоня, погоня, погоня. Без остановок и съездов на обочину. По свежей и зарубцевавшейся уже кроваво зыбкой памяти прошлого, настоящего и, возможно, будущего. Хотя и с потерянным неизвестно где и когда давно уже телом.

Зып – Зыпков – Новозыпков

Что творит со мной дорога, названная таким знаковым именем. Как бежит навстречу и вдогонку. Я купаюсь в столетиях простерших и обозначивших ее, нашу человеческую призрачную зыбкость на этом свете. Может именно потому с первого своего земного шага шатко споткнулся, зацепился и навсегда сросся со сказкой. Неделимо живу в ней с первого осмысленного проблеска света и мрака. Жизнь в сказке и со сказкой не только уютна, но и чиста. Жаль только, что со временем сказочность и сказка уходят, выдавливаются из нас и мы мельчаем и беднеем. А придумали сказки счастливые люди, чтобы постигнуть их, надо бы продолжить. Оглянуться и всмотреться в самих себя, в наше время и в человека сегодня – в первый попавшийся сумасшедший дом, наш обычный, повседневный дурдом. В старых сказках тоже ведь не обходится без дураков, но каких. Иванушки дурачки – цари и царевичи, короли королевичи, богатыри – сердце щемит и заходится. Есть и жабы-лягушки, но красули и царевны, лучшие подарки дуракам не только в день советской армии и восьмое марта. А в наших дурдомах, прошлых –величественных сумасшедших Наполеонов, Неронов и Петров Первых и прочих с когорты бессмертных сменили маленькие зеленые человечки, укропы и колорады, тараканы, дрожащие чтобы их не склевали птички, фото и топ модели, шоу дивы, в лучшем случае – Пугачова с Киркоровым. И это сколок с нашей сегодня действительности, нашего общества. Наш путь от сказки к тому, когда она превратилась в пыль, песком на зубах и шестеренках современности: сделаем сказку пылью.

Не подсознательное ли предвидение этого принудило меня к беспризорничеству, а сейчас погнало в дорогу. Когда-то, в самом своем начале, я пообещал себе больше года на одном месте не засиживаться. Но, как говорится, не хочешь, а должен. Жизнь вынудила сиднем сидеть, как собака на цепи, годы и годы возле своей собачьей конуры.

Сказочность мира поблекла и скукожилась подобно шагреневой коже, хотя я и насиловал себя быть достойным и верным детства, чего стараюсь придерживаться и теперь, несмотря на обомшелость и зыбкость своего сегодня и завтра, упертых будто рогом и через губу бормочущих: пойдешь налево… пойдешь направо. Только мы, полешуки, тоже не без рог. Сплошь одни только цмоки, лешие, белуны, домовые.

Меня не сбило с ноги не очень удачное начало пути дороги в никуда, где я был и не был, но хотел быть. Старое новое, неведомо когда посеянное во мне милостью нашего вечного сеятеля, хорошо плохо, но всходило. Хотя, вижу сейчас, посеяно, может и на скорую руку и не в благодатную пору и почву, подозрительными, не для меня предназначенными семенами. Но все же посеяно, несмотря на паровозную захмаренность родного и чужого, отрекшегося от меня города.

Он поражал меня несхожестью с тем, каким он был вчера. Словно он на самом деле по ночам, когда все спят, уходил и искал себя в прошлом или будущем, может и не на этой планете. Искал и перевоплощался. Его многоликость радовала и смущала меня. Я создал свой город. Достойный милый той земле, из которой он вырос, из криниц двух древних рек, вышел из их русла, спустился с синевы неба и встал на взгорках воспоминаний о прежних горах, обещании гор будущих. Заякорясь, запокачивался на кручах берегов, среди тяжелых и воздушных каменных замков, огражденных крепостными валами и рвами с издревле густой водой в прошвах зеленых водорослей, в пуговках или зеленых глазках ряски, в средневеково рыцарских ботфортах, кружевных отворотах и манишках белых и желтых лилий и кубышек, с седой давнины уцелевших в тех рвах с мостками и переходами из прошлого в сегодня.

Мне мерещилось, что на моей памяти, на моих глазах по тем мосткам и переходам кто-то совсем недавно прошелся. Соскользнул в просветы не заросшие водорослями, распахнутые окна старой воды, которую сейчас разламывают, пестрят белые и черные лебеди. Предостерегающе, а может одобряюще кричит им вслед еле видимый отсюда зачуханный паровозик, по-всему, маневровый – овечка – молочно исходит паром на шпалы и релься, а в небо посылает сипловатый гудок, спелой горошиной зависающий на кудластом облачке, перекатывается и прыгает будто в деском свистке.

Все это действительно, звучно, прочно и обстоятельно. Неотрывно от прошлого и переходяще в будущее. Зыпко или зыбко, как это бывает лишь в детских снах, толпой ползущих из плотно смеженных глаз на дрожащие от ожидания и восторга ресницы. Ловят еженощно гостящую в кровати сказку, за какой наяву и во сне охочусь и я. И она всегда около меня, рядом, но в руки, как жар-птица, не дается. И это хорошо, потому что всегда неожиданная и новая. Как и мой город – каждый раз иной и неожиданный.

Последний раз он напомнил мне золотую рыбку в стаи рыб обычных и таких же обычных водных и земных созданий, не всегда приятных глазу. Маняще сверкнул золотой рыбкой, какую, несмотря на мою рыбацкую страсть, потрогать а тем более поймать, взять в руки не привелось. Но она так зримо виделась мне, когда я исходил ожиданием чуда на берегу при воде с удочкой,

верил, что она есть. И я, может, когда-то ловил ее, она была моей. Трепетная, разноцветная, как весеннее цветение садов. Огонь на жадном угле уже без пламени в шепоте и солнечных переливах лепестков уже беременных урожаем яблонь, слив и груш. А прежде всего – головастых, прозрачно желтых и фиолетово голубых полесских подснежников, в отбежавшем с испугу, отдающем душу Богу и весне снеге, почему их и зовут сон-трава. Сон…

И причем и к чему тут золотая рыбка или жар-птица? Где начинаюсь я и мое? Где находится мой город? Конечно, только во мне, когда сон и явь по моему желанию сходятся. Млечной дорогой прилегают на плечи моей Земли.

Это я сегодня так брежу, потому что уже перегорел, стер глаз и памяти прошлое. Хотя и при памяти был незрячим. Смотрел, но не видел. Да и что видеть – город как город: что имеем – тем не дорожим. Это вам не Швейцарии с Альпами и не Парижи с Эйфелевой башней. Все что-то стоящее – это там. А у нас – небо, ельник и песок. И мы мимо, мимо – под крест и под крест. А если нечаянно всхлипнем и порадуемся, то только под чарку или уже в небытии. В необратимости себя и невозвратности того, что было и что имели.

Не так ли неприметно и мимолетно я потерял свой город. В тот день, когда я попутно и вынужденно побывал в нем, он показался мне отнюдь не золотой рыбкой. Больше умершей или умирающей русалкой. Солнечный погожий день лишь подчеркивал его нежить. Она сочилась с бревен частных деревянных домов, из которых кирпичные и панельные громады давно ужо выдавили и заглотали творящую душу янтарную живицу. Не на жизнь и пользу, наверно и себе, потому что впечатляли недосмотренностью и временностью. Бомжеватостью. Ни дать, взять негритянский Гарлем в Нью-Йорке, которым время от времени пугало нас отечественное телевидение. Перекошенные, расхлябленые двери. Облезлые казарменного окраса стены и балконы, тусклые провалы, как на тот свет, окон. В пещерный век жилище смотрелось наверняка веселее.

Но с этой абортированностью, выпадением из времени, истории и даже географии – нам же упрямо вводили в уши, что где-то тут центр, пуп Европы – еще можно было смириться. Наводили ужас отвалы, рукотворные горы и взгорки на окраинах, въезде и выезде из города. Нечто напоминающее его визитную карточку. Была она в хорошую погоду игриво серебристого цвета, веселенькая. Но с траурным обрамлением коренной почвы, гумуса по краям праздничного серебра.

И само то серебро, стоило только нахмуриться небу, сразу же тускнело и меркло. Подтверждало нежить, гибельность русалочьего рыбьего рода. И не только его. Словно с кого-то живьем содрали кожу и вывезли на загородную свалку. Стянули в кучу, будто хлам, снаряжение неких космических, может и похожих на рыб пришельцев, тела которых давно уже сотлели на галактиче-

ских дорогах или кто-то выел по пути в наш мир. А то, что осталось от них, упокоили там, где небо, ельник и песок. Чего не хватало – так это ворона на вершине неземного праха.

Удачно, что он не был смердным, не вонял, хотя это под вопросом. Терриконовые космические останки, казалось мне на моем машинном ходу, курились. Словно какой-то кочегар из преисподней раскуривал там адову самокрутку, может отобрал у грешного полешука трубку и пускал дымы как это было в свое время с терриконником в сибирском городе. Окуривал окрестности и меня дерущим глаза и память духом дедова тютюна, не без намека на скорую встречу с ним в раю или в аду. Испытывал на стойкость земных и потусторонних дымов, родных и чужих запахов. Духу, которым сегодня насыщалась земля, мой родной город.

Ощущение этого возросло, когда я всеми четырьмя колесами стал на трассу в направлении Новозыбкова. Липко припал к немощно и кроваво распростертому передо мной дорожному языку. В нем, казалось, тоже не было запаха. Но воображению не прикажешь, он надиктовывался мне помимо моей воли. Остаточность дыхания, веяния покинутого мной города, хотя и несуществующего полунаркотического дыма, тлена. Такого же неуловимого ощущения и запаха, возникших из ничего, из пустоты печали и тоски, приходящей при встрече с непонятным и гробовым, что тебя неизменно притягивает и отвращает.

Вот и я был переполнен желанием одновременно смотреть и не видеть.. Закрыть глаза и плюнуть на то, что выставляло мне начало моего путешествия. Мгновенно оказаться там, куда не одно десятилетие я до рези в глазах и головной боли всматривался памятью. Верил и отвергал то, что это достижимо, можно повторить, обрести вновь – вроде той же золотой рыбки, пусть и в аквариуме, который во мне уже много-много лет. Но я боюсь за его цельность и потому стараюсь лишний раз не прикоснуться и не замутить, лишить золотую рыбку и память живительного воздуха и воды.

Во мне было двое: как всегда и, наверно, у всех – снедающая нас двойственность. Один – ясный, повседневный и будничный. Второго я не прочь был и придушить – укоризненный и туманный, как дыхание на стекле. Но это, видимо, стержневое в нас, суть почти по-военному нашей казарменной жизни: от подъема до отбоя, первого и последнего звонка. Принудительной свободы детского сада, школы, армии, учебы и работы. До уже полного освобождения в сырой земле под могильным крестом.

Как в свое время писал русский философ А.Ф. Лосев: «Вся жизнь, любая жизнь от начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шаге и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва». Я знал и подчинялся этому и без

философа. Правда, он подстилал под эту жертвенность соломки – «жертва ради родины». Я же и родина были очень далеки друг от друга. А жертвовал я своей жизнь вблизи себя и далеко от нее, и каждое мгновение, приговоренный необходимостью жить и быть – ради себя, семьи, времени и труда. И даже ради какого-то неизвестного мне Феди, о котором неумолчно трындели: надо Федя, надо. Хотя мне самому это было нисколько не надо. Но так я и мое поколение были пожизненно без нашего согласия запрограммированы. И я твердо следовал этой программе. Днем и трезвый.

Ночью и под чарку верх брал другой. Не такой уже обязательный и никому, в том числе и мне, незнакомый. Потому что наедине с собой, в снах и сонных видениях избывал дневную приговоренность беличьего кружения, кстати, планетарного. Ночью и под одеялом выспевало осмеление, рождалась новая жизнь, которую сам придумывал и творил. Все мы творцы во мраке, в кровати и под одеялом. Но чаще из такого творчества получаются лишь дети – наши копии.

И это совсем не ирония и не издевательство над одним и другим во мне. А если немного и есть, то совсем немного. Мы действительно свободные, боевые и самостоятельные только в снах и безумии. И то, если последнее – буйное, и мы перестаем предохраняться. В ночном бреду мы беглецы из собственной несостоятельности, от нашей дневной жабы, подвигающей нас к благодати которой страстно желаем и одновременно стыдливо отвергаем, пытаясь создать себе иную жизнь, другую судьбу. Без Феди. Судьбу и мира, где только и водятся золотые рыбки, доверчивые и ласковые лошади, много солнца, зеленого и голубого. Столько, что глаза застит и в них тонут солнечные сны. Остается лишь желать, чтобы они были всегда. Приходили и отдыхали вместе с тобой на краешке твоих губ, в уголках глаз.

Призрачная зыбкость дня и ночи не давались бесследно. Угнетали, создавая черные дыры и разломы в пространстве и времени, а больше – в сознании и памяти. Время отказывалось быть неизменным и подчиненным, было разрушительным и поглотительным для памяти и сознания. Бунтовало, гневалось и, похоже, впадало в безумие. Развлекалось подставами – желаемого и ненавистного, что нередко объединяло мою раздвоенность. И я был готов кинуть-ринуть все на свете, включая себя и этот свет. Уступить мраку в себе, никого не видеть и самому стать невидимым. Но где-то хоть самую малость да сохраниться, чтобы кто-то, жук или жаба, вспоминали и печалились обо мне. И я сам себя вспоминал и печалился.

Понимал, это запредельно. И от бессилия и ограниченности позволенного нам – хоть локти кусай – сжимались кулаки, росла и крепла обида. Беспричинная, а потому и бескрайняя. Обида на обуженную, куцую свою память и одиночество, невостребованность нигде и никем. Хотя вокруг были близкие

и кровные мне люди. Но мы нигде и ни в чем не пересекались, только скользили друг перед другом, как белые мотыльки посреди лета перед кочанами капусты, поедающие ту же капусту и откладывающие на ее листьях яйца. Все как всегда. Как и тогда, когда я по своей воле, казалось мне, покинул родной край, отцовский дом и пошел искать себя в белом, далеком и близком мире. В беспризорность. Тогда и теперь доля одна. Разница лишь в том, что сегодня это было не бегство, а попытка возвращения к чему-то бесконечно памятному и дорогому, хотя и болезненному. Через что я уже однажды прошел, живьем содрав с себя кожу.

Та прежняя суковичная боль сегодня сладостна и целительна для меня. Я не всю ли жизнь боялся и хотел ее. И вот, наконец, наконец…

Нет, я не выставляюсь и не юродствую. Хотя все мы этой ущербной породы. Но я следую тому, что в этом шатком и зыбком мире при его узких кладочках над водой и пропастью, надо ступать не на одну дощечку: одно говорить, второе молча делать, а третье – держать в голове. И пока это третье, успокаивающее и примиряющее меня с самим собой, держит меня, не дает упасть. Оставаться самим собой, быть человеком в хрупком и ломком мире. И это подмена или замена, отвлечение от него: земля, шесть дачных соток и рачкование на них, почти молитвенное поклонение лесу, грибу и даже струящемуся в палой листве гаду, ужу и гадюке; рыбалка – единение с водой, раком и рыбой. А через это – со всем белым светом. Обманная, призрачность самостоятельности, свободы, в некоем роде даже творческая. Творение самого себя среди равно равнодушной к тебе мастерской природы. Создание себя в вечном покое воды, из которой ты когда-то вышел и сегодня еще не совсем обезобразил. Хотя и обрек ее на горечь полыни, утопив в ней злокозненную звезду. В лесу, на берегу вод я искал то, чего был по своей и чужой воле лишен – современного и древнего. Но не виртуального – телесного, идущим по следу гриба или упавшего желудя собирателя, или сидящим на крутых берегах столетий и ловящего рыбу, добытчика. А может, будучи еще и сам рыбой, щукой брошенной в реку. И это единственная действительность прошлого, настоящего и, дай Бог, будущего. Хотя это, наверно, и есть виртуальность. Виртуальность надежд – из прошлого снова в прошлое, только будущее, сокрытое в борах и дубровах, в бегущих водах рек также виртуального времени, из которого и в котором мы компьютерно созданы в силиконовой долине экспериментального Эдема планеты земля. Из мусора этой же Земли, что в воде и под водой наземно и подземно, и в небесах.

Созданы, опять же, реально и виртуально. Без этой парочки не может обойтись ни один творец. Вначале близнецы были лишь тенью друг друга. Пока не ослабли сам творец и творимая им реальность, а тени обрели плоть и амебно размножились, хотя и не помня родства и создателя. Привидения и призраки ожили и сами пожелали стать творцами. Тени воспряли в безумной жажде самовозвышения и соперничства. Не отсюда ли родилась легенда о

двух братьях Каине и Авеле, по земному следу которых я гонюсь сейчас за своей золотой рыбкой.

Наши предки на чужбине искали Беломорье – молочные реки с кисельными берегами. Вот и я мечусь по белому свету в поисках своего сказочного Беломорья у берегов рек и озер не испоганенных еще нашим рукотворным звездопадом, где мне выпадет счастье увидеть и почувствовать как потягивается и позевывает вдоль течения пуховыми космами утренних и вечерних туманов река. Настороженно присматривается ко мне еще дремлющими или уходящими в сон глазами, смуглыми глубинами виров. Чуть позже от ее настороженности не останется и следа. Родится взаимное узнавание, подтвержденное вертливой верховодкой, бурящей замочную сомкнутость воды. Обозначит и обнадежит: есть здесь рыба, маленькая пока. А дальше – будем посмотреть. Вскинется церковной свечой, может, и язик, благословляя меня. Набежит разбойник и грабитель вездесущий окунь, рыскающий в погоне, кого бы если не съесть, то хотя бы хорошо покусать, попробовать.

Все кругом сразу оживает. Отряхиваются травы и лозы, избавляясь парно дурманящего мрака ночи. Птицы звонко потребуют рассвета и солнца. Разгребутся и откроются в норах возле моих ног голодно пережатые в поясе осы и черно красные при реках муравьи. И все это копошение, шорохи звуки будут моими, потому что со мной, хотя беззвучно и невидимо происходит то же самое. Я копил это в себе всю свою немую и темную ночь, таил, боясь, чтобы никто не отнял и не подглядел.

Бережная отрешенность, одиночество среди гомона и шума, напряженного кружения многокрасочного и многоголосого и одновременно не беспорядочного и бестолочно суетного мира – это мое поглощение, свидетельство и осознание причастности ко всему сущему на этой грешной земле. Нечто подобное внушает мне и дорога – ощущение необходимости кому-то и где-то, даже эта, запретно опасная для человека и зверя. На дороге, в предвкушении ее, я, подобно речному бобру или выдре, стряхиваю с себя буднично и привычно охватную воду и пропитываюсь земной и дорожной новью, на первом же метре, всхлипе двигателя машинно и телесно уже поглощенный, будто цепью прикованный к ней. Это у меня с детства – на телеге, санях, автомобили или пешем ходу. Уверен, что не только у меня. Человек рожден, поставлен на землю ногами, чтобы познавать ее, то, что она круглая, шаткая. И прежде всего – ногами.

Еще не помня себя, я протаптывал свои первые стежки с болью, плачем и опасностью. Случалось смертельной. Тонул, обжигался и горел, обмораживался, помирал от голода и холода, попадал под поезда и машины. Падал с деревьев, крыш домов, был бит и топтан лошадьми и людьми. Мир испытывал меня, пробовал на зуб, крепость головы и мозгов, прочность костей. Как меня не раз предупреждали чужие и близкие: крутящееся колесо голову себе обязательно открутит.

Не открутил. Только она до этого времени кружится в нетерпении двигаться идти, бежать – на сворот ее. Проселком, стежкой, большаком, гостинцем и асфальтом. Потому и нет угомону и конца ожиданиям. Чего? Если бы я знал. Ожидание у меня – составная жизни и замена веры. Не в Бога – звериной, животной веры в то, что я живу, и у меня будет завтра – рассвет, солнце, дождь, снег и ветер

Глаза я приучил не только смотреть, но и выхватывать ими все новое, даже состарившееся за день или ночь без меня. Лишний раз сознавать и открывать, что виденное вчера сегодня совсем иное. Иным оно будет передо мной и завтра, и послезавтра. Это сумасшедшее счастье вновь и вновь видеть и открывать вчера прожитый день. Осмысливать это – никакого смысла. Как нет его, за малым исключением, ни в чем. Живи и помни себя, пока голова на месте. Понаблюдай, поговори с ребенком и, может, поумнеешь. А так: не болей, не болей голова, придет суббота – поправим.

В своих странствиях я не трачусь на чтение и дрему. Не позволяет сама дорога. Я неотрывен от нее не только взглядом, глазом. Сам себе прокинут под ноги тропами, гостинцами, бетоном и асфальтом. Змеиным теком точусь и прокалываю, прошиваю простор полей, лесов, городов и деревень. Чаще, если не пеши, то автобусом. Он позволяет ощущать себя не только пассажиром, но и соучастником, средством движения. Место по возможности выбираю у окна, хорошо промытого и не тонированного, чтобы без задержки не только глазом, а сразу весь целиком ввинчивался, катапультировал из сидения, согласно купленному билета, в плывущую даль пути.

И все же из-за автобусной комфортной упакованности отдаю предпочтение пути пешему, доверяюсь ногам. Особенно, когда не надо торопиться, и никто меня, кроме ягод или грибов, не подстегивает. Стремлюсь в места дикие, неистоптанные, хотя такие сегодня уже не найти. Но я пытаюсь, следуя зову и желанию души. Неизвестность и заповедность, словно собаку на веревочке, ведет меня от дерева к дереву, по клубящимся на буграх просветам борового серо-молчаливого моха. Колко и хрустяще подводит не только к скрытным боровиковым или черничным россыпям, но снимает и повседневную одурь неприбранностью, первозданностью как мира, так и самого меня, еще немого, не придушенного ни умом, ни мыслью. И потому все помыслы непритязательны, чисты и просты. Первобытно детские.

Но об этом разговор отдельный, не на ходу. Неторопливый и в одиночестве – вечный диалог с самим собой, если в загашнике есть что самому себе сказать, не сглазив ни себя, ни свой гриб или ягоду. Есть, есть заветные слова, которые ведали наши предки. Вечные из давности времен и пространства стежки, по которым они ходили, носящие сегодня и нас, направляют наши ноги к их древним грибницам и ягодникам.

А пока – машинный бег по заезженному асфальту в конце второго тысячелетия. Конечно, несравнимо с пешим ходом – ни ног под собой, ни земли под ногами. Но все не бешеный жор экспрессами поездов и автобусов всего сущего, когда окрестность сливается, промаргивается, как предутренний бредовый сон. И не нарочитая замедленность самолетного скольжения над сугробно-снежной слежалостью недвижных облаков, без единой зацепки глазу на их бели. Из окна же пригородного междеревенского работяги-автобусика, а я выбираю на недальние поездки именно такие, еще можно ущемиться взглядом в настоящее, что невольно останется, отложится в памяти. И надолго, пока не последует приказа этой кладовой, хранительнице твоей сущности открыться. Или закрыться навсегда.

А дано, даровано тебе на сельских проселках очень многое – постижение настоящего без украшательства. Во первых, как это у нас водится,ощутить определенным местом, что дороги наши ах да ах. Во вторых, жизнь в автобусе сонная и недвижимая, а вне его – гомонливая и подвижная. Вот гонится за автобусом разъяренный шелудивый пес, зявит пасть, лает. А за околицей снимается с выгона, летит наперерез автобусу, крестит небо благословляющим бело-красно-бело крестом – белый аист. Пророчески задумчиво кружит и кружит в синеве небес коршун – прикидывается пророком, а на самом деле просто голодный. С пророками всегда так – есть хотят, ищут жертву.

А за выгоном на кургане, на лобном капище деревенских столетий – кладов – в тенистой прохладе дубов прикипел, пришвартовался, как грузин за прилавком, орел, оседлав православный крест полуразрушенной, стремящейся тоже уйти под землю каплицы. Орел – могильщик. Это уже серьезно. Мне о нем и думать не желательно. Орел – птица, чужая нам. Пришелец, личность кавказской национальности. Хотя здесь не базар, купить-продать нечего. Хотя, хотя… Все здесь уже вернувшиеся с ярмарки. А может он – орел-пришелец, из расплодившихся сегодня террористов, ваххабит, исламист. Но все равно здесь некого убивать и резать. Сами, сами с этим справились, и давно. Еще при царе Горохе было говорено: барин, кровать расстелена – извольте угнетать. С того времени все и удушено, угнетено, прирезано и продано. Орел-могильщик лишь напоминание, указующий перст былого, когда пришлый злыдень объявился и выпростался здесь, а сегодня пытается выбраться из могилы, чтобы плюнуть в лицо или спину будущему.

Но прошлое и настоящее, мелькающее мимо, не застилают и не слепят мой дорожный глаз.

Собака, аист – Бусел, Антон, Лялека и Батян – коршун и погост – все это мое. За что только мне такой щедрый дар. Я вбираю и пью, пью набгом из ладоней земли, ворую глазом, запасаюсь подаренным мне. Насыщаюсь и не могу насытиться. До чего же я жадный, ненасытный, словно голый, еще не-

оперенный птенец вчера только из яйца, познающий Божий свет широко раззявленным ртом и растяжным чревом.

До чего же ты, дорого, каждый раз под мое настроение разное. Это же сколько народов прошло по тебе до меня: истоптали, изнасиловали ногами, уничтожили чужих и своих. Праведных, неправедных, святых и грешных. А ты все такая же, неизменно приветливая ко всем и каждому. В том числе и ко мне. Ведущая, указующая вчера и сегодня, человеку и зверю под ногу и по ноге. От земного порога и в мироздание, куда могут достичь только память и сознание.

Такие мои стежки-стежечки, тропы и тропинки, кладки-кладочки и клады-погосты. Гостевые и сокровищные из прошлого – в неведомо куда. От земного в подземное и космогонное. Хотя я непереборлив и нетребователен. Мне утешна и рыбешке на крючке. Потому что на него, на тот же крючок, подорожно, попутно зацепили, заякорили и меня. Давно, не помню даже когда. А то бы не дался. Но только родился, а уже болтаюсь на крючке – этакий молочный червячок. А что мне было делать, куда бежать и прятаться. Что уж суждено – тому и быть. От судьбы и на том свете не скроешься. А жизнь одна, короткая и, говорят, к тому же червивая.

Немало нас прошло, покушавшихся на вечность. Но где они сегодня. Хотя век человек и продлился, ум стал короче. Усыхает, портится, как рыба, с головы. Перевелись Тургеневы с его самым большим в свое время мозгом. Ленины сменили их. Ожидали в нем мозга громадного, а он оказался средним, да еще, похоже, подпорченным сифилисом и заизвесткованным.

Вот такие, как прежде говорили пирога, а сегодня – загогулины. Теряем мы себя, вещество, и без того обиженное и оскорбленное, названное серым, на что в последние годы обратили уже внимание и ученые. А это вещество не единая ли стежечка, кладочка из беспамятства в корневое, похороненное в нас прошлое. Таким образом, нам остается только абортированное и кастрированное сегодня, сейчас и теперь. А я противлюсь быть манкуртом. Хочу все свое всегда нести в себе.

Кто может предугадать, что мне понадобится завтра, где быть, что делать. Хотя бы вот это: пройти или проехать нежданно и негаданно по этой дороге. Я бредил ею и видел во сне. А явилась она мне такой, что лучше было бы в зародыше уничтожить моих тайных и невидимых подстрекателей, соблазняющих меня в ночи обманной свободой и дорогой, волей. Но это значило – уничтожить и себя. А свои обманы мы только умножаем.

Что же заставило меня выбраться в дорогу. На первый взгляд – прихоть. Но это лишь на первый взгляд. Мои друзья и сам я изводились рыбалкой в низовьях Волги под Астраханью: что-то бесподобное. Рыба лютая, наглая и падкая к крючку, как девки на знаменитости и забугорных женихов. И столь-

ко ее, больше чем всадников у Мамая и Чингисхана, вместе взятых. Клюет даже на голый крючок. В доброе время выбраться на лов и жор лютой рыбы мне не выпало. А в безвременье – пожалуйста.

Так уж сошлось, что именно в безвременье я погнался за самим собой. След в след ступил на ту дорогу, по которой давно страдно и голодно прошел. Прошел и словно собака на каждом километровом столбе обозначился. В память своих мучений, до немоты скованный холодом, до потери речи и обретения ее – стона, крика от злобеды и милостивого бережения меня, сохранения небом, землей и той же дорогой. И совсем не слепой судьбой, придавшей мне силы и смелости не чураться беды и страданий, принимать и терпеть голод и холод и беду. Навсегда полюбить, сродниться с дорогой. Полюбить себя на ней и каждого встречного и попутного.

А первым среди них – моего тогдашнего друга по Сухиничскому детприемнику, Кольку. К сожалению, только имя. Потому что на том нашем давнем пути, кто в колонию несовершеннолетних, кто в тюрьму, а кто-то и на тот свет, мы, сироты-безбатьковичи, фамилий не имели. Как не имели на этом свете дома, постоянного местожительства – предтечи и предшественники будущих бомжей. А тогда просто беспризорники, обнесенные в родном краю ложкой супа, краюшкойиз хлеба. Недоноски и огрызки только что окончившейся войны.

По своей воле и уму выбрали для сохранения и прописки во времени и пространстве нечто среднее срединное между колонией и тюрьмой, потому что были еще неопределенностью между человеком и собакой и могли обернуться в каждого из двух. Дозревали до колонии и тюрьмы по вокзалам, мусорным свалкам и детприемникам. И все же, несмотря на это, я иногда спрашиваю себя: чего мне сегодня не хватает? И как ни странно, отвечаю – беспризорничества. Почему? Думаю, стоит обратиться к афганцам или другим нашим солдатам-интернационалистам. Потому что здесь очевиден один и тот же слом или надлом психически искалеченного поколения.

Стая или саранча, бельмо на глазу наших отцов победителей и освободителей Европы, неспособных нас прокормить. И мы кормились сами подаянием, воровством и грабежом или по мусорным свалкам очень неровного и тогда мира кто к чему приспособлен, склонен и имел навык. Колька ни под одну из этих сиротских специальностей не подходил. Был прирожденным тружеником, работягой. Пахарем, сеятелем, ремесленником. Предками ему потомственно было запрещено нищенствовать, воровать и грабить. В десять с небольшим лет телом он был словно выплавлен и изготовлен для труда, дела. Только ни труд, ни дело и не тоска по ним не могли его прокормить. И таких Колек в то время было не счесть.

Потому едва ли не каждый ли из них, в установленном порядке еще с детства обучился советской грамоте – каким же несварением желудка это всем нам отрыгнется – обманывать, дурить время, державу и людей, отказавшим им в хлебе насущном. Лето и частично осень, до белых мух они честно зарабатывали тот хлеб вместе с родителями, а больше с одной только матерью, приписанной до горепашных солдатских послевоенных вдов: я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Пахали, сеяли, косили. Потом по заведенке – жали, копали, свозили или сносили. Успевали управляться на своих сотках и на колхозных полях.

Колхоз рассчитывался их батрачеством с державой, а они получали руб, коп и что-то в лоб – только это что-то в лоб. С первым снегом и морозом наступал их Юрьев день, у детей заканчивалось колхозное крепостничество. Они одевались в рванье, шли к близлежащей железнодорожной станции или полустанку. Товарняками, пробегающими мимо рабочими поездками, а кому таланило – пассажирскими гулящими поездами, экспрессами уезжали, убегали из родительского гнезда в беженство. Где их не могли знать и узнать. Где было в досталь не только хлеба, но и милиции, ожидающей их уже, налаживающей гоны и облавы.

Чаще это были большие, областные города или узловые железнодорожные станции, которые они загодя выбрали для себя, как рыба выбирает для продолжения рода – нереста или зимовки тихие заводи и глубокие зимовальные ямы. В своем малолетнем нерестовании или зимовании они не должны были упустить момент, вовремя попасться на глаза линейному милиционеру. И не обычному служаке, а чтобы имел он под милицейской фуражкой с околышем хотя бы немного капельку крестьянского ума, души и понимания. Родительского сочувствия. Если будет увещевать, что обязательно, как и кормление макоронами: зажатие головы меж ног – и по шее, и по шее, то вершил это больше ради ритуала и приличия. Чтобы самого не взяли на цугундер и не погнали в шею за снисходительность к малолеткам, облавы, ловля и гоны которых велись на государственном уровне. И были поставлены на поток, конвейер. Малолеток в предзимье, как ту же рыбу в замор –нехватку воздуха – вязали у столовых, чайных, на вокзалах и базарах. Сбивали в стаи и сгоняли в ближайшие детприемники-распределители.. Их в то время было немало, и они не пустовали. Сколько полегло дома и по Европе отцов, настолько же приросло по стране беспризорников, безотцовщины. Детприемники для удобства их содержания обычно располагались поблизости или рядом с тюрьмой. Если что – пересадка без заморочек. Да и охрана у плеча или подбрюшия старших и серьезных братьев гораздо дешевле. В местоположении детприемников была еще одна особенность, мистическая, сакральная, судите сами. Я же не могу объяснить этого, соображения не хватает.

Детские приемники-распределители, тюрьмы шли в одной связке с церковью, если той удалось сохраниться в городе или поселке. Это было нечто издревле сросшееся с нашим зыбким и свято очерченным жизненным укладом: тюрьма – прочный и вечный фундамент державности, то же можно сказать и про церковь. Для знаковой троичности не хватало только кладбища. Но его, кажется, в другой половине двадцатого столетия удалили и отделили от тюрем, каторги и каторжан, уходящих на тот свет безмогильно и безымянно: прах не востребован. Возросло число покойников, а земля подорожала.

Но вот наш труженик, крепостной колхозных нив, а сейчас полноправный подснежник, только не весенний, а зимний, на законном отдыхе, на казенном содержании за счет государства и отца всех народов. Рваное и вшивое отрепье с него содрали, отправили в прожарку. Под Котовского налысо постригли и помыли в бане. Обмундировали как солдата новобранца в детприемниковское чистое, хотя и не новое, но приличное: не грешно и людям показаться, если бы дали насовсем.

Он купается в роскоши, тепле сытости, как гусеница на государственно сочном и зеленом ему и зимой казенном дереве. Он счастлив коротким счастьем поденки. Его аж три раза в день кормят и не одной только похлебкой и картошкой в мундирах. Борщ горячий дают, котлету из мяса дают и, о чудо, чай или компот дают сладкое и даже иногда конфетку. Она, конечно из патоки с мукой, но он об этом и не подозревает. Познает, в день Октябрьской революции, Боже ты мой, вкус, цвет, аромат апельсина. Тот апельсин не только душистый и яркий, но и полыхает огнем, если не съесть его кожуру, сжать пальцами и быстренько поднести затыренную от воспеток спичку. Пламя такое же, как тогда, когда звучно упернешься. А ко всему, спать укладывают не на голые полати у печи под дерюжкой, а на кровать с панцирной сеткой, на простыню и под одеяло с пододеяльником. Что, конечно совсем ни к чему уже, городское баловство и распутство.

Но почему хоть чуточку, совсем немного такого распутства и баловства не позволяет ему родной дом. Почему он должен добиваться этого черт знает, где и за решеткой.

Нет, он, ни на кого и ни на что не нарекает, никого не осуждает и ни на что не претендует Мой Колька. Мой друг и собрат. Он переполнен терпением, знанием, что такая уж у него, деревенского, судьба, планида, как, кстати, и у меня: настырничать, спорить с державой и судьбой – что мочиться против ветра. В нем значительно больше земного и осмысленного, повседневно здравого и рассудительного. Потому он далек от моей путешественной глупости: обмануть, надурить Москву – самый большой милицейский кордон для беспризорников – и на Дальний восток. А оттуда уже то ли кораблем по воде, то ли по льду, если вода замерзнет, – на Аляску. Вычитал, что ее сдали американ-

цам при царе еще в аренду на девяносто лет. Просчитал, срок аренды скоро истекает. На Аляске я перезимую, пересижу какое-то время, придут опять наши, а я им: здравствуйте, добрый день вам, спасибо за заботу, но я уже здесь.

Обстоятельно все продумал и даже слова нашел. Только дорога длинная и опасная, засад много. Колька же ничего не выдумывал, не мудрил. Нашел себе детдомовскую берлогу, забрался в нее и залег, как медведь в спячку на всю долгую и унылую зиму. Спит и всем, чем может, дышит, похрапывает, ждет, как терпеливо и вечно ждали и ждут вчерашнего дня все его предки.

Присматривается к криминальному населению детприемника – больше голодного, чем блатного. Сторонится его, боясь во что-нибудь влипнуть, смешаться с ним. Изредка что-то почитывает – читателей здесь уважают, стараются их не беспокоить. Саму книгу еще уважают. Книг в детприемнике много – полный на две створки магазинный дубовый шкаф. Учится играть на гитаре и мандолине. Балалайку уже освоил: светит месяц, светит ясный, светит вечером и днем. Способен и охоч к музыке и струнным инструментам – руки, пальцы позволяют щипать их. У меня же от струн пальцы жидко мозолятся и облазят. У Кольки же они будто из проволоки.

Серый, заключенный, скованный облаками среднерусский день. Мы с Колькой стоим возле зарешеченного металлическими прутьями окна – приемник- распределитель детский то детский, но здесь с нами не в куклы гуляют. Начальник при погонах – старший лейтенант госбезопасности. За дверями, так же зарешеченными, совсем не оловянный солдатик – суровый старый служака с боевой винтовкой, хотя и образца 1891 года. Тулится уныло обмяклыми плечами от ветра к красному, вроде кремлевского, кирпичу тюремной стены. Но мы не обращаем внимание ни на старого человека с ружьем, ни на стену. Привыкли, как к картинке в книге или фотографии в газете.

А вот то, что происходит за охраняющим нас окном на улице, притягивает нас, словно кино, которое мы смотрим бесплатно. Сквозь приоткрытую форточку нас обдает сладковатый запах тающего снега – это запах воли. Сувойная расстеленность зимнего снега и приглаженная санями и подошвами прохожих дорожная наледь на мостовой уже почернели, набрякли и готовы пробрызнуть первачом березового сока, еще мутновато-бурого от коры, но спорого. На улице еще только предшествие его скорой и цветистой течи, хотя, может, и не очень поглядное – расквашенных и замешенных на весну пожелтелых лошадиных яблок, истертого до мочальной невнятности, но удерживающей запах мурожного сена. Дух забот и спешки людей, которые за зиму прошли здесь и проехали конно. Прокинули себя, свой след и запах в наступающую весну.

Но не только неуловимость этого следа забирает и будоражит нас. На готовой уже отпустить промороженную землю улице крутятся собаки с патлатой, сбитой в комья шерстью – местечковые потомственные дворяне, мо-

жет, чем-то схожие с нами. А больше – с теми, кто их содержит, кормит или держит впроголодь. Поджарые, прогонистые и наструненные, словно загодя готовые к той мужской работе, что свела и их и сбила в одну, исходящую на страсть стаю. И вольные, свободные в своем местечковом уличном устремлении продолжиться.

Свадьба, хотя и собачья, – все равно праздник рода, природы и естества. Наблюдать за ней, даже зарешеченно, а может, именно потому, что зарешеченно, мне и Кольке больше, чем забава и зрелище. Мы завидуем собачьей воле. Нам бы ее, мы бы этих собачек перебегали и перелаяли – научили свободу любить. Только нам этой свободы век еще не видать.

– В нашем местечке, – кажется, совсем не к месту говорит Колька, – волки всех собак задрали.

– А у нас нет, – отвечаю я ему, – чтобы вот так, сразу со всеми, то еще не справились.

– Потому что ваши волки лежебоки и лентяи.

– Ага, лежебоки и лентяи. Просто все наши собаки зубастые и сильные.

– Против волка, даже самого ледащего, никакая собака не устоит. – Похоже, чужими словами отвечает Колька. И это меня раздражает.

– Ага, не устоит. Это ваша не устоит. А наша… Наши собаки не наши. Они из немецких овчарок, черных. И наши волки из тех овчарок.

– Это как? Почему и откуда черные?

– Черные, и все. Немецкие овчарки все черные. Немцы так бежали, что бросили, отказались от них.

– Немцы. А мы приняли и приручили. А которые не захотели приручаться, остались в лесу, одичали. Выжили только волчицы. Суки. Потому и лютуют, но… – Меня понесло, я понял это. Понял и Колька. Потому что из окна мы видим одно и то же, что заставляет нас перечить друг другу. Хочется туда, на волю, к собакам.

– Придумываешь ты все. Врешь, – говорит мне Колька.

– А по сопатке, в морду не хочешь? зло отвечаю я. В приговоренности к четырем глухим стенам мы податливы на обиду, деликатны и чувствительны к самому малому посягательству на нашу независимость, а особенно на ту же морду и сопатку.

– Сопатка и морда есть у тебя. Хотя и узкая, но не промахнусь, – не попускается Колька.

Я смотрю на его кулаки – действительно, ему трудно промахнуться. Чувствую, как опарой, словно тесто в деже, стянутой, окрученной со всех сто-

рон сухими обручами, подымается, взбухает желание первым приложиться кулаком к лицу еще минуту тому моего лучшего друга. Помрачнение ни с чего и ни откуда, привычного стояния у окна. Будто натянуло, надуло из приоткрытой на улицу форточки, дышащей предвеснием и звучным лаем соперничающих псов.

Под их вальсовые хоры мы уже готовы сощепиться. Разводит нас воспитательница, в полный рост нависшая над своим наблюдательно надзирательным столом. В каком бы запале среди четырех казенных стен не были беспризорники, они никогда не должны терять и не теряют звериного чувства опасности. Знают, что в приемнике-распределителе кроме общей комнаты для игр, есть и карцер. Мы проходим мимо его обитых листовым железом дверей с засовами три раза в день, когда нас выводят строем – перед приемом пищи на помывку и оправку.

И это кургузое и картавое слово карцер одновременно с вольным брехом собак за окном звучит в ушах нам обоим. Нам ничего больше не надо ни у окна, ни за окном. Мы с Колькой снова друзья по недозрелости неполнолетней, щемяще оскомной тоски, с неясным, но болезненным вопросом: а почему мы здесь под тюремными запорами и стражей, кому это надо, за какие наши несовершеннолетние грехи кто-то услаждается нашей малолетней слезой. Шкурой ощущаем, что это не только наши с Колькой вопросы. В свое время они сорвут нам и кому-то еще, многим и многим державную крышу. Отольются кошке мышкины слезы. На одном и том же крючке, выкованным столетием, все мы здесь и повсюду. Грядет час – каждого за ухо и на солнце.

Час этот уже пошел. Только туда ли. Наверно, вообще всем нашим державным часам на семнадцати, двадцати одном камнях, как шутили в наше время, все же не хватает еще двух камней – одного снизу, второго – сверху.

После многообещающей мартовским собакам, котам и немного нам, малолеткам, весенней оттепели опять прижали морозы, и женский праздник всей страны плавно перешел в длинный траур. Этот траур способствовал не только нашей тоске, но и глупости. Безоглядная детская искренность в единстве с простоватостью, грешная боль свободы – не к добру.

Осиротев вторично, впав в ступор державной тоски по отцу всех народов, мы начали виниться, переходя на феню – колоться. Первым сорвался я. Как на исповеди, открылся воспитательнице, а потом и старшему лейтенанту госбезопасности, начальнику детприемника-распределителя. Рассказал и про Дальний Восток, и про Аляску – кто я есть, каких кровей и какая настоящая моя фамилия, откуда родом. Хотя, оставшись наедине с собой, втихомолку и плакал, предвидя последствия своей правды и искренности – принудительное возвращение в родные пенаты, где меня никто не ждал и не желал видеть,

о чем свидетельствовал объявленный на меня всесоюзный розыск. Меня не было и места мне дома не было.

Плакал всухую, без слез, что намного больнее, чем со слезами Колька без слов, только лицом и глазами сочувствовал мне. Достал, показал и дал подержать в руках, что имел в то время на зависть всему детприемнику. «Атлас железных дорог СССР». Пообещал подарить его мне. Только не сейчас, чуть позже. Ему уже все равно время прекращать изучение путей железнодорожных сообщений одной шестой суши, потому что могут переместить и напротив его сегодняшнего местожительства. За стену из красного кирпича, исклеванную чем-то непонятным, но таящим угрозу. Стену, за которой ни стука, ни звука. Только одинокая березка в трещине на краю смуглой крыши. Также смуглая, голая сейчас.

– Твой будет. Тебе еще понадобится, – сказал Колька, пряча за пазуху Атлас. – Скоро уже, скоро.

Это скоро приспело к настоящей весне. Не знаю, почему меня с Колькой на пару дней амнистировали, выпустили на волю. Хотя с Колькой более-менее объяснимо: свояк свояка видит издалека. Поля избавились от снега, сухо заветрело прошлогоднее бурьянное пустозелье. Подошло время пахоты и сева. Детприемниковский конюх дед Мартын наметанным крестьянским глазом приметил и выбрал среди нас такого же, как и он, пахаря и сеятеля.

Это, конечно, был Колька. И сегодня я удивлен безошибочности детприемниковского конюха, почти мистическому нюху деревенских мужиков. Наши воспитатели и надсмотрщики почти все были с высшим педагогическим или военным образованием, удерживали нас подчинением и страхом неизбежного наказания, согласно государственным уголовным уложениям, законам и кодексам. А тут какой-то зачуханный сельский дедок, путом подпоясанный, конским потом и навозом пропахший, окинул лишь глазом нашу шайку-лейку и сразу же унюхал, кто, как и чем дышит. Кто не боится и кия, а кому достаточно и кива. С порога призначил в помощники себе моего друга Кольку.

Позволил быть вольным подле него и мне. Хотя, не без того, в то время я подумывал уже, не дать ли мне лататы, на встречу с моей Аляской. Потому что ничего хорошего впереди мне не светило. Только подконвойное возвращение туда, откуда я бежал. И я был готов – крест на пузе, зуб даю, век свободы не видать – вновь к бегству.

Когда-то я имел нахальство сказать: в наших глухих и болотных полесских селах, что ни старик или старуха – то Фрейд или Юнг с их психоанализами. Сегодня, хоть и сжав зубы, готов повторить. Крестьянская жизнь в непорывной связи с вечностью, натуральностью и неповторимостью и новью каждого мига, чтобы приноровиться и устоять в болотно-трясинной зыбко-

сти, способны родить и вымудрить не только европеизированный и рафинированный психоанализ, но многое и многое иное, необходимое или совсем не нужное сегодня человеку.

И создала, родила. Нас с вами, растерянных и беспомощных перед жизнью, землей, планетой, искалеченных временем, заставив вспомнить о подпорках, костылях, чтобы вновь начать учиться ходить не только за подаянием, Надеяться только на себя, как наши предки. Да, темные, не знающие ни языков, ни грамоты, но обучающиеся у безжалостной и беспощадной к ним природы. Доверяя и надеясь лишь на то, что входило в их существование вместе с жизнью и смертью отцов. Воспроизводилось наследственно. Иного знания и науки не было и не могло быть. На человека нигде и никто не учит. Это от земли дома, матери и отца. Никто не учит крестьянина на крестьянина, мужика на мужика. Хозяина. Есть, так есть, а нету – в президенты надо подаваться.

В Кольке на мужика, хозяина и вековую крестьянскую работу было под завязку. Делиться, передавать и передавать следующим, кто только-только родился, готовился объявиться на Божьем свете из-под плуга, косы и топора. Борозду он вел как сегодня сверхзвуковой самолет пашет небо. Но не по-птичьи, точечно и белесо облачно, а черноземно, стальным языком впрессованного в плуг нарога-лемеха, из-подисподу, челюстно, противостоя неподатности и упорству слежавшейся за зиму земли, по которой Колька ступал босиком.

Так ему, наверно, после содержания под присмотром и замком пожелалось ходить, ощупывать вольными ногами нагую землю. Пожелалось после пары запусков плуга в почву снять и сорочку. И что удивительно, полураздетый, он очень смотрелся, подходил, ли’чил невспаханному еще полю, как ранняя и поздняя куропатка, выбирающая себе гнездо или шнурующая меж трав в поисках поживы. Поле было уже серенько и слегка загарно обласкано солнцем, такую же солнечную мету, с прошлого, наверно, еще страдного сезона, несмотря на осеннее и зимнее комнатное удержание, хранило и Колькино тело. Смуглявое и жиловатое, будто из конопляных веревочек, не натуго еще сплетенных, подвижных и живых. Так же живо и подвижно покачивал перед ним склоненной головой и напряженным крестцом буланой масти коник, по-весеннему радостно и освобожденно пуская ветры. Словно припаянный до шероховатых еще зимних ручек плуга, похоже, не шел, а плыл, купаясь среди поля в парном мареве разневоленной земли малолетний пахарь. Поодаль за ним степенно вышагивали негроидно окуренные грачи. Ставили точки, выклевывая вертлявую в пластах земли добычу.

Я тоже попытался встать за плуг. Но он никак не слушался меня. Пьяно кривил, выскакивал из борозды, вилял по колтуново сопревшей за зиму траве. Мне доступно посоветовали приглядывать за грачами. Занятие, за ко-

торым я и провел тот весенний сельскохозяйственный день. Хотя душа рвалась свершить что-то более полезное для родины, чтобы не было мучительно больно к вечеру. Я впервые почувствовал землю, как и Колька, босо ступив в борозду. Земля была уже теплая, будто охлажденная под рушником у образов буханка свежеиспеченного хлеба. Но вкусить того мужицкого хлеба мне позволено было только вприглядку.

Колька же насыщался им на полный рот. Словно только за ним и был откуда-то ниспослан на планету Земля. Маленькая, смугленькая, как отлитая из неземного металла, человеческого рода пчела за плугом в борозде Млечного пути. В казенной одежке, занятая пересозданием или созданием самой себя. На роговом крючке его плуга зависла капелька мироздания. Пахарь, пойманный плугом и землей, одновременно был и ловцом их.

Итог и конец того дня: Колька попросился в кабинет начальника детприемника. Он, как и я, созрел для воли и раскололся. Признался, откуда он, где живут его мать и трое еще братьев, меньших. К ним просил как можно скорее эвакуировать и его. Но начальник ответил, что это будет тогда, когда отсеются здесь. Колька согласился: за добро надо говорить спасибо и неволе, и дьяволу. Он, Колька, пережил еще одну пору года. Сытно перезимовал на казенных харчах в то время, как его голые и босые братья, еще не доросшие до того, чтобы двинуться за ним по детским приемникам-распределителям, пухли от голода возле родной матери, в родном доме.

Теперь наступил черед впрягаться в колхозный плуг, в полную силу пахать, сеять, косить. Держава оказала милость. Зиму поила, кормила, в городское одевала. Сейчас же, по теплу, после дармовщины время стараться и самому. Кормить мать, братьев, если они еще не перемерли за зиму, тянуть на своем горбу и колхоз.

Детприемниковские эвакуаторши повезли нас с Колькой в один день, только в разных направлениях и в разном настроении. Меня, словно покойника, на похороны – таким казалось мне возвращение в родной чужой дом. Кольку – как на свадьбу: на встречу с братьями и матерью и на открытие очередного крепостнического сезона на родной земле, с которой он уже до кончины был государственно помолвлен и коллективным хозяйствованием приговорен. В местечко, город Новозыбков, славящийся огурцами, огурчиками – возбужденно делился со всеми в детприемнике Колька, но почему-то обминая, остерегаясь подойти ко мне. Мне же похваляться было нечем и не с руки.

«Атлас железных дорог СССР» Колька зажал. Даже близко не показал мне. Наверное, чувствовал – может еще понадобиться в недалеком будущем самому или приберегал для младших братьев. А может, такой кулацкой, хуторской была его натура, не зря же ходил в детприемнике сразу под двумя

взаимоисключающими прозвищами: Кацап и Хохол. Обе оскорбительные, принадлежащие болоту – низшей касте беспризорников, так называемых мякинщиков, более склонных к нищенству, побирушеству, чем воровству. В некоем роде я сам ближе к мякинщикам. Мог, охулки на руки не поклав, и украсть. Тянулась рука. И воровала. Но стыдилась и переживала душа, не разбуженная еще и не привычная к крадежу и злодейству.

Судьба могла распорядиться мной и так, и этак. Иначе мне было не выжить. Звериность беспризорничества уже сдвинула мне глаза, и руку уже повело. Она была готова хватать все, что плохо лежало. Не хватало лишь практики. А еще – вбиваемое в сознание столетиями: не твое – не тронь. Не тобой положено, не тобой и взято будет. Грех, грех и грех. Пусть лучше сгниет.

Колька был неприкасаем ни злом, ни искушением чужого, словно защищен сверху изначальной вековой праведностью от греховности сегодня. Защищен со всех сторон, хотя уже принудительно, нищенством и беспризорничеством, надкусан. Но это была еще не его детская надкусанность и порча души и тела. Надкусанными ложью, стальными фиксами столетия были все, за малым исключением, живые. И я поживу был мечен теми зубами. И пусть сегодня многие говорят, что смогли, избежали и не поддались кариесу стального времени – врут. Приспосабливались тогда, приспосабливаются и сейчас. Это уже не люди, не человеки. А я искал среди людей человека. Верил, что где-то он все же есть, должен быть. И чем больше верил, тем глубже обманывался, впадал, сам того не сознавая, в ересь, опутанный обманом, надеждой и верой. Бегал, бродяжил, пытаясь ухватить за хвост призрак, бродящий по Европе, и кого-то за бороду. Не за этим ли упрямо и уперто, как истый полешук, гонюсь и сейчас, познав и отвергнув вечное: нет ничего ужаснее слепой веры и неверия и встречи с самим собой, прежним и настоящим. Это все равно, как кусать себя во вчерашнем дне, словно Жучка собачку, – за больное место, за срачку.

Между тем за Колькой, припоминая те времена, ни тогда, ни тем более теперь, загнанности желания журавля в небе я не ощущал. Наоборот, в какой-то степени в друидном оцепенении, простотой желаний он утверждал одну, но высокую истину: необходимость и бесспорность бегущего дня и наличие в нем себя. Утверждал неколебимо, хотя и беззвучно, молча и твердо, нигде и никогда не высовываясь, что многие истолковывают как серость. Но эта серость была той, про которую сказано: и станут последние – первыми.

И в самом деле, последний или первый – это, с какой стороны посмотреть. Кто, где, куда и почему первый. Достаточно вспомнить посмертную судьбу некогда первых палачей и людоедов страны. Так, на обед в столовую Колька умудрялся, хотя шел первым, попасть последним. А вот дрова колоть для наших печей – тут никто не мог его опередить. Не было такого, чтобы на древотне ему не хватило топора.

Узенькая, очень узенькая и тоненькая сегодня у нас кладочка между первыми и последними. Видимая только издали и по прошествии времени. И эта узость, не оптический ли обман того же времени и нашего глаза гонят, вынуждают меня еще раз пробежаться по заросшим травой и кустами стежках, на которых я в детстве до крови посбивал ноги. Поклониться и сказать спасибо за науку выбирать свои, и только свои кладки, ходить по ним и видеть. Заглянуть в глаза были и небыли, мигающее-манящему и призрачному, от чего так сладко щемит и замирает сердце. Понимаю, не встретить, хотя бы лишь почувствовать Кольку – значит почувствовать и себя. Ощутить то, хотя и горькое, но лучшее, святое, что было когда-то неизвестно кем наследственно подарено мне. Что дорого, как может быть дорого только невозвратимое. Невидимо потерянное, как теряется среди рассвета в неустойчивом тумане шкодливый бычок с медным боталом на шее – на все стороны лишь тоненький звонок колокольчика по росному выпасу выгона.

За давно уже истаявшим, затерявшимся эхом того колокольного звона подсознательно я бегу, всю жизнь, чем занят и сейчас. Хотя сам звон, от которого прежде закладывало уши и слезой заволакивало глаза, я уже выплакал, когда детприемниковская эвакуаторша повезла меня в жизнь, которую я напрочь отрицал. А моего друга иная уже эвакуаторша – в заповедность его отцов, в продолжение их рода, на посевную. В древнюю и горемычную слободу-посад-местечко ЗыПкое-ЗыПков-Новозыбков. Согласно географии – поселение в Восточно-Европейской равнине на пограничьи России, Беларуси и Украины, созданное, восставшее из зыбкости почти наших, полесских, трясин и болот, чем, наверно, и объясняется моя привязанность к Кольке и его краю.

В этой приязни к неведомой и, кажется, чужой мне земле было и оставалось что-то необъяснимое, едва ли не мистическое, что не дано нам разгадать наперед, как кладочка прокинется, имя наше отзовется во времени и дали: веками, угнувшись, ходим, кружим вокруг себя, имя и звания своего не помня, а чужое милуем. И только когда уже ничего нельзя переменить, когда нас начинает выпрастывать и подзывать могила – горько каемся, прозревая и жалуясь на нашу глухоту и слепоту, за безоговорочно принятые нами научные историю с географией, якобы бесспорно наши, а на самом деле и не ночевавшие рядом с нами. Не ночевавшие, но за мнимость ночлега оплаченные тридцатью серебрениками.

Кто знает, не исходя ли из этого, возможного, но не состоявшегося, эвакуаторша задобрила меня еще по дороге к поезду тремя рублями, чтобы я не бросился следом за своим другом в зыбкую и туманную российскую Восточно-Европейскую равнину. Пообещала еще десять рублей, если довезет меня до дома и сдаст милиции. Так я получил свои первый тридцать серебреников за нестроптивость – добровольную сдачу в плен себя и своей души. Только мне в то время было не до чего. Даже собственная глупость бегов и готов-

ность немедленно умереть покинули меня, заслоненные обидой и несправедливостью судьбы. Это осталось во мне навсегда и с огромной силой ожило и пробудилось на кроваво пролегшем передо мной языке сегодняшней дороги. Под крик отчаянья своей памяти я въехал в теперь мой и только мой Зып – Зыпков – Новозыбков.

Что же на самом деле было у него мое, кроме воспоминания и Кольки? Стоило ли столько лет огород городить. Оказывается, стоило. Хотя бы потому, в какие дивные и прихотливые игры играет наша память, какие коники выкидывает. Зыбь моя была совсем не головная, а исторически древняя, как и география, познаваемая мной в товарняках, через голод и холод. Может, потому мне сегодня так неприкаянно и больно. Стучатся в душу история с географией. И никак не могут достучаться.

Новозыбков географически принадлежал Брянской области. Не знаю, почему и с чего я в детприемнике выдал себя за ее жителя – путал следы всесоюзного розыска – соседнего с Новозыбковым района, Клинцов. Что-то родственное слышалось в названии и этого города с моими родными Калинковичами, а неподалеку от него – местечком Клинск, где я в затоке реки Птичь наступил на что-то или кого-то очень большого и скользкого, наверняка рыбу. Она встрепенулась и уронила, опрокинула меня и, видит Бог, с той поры я так и не поднялся. Ко всему прочему, все железнодорожные станции – Брянск, Злынка, Почеп – колко впились в мою беспризорную память, чуткую к познанию и открытию мира.

На Брянщине и на собственной шкуре познал, что такой быть дичью, что такое настоящая милицейская охота. Засады, гоны, погони, жестче и лютее, чем на зверя. Потому что человек за человеком издревле привычен охотиться азартно и изобретательно. Где-то там, на брянских станциях и в самом Брянске меня без дай-причины, просто из интереса или подлости, желания не проминуть лежачего и ползущего, чтобы не наступить на него, всерьез гнали, травили собаками, душили и били. И я там научился проделывать то же: за кем-то гнался, кого-то догонял и бил, согласно присказке: голый голого гнетет и кричит: сорочку не порви. Готовился к неминуемому будущему.

Само собой ясно, что ни для кого и ни для чего, сопливо приязненного или мечтательно возвышенного, в моей тогда отравленной и перевернутой памяти места не было. И все же, может, и преступно воровское, как повеление самого злодеяния, зов и приказ свыше, промаргивалось, – оборотиться и посмотреть на дело рук своих,заглянуть в ящик Пандоры, в котором все и навсегда сохраняется, доброе и плохое, чтобы сохранен был сам человек. И эти греховность и святость открытой раной, третьим глазом, тихим свербом идущие за нами с рождения, а скорее с зачатия, следовали повсюду со мной и за мной. Нет, кошку, как и Адама с Евой сгубило совсем не любопытство. Смертный червячок, достающий нас в могиле, но и до могил истошающий нас.

Но достоин ли был этот зуд, сверб той действительности, в которой я оказался, достигнув желаемого, обнажив его. Любая нагота больше разочаровывает, нежели чарует, как и все свершенное и состоявшееся, о чем так светло чисто мечталось. Явь была воплощена довольно претенциозно. С посягательством на зарубежность, французистость – щит, в посеребренном окружении которого крестообразно сложен зеленый сноп конопли и золотой жезл Меркурия. Герб города Новозыбкова на въезде в него. Сразу же вот такой выразительный славянский воляпук, намек на толстые отечественные обстоятельства – неоспоримую известность того, что здесь произрастает и производится: конопля и славные пеньковые веревки и канаты. А в дополнение к ним – конопляное масло, шкуры животных, хомуты, дуги. Знай, чужеземец, наших.

И сквозь это, давнюю туманность времени, передо мной вновь предстал мой старый товарищ Колька. Через напоминание о веревках. Пророчески прошлым и будущим, свито веревочными были его еще недоспевшие детские руки, таким же, пряденым из конопляно свитых веревочек был и сам он, его тело. А главное – врожденная естественность, достоинство и приспособленность к крестьянскому труду, вопреки неволе и беспризорничеству. Разумение, понимание себя и своего, никем не занятого, свободного места в невольничьем мире труда. Места, добытого, отвоеванного столетиями. Основателями древнего посада Зып-Зыпкое, по-нашему – болото, трясина – были староверы, бунтовщики против официального православия. Они же – защитники этой земли от нашествия шведов, за что посад был передан специально созданной конторе раскольников и таким образом избежал гнета крепостничества древности, но не сегодня.

Но самое большое открытие и неожиданность не в этом. Новозыбков, как и все попутные ему Клинцы, Почепы, Злынки, в свое время входил в Великое Княжество Литовское. Потому, наверно, меня так тянуло к ним. К своей прародине, отчизне, где остался маленький кусочек земли, не испробованной моими ногами. Здесь следы моих предков. Земля полнилась и дышала их прерванным дыханием. Вздыхала, смеялась и плакала, тленно стенала, укрываясь их вековым прахом.

Так я образовался и подковался значительно позже – после моего путешествия через три страны и одно былое ханство. Что-то напоминающее познавательно горькое путешествие Радищева из Петербурга в Москву – из столицы в столицу. А мне через два столетия выпала одна толька серая сермяжная провинция, хотя и устремленная, похоже, в будущее.

Компьютерно просветился, что «в 1986 году Новозыбковский район был заражен радиоактивными осадками, принесенными с места аварии Чернобыльской АЭС. В первый год после аварии средняя эффективная доза об-

лучения в Новозыбкове по данным международной экспертной группы составляла 10,0 МЗВ (1,0 бэр). Мощность дозы гаммооблучения на территории города в мае 1986 года достигла 5000 мкр/час и больше».

Что конкретно кроется за этими цифрами и знаками – для меня научная или псевдонаучная абракадабра, чтобы сбить с толку любопытствующих и въедливых. Мне же подсказка и объяснение, почему я так свободно, без встречного и попутного транспорта, ехал по шоссе Гомель-Новозыбков – шаткой кладочке к единому братскому погосту. По земле уже с вырванным кровавым языком.

И об этом я узнал из тех же источников, о которых палач, отрубив голову, вытирая топор, недоуменно произнес: и на все у них есть ответ. Горько все мы припали сегодня к электронному знатоку. Как трутни к пчелиной матке, как наши политики и вожди к народу. Всем всегда и на все – ответы, ответы, ответы. Чтобы к этому еще что-нибудь и делать умели и хотели.

Сам же город Новозыбков, щедро удобренный мирным атомом, не впечатлил меня. Я не мог и не хотел его глубинно познавать. Ничто так не разрушает нас, как встреча и исполнение детских желаний и мечтаний. Несовпадение и разочарование абсолютное, как расставание с теми же страшилками, что мы носили в себе в доверчивом младенчестве. Потому я не позволил городу овладеть мной или же окончательно меня отринуть. Скользя проскочил насквозь, будто жук-плавунец или водяной комар, с уютом проживающие на небольших и не очень быстрых речушках, у которых я так люблю проводить время и наблюдать за теми, кто там обитает. И жук-плавунец, и водяной комар из породы скользунов, в чем-то, может, схожих с нами, полешуками. Поселяются под крутым торфяным берегом реки, невидимые, медлительные, но проявляются неожиданно, внезапно. Будто мгновенно созданные из задумчивой хмари нарочитой глубины торфяного дна, отбойного кружения воды, замирают на краю ее завихрения, словно слушают речку, осмысливают ее создание и выискивают создателя в зеркале воды. Опасливо, словно котенок перед тем, как начать пить молоко в блюдечке, обязательно попробует его лапой, проверяют суставчатыми ногами воду. После чего, оседлав течение, скачут на нем во весь опор, неуловимо перебирая тонкими костылями ломких, худосочно паутинчатых ног.

И только поверив удержанию воды, ее упругости и прочности, стремительно и размашисто, подобно конькобежцу, сорванному со старта разрешающим выстрелом пистолета, расталкиваются, словно стрекозы, парят над водой или на воде. В два-три маха – глазом не успеваешь моргнуть – преодолевают из конца в конец речушку, не морща и не вминая поверхность воды.

Молодцевато останавливаются в тени под прибрежным навесом склоненных трав и лоз, закрепляя и утверждая вечный покой воды, при этом сознавая, что все это зыбко и обманно – пока они на воде. Вечность и покой – в них, в кратком до предела мгновении их жизни. А в ее отсутствии – только вода, неба и земля. Невидимое творение, переваривание их сущности. Они считают отпущенные им мгновения. Слушают прошедшие столетия и настоящий день и мир, теряющий себя, меняющий градусы, параллели и земные оси. За ними подглядывает пескарик, только вчера из ничего прозрачно, слюдно объявившийся, но уже кого-то жаждущий проглотить. Посинело-голодно лупит глазом на комарика, хотя тот совсем не по зубам ему. Да и зубов-то у него нет, и отродясь не было. Но рот наличествует, намек на него. А комар-скользун и в голове не держит бежать от него, наследственно согласен со своей земной участью.

Такое же согласие из-за всех разочарований, хотя и с примесью бунтарства, и во мне. И я, скрывая то и другое, пряча их, и сам прячась за ними, тихо проскользнул через город Новозыбков, как прокрался по обманно зыбкой своей памяти. Памяти ушедшей от меня, подмененной и измененной, потраченной не на завещанное и вечное, а на пустоту, хотя и бесконечно дорогую мне. И эта бесконечность пустоты сопровождает меня почти всегда. Я особенно остро осознал это после неудачной рыбалки на безымянном озере среди вековой дубровы

После сокрушительного бесклевья я решил пройтись по удивительно безголосому и хмурому дубняку возле озера. Дубы, будто помесь диких кабанов с мамонтами, присадисто коренастые, горбато выпуклые клыкастыми корнями. Но под ними никакого подроста – ни кустика, ни деревца другой породы. И земля голая, почти без травы. Словно и правда здесь жировали, спаривались дикие кабаны с мамонтами. А может, подпольно из глубины столетий паслись уцелевшие в полесских ночах слоны, скорее все же, мамонты. Пахотно опустошили почву. Ноги тонули в перепревших листьях и мягком заготовленном столетиями подзоле. Словно я ступил во что-то или на что-то зыбкое и еще полуживое. И только в одном месте среди этого подвижного и мрачного живого, меж раздвинувшихся дубов светлела небольшая, вроде глаза небес, задумчивая лунка воды с ярким отблеском лежащего на ней солнца.

Вода не пустила меня к себе. Подсознанием я почувствовал: если и суждено мне что-нибудь в ней, то лишь утопиться. Кто-то загодя подготовил мне здесь полонку. Касательно рыбы – оправдалось: ни хвостика, ни чешуйки. После такой полной неудачи я приметил, что в луночном глазу озера происходит что-то недоброе. Вода в нем начала беситься и плеваться, словно кипяток на сильном огне. Нечто непонятное происходило и с земной твердью, когда я ступил под молчаливую до этого тень вековых дубов. Они вдруг

встрепенулись и загудели церковным звоном, звуками пастушьих рогов и плачем жалейки. Похоже, я шел не по голому берегу, а по вздутой и не зарубцевавшейся памяти ожившего прошлого. По гати и трясине столетий, застояло прописанных в водной зыбке лесного озера, скрепленных ужиным сплетением дубовых корней.

Именно тогда, от этих молчаливых дубов, опустошенной под ними земли, возмущенного лесного озера я попытался познать предназначенное, казалось, только мне одному завещание.

Значит, в погоню за ним и все же немного сохраненной, хотя и неведомо где, как и кем укороченной памяти. Пока еще не совсем погасли и не покрылись пеплом горячие буквы, стремящиеся отлиться в слово. Не пошли по ветру белые листы прошлой или будущей летописи, из которой, если мне не дано прочесть ее полностью, может быть, будет позволено ухватить хотя бы одну-две буковки. Но я настырный и жадный, как наш сегодня век, жажду добиться всего сразу и немедленно. Все мы одной породы. Оголодали за столетия водомеры-жуки, комарики-плывуны на умытом кровью лице вечности, способной лишь бронзоветь да отрекаться от самой же себя.

Земля как текст, или Царицын, Сталинград, Волгоград

А можно и наоборот. Получится одно и то же, правда, в пространстве, но не во времени: что стеклом по камню, то и камнем по стеклу. Но здесь всегда на страже наша привычка перечить самим себе, делать и говорить мудро и заковыристо, как чесать левое ухо правой рукой через затылок. Или – сколько будет дважды два? А сколько вам надо? Очень уж гибкая у нас жизнь и наша присобленнность к ней.

Отсюда и угодливое поклонение перевертышам и переворотам, оборотням. Подлинное же имя не только человеку, а всему сущему одно и дается только раз, следуя высшему повелению и будущему предназначению поименованного, его духу и содержанию. Недаром говорили и говорят: как корабль назовут, так он и поплывет. В подтверждение этому, опасности играть и вольно распоряжаться именем – факт почти мистический. Адмирал Нахимов был великий флотоводец. А теплоход, которому не раз меняли имя, прежде чем остановиться на последнем – «Адмирал Нахимов», не просто затонул, а унес с собой на тот свет около тысячи человек. Это можно было принять за случай, стечение печальных обстоятельств, если бы и далее всё на воде, носящее имя Нахимова, не гибло, и моряки не остерегались бы плавать на судах имени великого флотоводца.

Вызывает досаду, если не возмущение, множественность имен города на великой русской реке. Кстати, сегодня перезагрузчиками нашей жизни высказано пожелание переименовать его снова, в четвертый раз. Само собой, идя навстречу пожеланиям трудящихся, вернуть городу имя их же палача и людоеда – Сталина. Что же, этому несть числа примеров: Иван Грозный тоже был в нашей стране в огромном почете. Его увековечили в кино, заказных помпезных пьесах и многотомных эпопеях, востребовав из ада.

Но это так, попутно об истории. А по существу, где-то среди двухмиллионного города притулилась скромная, почти никому не известная речушка Царица, додающая капельку своей неприметности великой русской реке. Эта тихая речушка дала имя поселению на своем берегу, которое позже услужливо и льстиво преобразовалось в псевдовеличественное Сталинград. А потом уже и вовсе в серое, лишенное плоти – Волгоград.

Теряют лицо и мозги, сбиваются с пути не тольки люди – города и страны, молчу уже о правителях. В двадцатом или девятнадцатом веке место им если

уж не за решеткой, то точно в психушках. Но, вопреки всему этому, я люблю этот безразмерный – сто километров из конца в конец – двухмиллионник на самой большой в Европе, как нам вводили в уши, реке. Есть в нем что-то роднящее с нашим Минском-Менском- Менеском. Хотя бы та же близость судеб речек Царицы и Немиги. Одну забыли, другу изувечили. Заковали в тюремные бетонные стены, забрали тюремными решетками. Над рекой Свислочь, как и над Волгой, сотворили насилие – отдали на откуп и совокупление толстым кошелькам, наладившим похороны и тризну истории некогда зарожденного здесь города, будущей нашей столицы.

Между двумя городами, Волгоградом и Минском, много общего и родственного – по кровавости судеб их жителей в годы Великой Отечественной войны и по ее окончанию. Эти города, как близнецы, из одного яйца рожденные. Повязаны одной пуповиной боли и заживания послевоенных ран – возврата и обретения убитого в войну сознания, памяти. Возвращали жизнь одному и другому городу те же, что и лишили ее – пленные немцы. Потому так и схожи, потеряться можно, одноименные прежде проспекты имени Сталина и Ленина.

Но это я опережаю сам себя. Я пока только-только из Новозыбкова. Еще не улеглось и не рассеялось разочарование от обмана несбывшихся ожиданий. Хотя, если искренне признаться, чего я ждал? Скорее всего, того, что всегда с нами и при нас – вечно зовущее, сказочное и неопределенное. Создающее нечто в несуществующих, манящих нас горизонтах – покатигорошковую даль, обозначенную бабушкиным клубком ниток.

И катится, катится тот клубок старушечьих самопрядных, из меня, ниток. И я современным покатигорошком в стручковом чреве моего автомобиля истаиваю, распыляюсь в чужом мне воздухе, в чужих горизонтах, присмотреться к которым не успевают глаза. Все безлико и бездушно. Хотя я прочно привязан, приклеен к земле липкой на солнце лентой шоссе. Словно бабьим летом на тоненькой смуглой паутинке, парашютно слитый с небом, непредсказуемостью воздушных течений, уцепистый в своей однодневности, бездумной и безумной, – бродяга и странник, летящий в свой исход, каждое мгновение все ближе и ближе к аду или раю, паучок, невидимый человеку и мирозданию.

В каком-то роде, частично я еще и паучок-богомолец. Не потому, что очень уж набожен, внешне схож. Всяк идущий в дорогу должен избрать себе попутчика, образ на всякий случай, в котором он хотел бы предстать неведомо перед кем и неведомо когда и где. И я удвоен, и не только в дороге: один дневной, второй – ночной. Светлый и темный. Памяркоўны днем. Ночью, подобно болотному гаду по весне, сдираю, избавляюсь от задубелой за зиму кожи, отвязываюсь от пенька или колышка, к которым цепью или веревкой

мяня припнули навсегда к этой планете. Ночью я бегу от нее и от себя, ухожу в иные миры.

И это не сон, не сновидение во мраке ночи, окутавшей меня. Сна вообще ни в одном глазу. Не спится потому, что день прожил, а вспомнить нечего. Так было вчера, так же и сегодня. Так будет и завтра. Все предсказуемо и едва ли кому интересно. В любую минуту меня можно стереть, обезличить, подменить или заменить, потому что вокруг неисчислимо моих копий. А земляной червячок, с которым я бегаю на рыбалку, уже точит меня, поедает то, что считается моей аурой.

Я выразительно и ярко вижу ее, когда сильно, до боли в висках и шума морских волн в ушах, зажмурюсь. Лишь местами она, моя аура, нетронута и не сокращена, небесно голубая, спокойная или весенне-зеленая. А чаще приливно кроваво багровая, с отболелыми черно-густыми закрайками. Чернь – знак мне, упреждающий стон прозревшей прошлым или будущим моей ичезающей и меняющей цвет шагреневой шкуры.

И я в объятиях бессонницы, не противясь, покидаю этот мир. Лунными дорожками, бликующими останками догорающих и сгоревших звезд, под укоряющий взгляд звезд, еще живых, иду во Вселенную, к Млечному пути и по нему – в дальний космос. К планетам еще неизвестным, нетронутым даже стеклышком астрономических телескопов.

Миров давно открытых и известных сторонюсь. Находился уже по Марсам и Венерам, в детстве еще истоптал ноги. Наведываю их, когда уже край необходимы, скажем, золото или алмазы. Мне уже проели плешь: золото на земле инопланетного, марсианского происхождения. Но оно действительно есть на Марсе. А Юпитер из-за огромной температуры и давления плюется алмазами. И я время от времени посещаю их, чтобы пополнить нашш отечественный золотой и алмазный фонды. Понимаю, других возможностей, как только попользоваться галактическим богатством, украсть или попроситьпостарцевать, подняться с четверенек, – нагнули нас, все нагнули – встать на ноги у нас нет. Но это я опять к слову, пока крутятся колеса и набегает уже чернильным асфальтом на меня дорога.

В космос, иные миры, как до реки, воды и рыбной ловли, ведут не жадность, не желание разбогатеть, поймать космическую рыбу. А что – сам не знаю. Хочется – и все. Хочется идти туда – сам не знаю куда, найти то – сам не знаю, что.

И такая простоватая неопределенность желаний у меня с той поры, как я себя помню, а может, и не помню еще. С первого туманного просверка мысли, похоже, и не моей. Сомневаюсь, чтобы еще в детстве я был такой осмысленно целенаправленный и умный. Желание действовать, куда-то идти,

бежать, плыть, лететь пробудилось, как только я где-то замер на месте, оказался один на один с самим собой. А потом, вместо прозябания в родном и очужевшем мне доме, выбрал беспризорничество. Пошел по белу свету искать самого себя, не зная, что в жизни могут быть и иные, чем горе с горем, беда с бедой и отчаянье с отчаяньем, встречи. Хотя считается, что недоля с недолей – это уже доля. Толька наша белорусская доля никак не поймет этого. Такие мы уже есть, как были и, наверно, сохранимся в своих болотах и торфяниках для будущего. Торф сохранит: в его толще как-то нашли средневекового рыцаря верхом на лошади. Просидел, как живой, столетия не слезая с лошади, обереженный вместе с лошадью, неподатный тлену, хранимый нашим вековым полесским торфом.

Не за счастьем я рыскал по белому свету. Горьким был мой хлеб. Но и такого не имели многие из тех, о ком говорили: мать померла, батька ослеп. Но мало кто из них навсегда бежал из родного дома. Так что на бескормицу и отсутствие куска хлеба нечего все списывать. На свете есть еще и другое, крайне необходимое и взрослому человеку, и ребенку. Но не спрашивайте – что. Не знаю, а гадать не буду, тем более сегодня, когда уже вдоволь хлеба и кое-чего к хлебу. Боюсь переговорить себя, сглазить.

Не потому ли я сегодня так упрямо и настырно ищу просвета в своей тоске и одиночестве, со всех ног бегу навстречу несвершенному. Почему мне не сидится на одном месте, в стенах городской квартиры, среди каменных домов и асфальта – в даль, в даль, в дорогой и манящий меня земной Млечный путь.

…Обычно это тихий, еще не истоптанный берег речушки. Хотя таких сегодня уже почти нет. Сохранилось больше недоступных и невеличких, на одного-двух рыбаков, озеричин, созданных добротой и улыбкой далеких миров, метеоритами или могучим плугом пахаря и сеятеля планеты – ледником. Их охранительному мраку вечности я доверяю себя. Если здесь кто и есть из прежних времен, я его не вижу, как и он меня. Меня словно нет, есть лишь тихое предчувствие себя. И такое далекое, из таких глубин столетий, что и представить невозможно, не собрать и сложить во что-то единое, действительное и живое.

Мне по нраву эта моя распыленность, посеянность по свету. Недаром все же человеку дано столько семени. Неспроста еще в начале прошлого века известный русский поэт К. Бальмонт сетовал на то, что он обязан оплодотворить всех девушек мира, а его может хватить только на половину Европы. Хватило, хватило бы и на всю планету.

На тихом берегу реки или озера в прозрачности тишины и покоя мне не надо бороться с бессонницей, бросаться в бегство от самого себя. Я получил, нашел себя и свое, то, что так долго искал. Все это здесь и при мне, подо мной и надо мной. И я ни на что еще не потрачен, единый и цельный в

лоне матери земли, убаюканный колыбельной воды, под стражей недремных и ночью шепотных деревьев, у завязанной узлами памяти их корней, на которых нисколько не жестко лежать моей голове. Я в их памяти, памяти звезд ночного неба.

Взбесившееся стадо многокрасочных металлических монстров, автоболидов со всех сторон кольцует меня, спускает с небес на грешную Землю, голосящую коломуть механического роения, дает понять, что и я из этого стада, потому надо толкаться – работать локтями. Земля не только грешная – наполненная, скоростно раскрученная колесами и отработанными газами механических зоилов, неутомимо жующих и пережевывающих распаренный, согретый солнцем черный асфальтный битум, порождая смердный смог. Этому смогу способствует некачественный, разбавленный отечественный бензин, придает градуса и накала нетерпение и раздражительность водителей, так что он почти одушевлен.

Трасса южная, курортно-отпускная. А этой порой как раз заканчивается летний сезон пролетарского большинства населения страны. И все это отдохнувшее большинство – навстречу мне на «жигулях», «москвичах», даже горбатеньких «запорожцах». А попутно – на господский бархатный сезон на сановных черных «волгах», а иногда и на брезгливо не смешивающихся с ними иномарках уже, наверно, не советского пипла – джентльмены, денди и мены. Правда, чаще бычье, качково скроенные. Добавляют страсти безжалостным гонам дальнобойные фуры.

В свое время Михась Стрельцов обозначил свое деревенское поколение, ринувшееся в город, как сено на асфальте. Сегодня о нем можно было бы сказать: килька в банках в собственном соку, а случается, и в томате.

С экранной киношной скоростью, двадцать четыре кадра в секунду, и упрятанным в них двадцать пятым, рассчитанным на пробуждение инстинктов, трасса крутила дорожные, сплошь еще советские фильмы. Мелькали прибранные, приближенные к шоссе кукольные деревеньки, с яркими заборами, выкошенными подступами к ним, цветами в палисадниках и возле завалинок прямо на улице стоящих домов, крытых шифером, черепицей, а то и покрашенной жестью. Все напоказ и умиление властительного глаза проежающего мимо начальства. Это, по-видимому, и был тот пресловутый двадцать пятый кадр, нарисованный современными потемкиными провинциального разлива.

Остальные же двадцать четыре кадра – деревеньки, отбежавшие от основной трассы в затянутые маревом горизонты, уже не такие привлекательные и услаждающие глаз. Преимущественно осиротело вдовьи с заплаканно-скорбными окнами скособоченных, потусторонне уже вросших в землю хаток под

камышом, соломой и дранкой не с начала ли прошлого века, 1913 года, на который не переставала равняться советская власть.

Что ни говори, а большим разумником был любовник Екатерины второй светлейший князь Григорий Потемкин. Одноглазый. Но из эпохи мракобесия показал, как надо вешать лапшу на ослиные уши. Хотя размаху не было. Создал лишь несколько пейзанских игрушечных деревень. Коммунисты на его фоне куда старательнее, с чисто большевисткими умением и страстью, как мухоморов в грибную пору, понавыращивали на бойких местах слепящих глаза картонно-пейзанских домов, деревень и даже городов – всю страну так по-темному светло сотворили. Дух захватывает.

Только этого духа, запала не хватило им на дороги. Особенно это бросалось в глаза, когда пошла уже моя трасса Москва–Волгоград. Я и раньше слышал – это нечто еще то, но представить не мог, какое это то. Сразу же понял, почему матрос, партизан Железняк, шел на Одессу, а вышел к Херсону.

Таких буквально вражеских, белогвардейских засад и препятствий, ям, выбоин, стиральных досок и, если не противотанковых, то противопехотных провальных траншей, рвов, надолб, бугров и впадин никогда и нигде не приходилось преодолевать. Даже в пешем передвижении по диким делянкам безобразных леспромхозовских вырубок, в борах, где шли окопные партизанские бои. Уверен, Мамаю с ханом Батыем дорога на Русь давалась легче, несмотря на полное ее отсутствие.

Дома я лишь однажды и то в малой степени изведал нечто подобное. По весне, когда одтаяла земля, пустили броды и гати по дороге к моей родной деревне, до которой с 1913 года добирались лишь на своих двоих да на санях или телегах. А немцы в войну – на танках и только зимой. Я выдрался из очередной топи, трясинно застойной грязи. Остановился, чтобы перевести дыхание и придти в себя. Спросил у неожиданно появившегося, словно из болота или преисподней, дедка: как там дальше с дорогой, проеду ли. Дедок обошел вокруг моего, утратившего человеческое лицо, по крышу в грязи автомобиля, строго и с нажимом спросил:

– А машина казенная или своя?

– Своя, – уныло ответил я.

Дедок словно ждал такого ответа, даже радостно подскочил:

– Тогда нет. Не проедешь. Нет, на своей ни за что не проедешь.

Мудрый был старый полешук, не дед, а совет министров Я вспомнил его на трассе Москва – Волгоград, прыгая в моем автомобиле, будто в телеге, запряженной одышливым колхозным мерином с больной селезенкой. Такого рассудительного дедка да в Кремль, в администацию президента. Если бы коллективно не придушили до заката солнца, он бы показал, как надо свободу любить. Дураков бы явно стало меньше.

Но в то время мне было не до таких глубоких и умных рассуждений. Свинье не до поросят, когда ее смолят. Я прыгал над черной лентой асфальта, как рыба на крючке. Но упрямо двигался вперед. Как всегда все и всюду, нарекаем, грешим на судьбу, черта и дьявола, а сами без мыла туда, куда собака и носом ни ткнется – пригрезившийся рай на самом деле чаще хуже ада. Призрачный обман куда управнее и ухватистее старушки с косой – настоящей хозяйки и в доме и на вечно зеленом луговом прокосе, и в поле. Может, потому мы из века в век преклоняем колени и склоняем голову перед призраками и идолами и не обращаем внимания на тех, кто рядом с нами.

И я отправился в рыбацкое паломничество от родных осин и лоз в край далекий и чужой, в самый пуп татаро-монгольского ханства, где рыбы немерено. И она жаждет, чтобы ее быстрее начали ловить. Так меня соблазняли рыбалкой мои пропащие и помешанные на рыбной ловле друзья и товарищи по счастью или несчастью, которых сегодня развелось, как собак нерезаных. И как обычно: численность растет – смысл теряется.

Занятие это, конечно, древнее. Но занятие, а не забава. Обязанность добытчика и кормителя, переродившаяся в развлечение и хобби. И не из дешевых. На него сегодня работает отдельная и весьма прибыльная индустрия, производящая не только рыболовные причиндалы и устройства, но запахи, ароматы, любимые рыбой. Приобретать это в состоянии далеко не бедные люди, которым, впрочем, сама рыба ни к чему. Они ловят ее и опять отпускают в воду. Таков сегодня круговорот рыб и шизанутых в природе.

Не буду скрывать – и я из них, хотя и не совсем. Многие из моих сотоварищей – люди не страсти, а чего-то несложившегося в жизни, беды. Невостребованые ни семейно, ни служебно. Они тратят себя, иногда с вызовом, замещают забавой жизнь. И это касается не только рыбалки. Обходных маневров, конечных станций и жизненных тупиков неисчислимо.

Так мы без Фрейдов и Юнгов медитируем, релаксируем, пытаемся уйти, скрыться в собственных психоанализах, в иных, более приемлемых занятиях, мирах. Бегство, догонялки и погони не нами и не в нашем веке придуманы. Это уже генное: всюду хорошо, где нас нет. Отсюда погоня за жар-птицами, скатертями-самобранками, поиски Беломорья. Повальное бегство в революцию, в бунт. А в результате не добровольный ли и также повальный исход в ГУЛАГ, с конечным переходом в эвтаназию через короткие проталины оттепелей, эйфории энтузиазма и разрешительно культивируемой романтики.

Такой была братская могила судьбы поколений и эпохи. Прощание и избавление миллионов и миллионов от бредущего по планете призрака, в которого веровали, как не верили самим себе. Расставались с той верой весело. Как водится у нас на тризне: хоронили тещу – порвали три баяна. А потом по-

няли, что это не прощание с покойником, а реанимация его, рождение нового, натурального и самого настоящего уже опиума народа. С затянутой на годы ломкой и вечным уже похмельным и постпохмельным синдромом.

Выходили из них единицы, и то беспамятно. Всем сразу стало неуютно и тесно, муторно и душно в четырех стенах собственных свободолюбивых кухонь. И тогда сам собой сработал закон домино. Былые шестерки обрели силу и деньги, пошатнули пусто-пусто, которое тоже не ловило мух. И далеко, далеко разнесся костяной грохот мертвого пластика, прежних винтиков. И вновь пошли по независимым уже пространствам и далям одним днем сотворенные беспризорники, числом не уступая, а то и превосходя послевоенных. Начались коллективные суициды, расцвел сатанизм и черная магия, секты и сектанты – уход и бегство в никуда, погони за никем и ничем.

Поколение за поколением на том и этом свете под свист не знающего ни милости, ни устали кнута вечности. Эта дремлющая в салоне моего автомобиля вечность наших стежек, большаков, гостинцев торопит и подгоняет меня. Куда, к кому, зачем? Я давно и долго собирался в эту дорогу и все откладывал, откладывал. Теперь же отчаянье родного края, невидимый и неслышимый стон и плач его вынудили решиться.

В вожжах машинных скачек по полуденнмому расплаву асфальта через автомобильное стекло я пытаюсь рассмотреть и принять участие в чужой жизни. Но она в продолжение всей дороги, может, из-за скорости, недоступна мне и однообразна. Одно лишь кажется, чем дальше от родных мест, тем меньше тоски на лицах людей и на окрестности. Хотя особой бодрости тоже не ощущается. Повсюду – как бы ожидание и пречувствие неведомо чего. Хотя, скорее, это ожидание и предчувствие во мне. Наша душа прозорлива, в чем я не раз горько убеждался.

Вот и сегодня, когда я говорю об этом, мы ударили во все колокола и закричали со всех алтарей: люди, будьте бдительны. Земля вступила в полосу катастроф. Но полоса эта ощущалась еще до Чернобыля. С приходом Михаила меченого уже начали звучать архангельские трубы будущих «Курсков» и Фукусим. Перед самым Чернобылем, повторюсь, в ночь на Вербное воскресение мне приснился мясокомбинат. Множество подвешенных на железных крюках говяжьих туш. Столько я видел лишь однажды, в студенчестве, подрабатывая на прожитье, и больше нигде и никогда. Почему же это запечатлелось и сохранилось, явилось моему сознанию через четверть века и именно в канун самой страшной катастрофы на Земле?

В каждом из нас, наверно, отзвук памяти и эхо оберегов, тех, кто давно уже на погостах и кладах. И эти погосты и клады отвечают за нас и хранят нас. Невидимая тонкая нить связывает живых и мертвых. Паутинка, никогда себя не оказывающая – грешно ее видеть. Запрещено. Разные у нас дороги.

Но может ли мать забыть своего сына или дочь? Деды приходят к нам не только на Деды. Они не сводят с нас глаз – одних, чтобы убрать, других – спасти и передать хотя бы самую малость родоводной памяти из своего небытия, эхом через столетия, время и пространство.

Думая про это, земное эхо нашей памяти, я незаметно, воробьиным скоком проскочил Калиновку. И был наказан обидой и разочарованием. Калиновка, некогда известная всей стране, действительно не стоила сегодня мессы. Кузькину мать помните, а двадцатый партсъезд КПСС, а кукурузу? Забыли Никиту Сергеевича Хрущева.

Следа его, памяти в Калиновке, где он родился, я не увидел и не почувствовал. Подобных Калиновок у нас, деревень, селений, что крапивы под забором и на пожарищах – отечественных знаках беды и несчастья. Где среди болота растет и красно рдеет калина – там и Калиновка. Где ягоду-калину заглотил вороватый дрозд, а потом не удержал в полете, упустил ее семя – там тоже калина и Калиновка.

И все же на душе у меня было погано. Как же равнодушны и даже разрушительны время и земля, скоропостижно разрушительны. К добру или злу более памятны были и небыли древности. Древности, как ни горько это сознавать, чужой. И может, благодаря именно несоприкасаемости и непересекаемости нигде и ни в чем с нами, легко прирастающей к нам. А на свое – не успел очередной гений и вождь, вчера еще отец родной, закрыть глаза, как мы ему уже во всех букварях их повыкалывали. А сами буквари сдали в макулатуру или снесли в туалет.

Опечаленный древностью и современностью, я распрощался с хрущевской Калиновкой и, скорее, не пространственно, а по какому-то наитию, внутреннему ощущению нови иных мест, а заодно и времен, перенесся во времена гоголевские, так называемую Малороссию, на Украину, в сумерки вечеров вблизи Диканьки. В Миргород, оказавшийся как раз под рукой или колесами моего автомобиля. Знаменитой миргородской лужи – хватило двух столетий, чтобы убрать ее – Солохи и Рудого Панька не наблюдалось ни вдали, ни вблизи. Только грезился почему- то даже не Гоголь, а сам Никита Сергеевич Хрущев, лобастый, с дынно лысой головой, а лицом похожий все же на Рудого Панька. А так все было любо, мило зелено и по хохляцки пестро.

Может, эта свихнутость моего глаза и головы и вынудили меня свернуть с главной трассы на второстепенные дороги Украины. Импульсивность и нередсказуемость моих поступков давно уже пугает и напрягает меня. Особенно, когда все уже позади и поправить что-либо невозможно. Остается лишь молча сжать зубы, клясть самого себя и жарко краснеть в поглощающей глупость и стыд темени ночи.

Менять свою натуру я был не в силах. И это, надеюсь, исходило не от больной головы, было связано с чем-то иным, хотя и уперто-дубоватым. Мне всегда не хватало терпения и усидчивости, кропотливости в учебе. Инструкции писались не для меня. Здесь я шел другим путем: практика, практика и только практика. Даже там, где она была невозможна. Там я препочитал включать голову и думать, думать до полного отупения или озарения: как это работает? Наука с познанием входили в меня извне, казалось, при полном отсутствии старания и трудолюбия. И выборочно, избирательно, как это происходит при сотворении рекой русла: куда уклон, что можно обнять, охватить, подмять – туда и тек воды. Все до последней капли отдано страсти, земле, напавлению, как я отдавался тому, что выбирал, что было по душе. В этом было мое счастье и беда. Так я сохранял себя в вере и безверии, не растекался и не разбрасывался, не тратился на пустяки. И потому бесконечно благодарен тем, кто бросил меня в творящую себя реку, подцепил на крючок, подсек и потянул, потянул, потянул. Принимаю, благодарю, проклиная, страшась и радуясь. Отсюда, думаю, и мое неприятие Фрейда, Юнга, потому, что я наверняка их первый пациент.

В сетях гона и дороги, чувствуя себя спеленутым в ограниченности, хотя и говорливого, но все же неживого, бесплодного чрева автомобиля, я неприметно поглощался и всасывался им. Терял себя, как теряется человек с воли под замком в зарешеченной тюремной камере серого казенно одноликого люда – уже и не людей. Посреди дороги и неба, вроде крылатый, но с подрезанными крыльями, как обрезают домашнюю птицу, чтобы держалась своего двора, не сознавая своей обрезанности, кастрации воли настоящего полета и не тосковала о нем. А Земля должна содержать эту бескрылость, смиряясь с машинной ее заменой.

Не потому ли все вдруг вкинулись в салоны, в лоно стальных лошадей и, опрежая друг друга, бросились в бега. Но эти планетные беги обуженных людей, на широту которых еще в средине прошлого века нарекал Ф.М. Доствоевский, не является ли бесцельным и суетливым движением покойников, теней, призраков, оживленных, реанимированных не только на море, но и на суше летучих голландцев, чайных клиперов, вечных жидов. Обуженный человек обузил и землю, планету, на которой уже нет места не только Достоевскому с Толстым, но и Бедному Демьяну.

Гоголи и Пушкины, Толстые и Достоевские – заложники и мученики своих золотых и серебряных столетий, размышляя о будущем человечества, завидовали ему. А как бы они повели себя, эти пророки и мессии, окажись они сегодня среди нас. Хорошее было бы пополнение тихим пристанищам Божьих домов. И большой вопрос, кто они – великие мыслители, гении и пророки или же заурядные очередные искусители человека, посланники рая

или же ада, которые, подобно сиренам, усыпили нас и наслали сон золотой. Мы порвали самопрядную нить бабушкиного клубка, стали покати-горошками, перекати-полем.

…После съезда с основной трассы нервная броуновская механистичность машинного движения замедлилась. А вскоре и совсем оборвалась Согласны мы с тем, что в России дорог нет, а только направления или не согласны – на Украине и направлений не было. Хотя сами дороги были. И неплохие, надо признать. Но откуда они начинались и куда вели – известно, наверно, одному украинскому Богу да главному воинскому, то есть дорожному начальнику. Нигде ни указателей, ни верстовых столбов: шуруй, небоже, и не заморачивайся, куда-нибудь да прибьешься – язык до Киева доведет.

Веру в это поддерживали и добавляли глазастое солнце, молчаливое небо, поросшие травой обочины и поля по обе стороны еще прочного, не размолотого асфальта. Асфальт был районный, сельский, межколхозный. Кюветы, обочина свидетельствовали о жарком лете и окончании, а может, и продолжении еще уборочной страды почернелыми охапками пшеничной соломы, раздавленными кочерыжками кукурузы, где-нигде кляксами на асфальте и полуцелыми чрепашье ссунутыми с дороги ближе к обочине арбузам. И арбузами целыми, правда, небольшими, хотя и привлекательными.

Поля были еще не опростаны, беременны летом, хотя уже и грустно пустынны, безлюдны. Предосенне мягкое еще, но уже настороженное небо, казалось, сочувствовало им, насыщая и ублажая густым настоем покоя и доброты за то, что уже таило в себе зиму, как это бывает в аккуратной хате в дружной семье при скором умножении ее, появлении на свет еще одного рта. Когда роженица еще только готовится к разрешению и ей излишне не докучают вниманием. Ходят возле нее легко, говорят тихо, чаще обходясь и совсем без слов.

Не то ли происходит и с деревенскими дорогами. Воздух над ними задумчиво густой и многослойно запашистый. Дорога полной грудью дышит им, выпрастывается от груза принятого ее лоном лета, причастности к творению колоса и клубня. Черноземно-сытый полустепной сарматский ветер по-хозяйски заботится о ее чистоте. Убирает, сдувает останки уже почти завершенного лета, стирает его память. Шоссе учернело и цепко держится за прошлое сухим асфальтом. От напряжения, похоже, пригибается, слегка сутулится, как землероб в работе на колхозном поле или своих сотках.

Вечность повсюду прорастает крестами на взгорках и холмах по обе стороны дороги. Где-нигде ее сторожат степные орлы-могильщики, не сводя глаз то ли от прошлого, то ли будущего. И повсюду пожневая остри-

глость пшеничных или ржаных полей, через которую робко уже пробивается то ли из потерянного при обмолоте зерна новая нива, то ли придавленный, но неистребимый сорняк в союзе с клевером и непременным по осени выпасом там коровьего стада. Все привычное, деревенское, укладно крестьянское.

Умиротворенный вековой заповедностью земли и труда сегодня Кировоградчины, а прежде Херсонщины я неприметно вьехал в город Бобринец. Приостановился возле гербового знака, на котором какая-то неизвестная мне птичка подозрительно смотрела на меня, словно сторожила бахчу по обе стороны дороги, а я намеревался воровать арбузы. В большей части их уже убрали. Покинули только недомерки. Но они показались мне землянично сладкими и ароматными, будто выспеленная полесским солнцем на лесных вырубах земляника.

Бобринец сразу же лег мне на душу. В нем чувствовалась игрушечная воздушность и свежесть. Он не очень был привязан к земле, возвышался и парил над провалами оврагов, убранными, но опять замуравленными полями с ржаными лоскутами пожни, сухими клыками высоко срезанной, лопочущей последним листом на ветру кукурузы. В городке выразительно сказывалось отличие юга от наших подобного рода местечек, но было что-то и общее, единящее, хотя и не явное, больше в духе и дыхании, нежели в облике, одновременно молодом и древнем. Первые поселения – пятнадцать тысяч лет тому назад. В конце восемнадцатого века – десять тысяч жителей. Из них две тысячи евреев, один из которых прочно и навсегда вписался не только в отечественную, но и мировую историю. Лейба Давидович Бронштейн, он же Лев Троцкий – второй после Ленина человек в революции и образовании СССР. И он же враг народа, личный враг вождя и отца всех народов после смерти Ленина. Но все это далеко и мутно – скоропионы в борьбе за место под солнцем. Для меня более существенно название городка – Бобринец. Пахнуло родным и близким: сколько же это у нас Бобров и Бобровичей – деревенек, городков, речек. Хороший зверек – белорусский Бобр.

И я сказал спасибо судьбе, стечению обстоятельств и случаю, подвинувшим меня оказаться именно здесь, в украинском Бобринце. Конечно, сразу же бросился, подобно розыскной собаке, по горячему, казалось, еще следу относительно недалекой нашей славной истории. Жажда эта в нас извечная, хотя и подсознательная: хочется не столько истории, сколько чего-то жареного и острого, край героического. Нас хлебом не корми – дай обмануться. Здесь мы и Клеопатры, и Нострадамусы, и Глобы с Мулдашевыми.

Это наше отечественное, родное, коллективное. Но в человеке живет подспудно и тяга к правде, маленькой, но своей, личной. Вот он в поисках ее и гребет, как курица, где только может, выискивая эту правду по зерныш-

ку, надеясь догрестись до истины и своей личной истинности. Только своей и им лично добытой. Бездомному нужен дом. Человеку сегодня требуется национальное и национальность. Хватит колхоза, намаялись, наползались в интернационалистах. Как только выжили. Наелись человечины и крови напились. И своей, своей – она доступнее. Только горло дерет до девятого колена и глаза выедает.

Лев Давидович Троцкий не совсем уроженец Бобринца. Родина его – деревня Яновка неподалеку отсюда. Но сегодня деревням непосильно устоять на этом свете. Они еще прошлым столетием приговорены стройными рядами в полном составе и добровольно к исходу в мир иной, покинув здесь лишь крапивные да полынные свидетельства своего векового существования – наполненные их прахом погосты и древние курганы – копцы и волотовки. Останки почернело поклонных крестов с приросшими к ним непрочитываемыми именами. В Яновке, как в любой деревне, почва хорошо удобрена жизнью, которая уже умерла.

Слухами, мифами о знаменитом земляке еще полнятся окрестности Бобринца и того, что устояло, уцелело от прежней Яновки. Человек, без преувеличения, был великий. В начале прошлого столетия, подобно мессии, своему соплеменнику Моисею, сотворял новый народ, упиваясь и знаменуя это творение реками крови и горами трупов. Так шли они все, радетели человечества, и не только той поры – всех времен и народов.

Но чем же сегодня отметна родина великого человека – деревня Яновка. Только погостами, безымянными уже могилами, в которых время догрызает белые кости его родителей. Правда, их могила не безымянна. На груди им возложена каменная плита с их именами. Живучи слухи, что Давид Бронштейн прихватил с собой на тот свет добрую толику золота. А был он на этом свете не из бедных. Сотни гектаров своей и арендованной земли, несчитано овец, коров, мукомольные мельницы, кирпичные заводы. Многое из этого старый Бронштейн сразу же после революции, свершенной сыном, продал, деньги и что-то более ценное из имущества припрятал в могиле жены, закрыл неподъемной мраморной плитой.

Где-то в шестидесятых годах два тракториста подцепили ту плиту трактором и стащили с могилы. Золото, по свидетельствам живых еще яновцев, нашли, как и смерть свою. Через месяц один из них умер под колесами или гусеницами трактора, второй вскоре сгорел живьем на пожаре своего же дома, бросившись спасать жену и детей. Вот такая постреволюционная быль. История без мифов. А может, и полностью миф. Сколько мы их знаем из печного или припечного детства, носим в себе. Жуткие истории и рассказы наших бабушек – страшилок телевидения ведь еще не было – о том, как мертвые с того света мстят живым, посягнувшим на их богатство, могильные

заговоренные и охраняемые нечистой силой золотые клады. Вожди, что отцы, что сыновья из когорты прежних и сегодняшних мессий, наши благодетели – из нас, людей, человеков, и ничто человеческое им не чуждо, в том числе знакомство и дружба с нечистой силой, самим Сатаной. За свое и из преисподней встанут, перегрызут горло всем и каждому.

При Иосифе Виссарионовиче Джугашвили в родной деревне Троцкого создали колхоз и назвали его простенько и скромно –его именем: колхоз имени Сталина. Но от теней и прираков прошлого нелегко отделаться. Давид Бронштейн в Яновке производил кирпич и метил его буквой «Б». Местные жители разобрали его дом и строения на собственные нужды. И теперь в прежней Яновке, сегодня Береславке, нет ни одной каменной, кирпичной постройки, фундамента без кирпича с буквой «Б». Вот такой опять же провинциальный современный полтергейчик: ты его через двери, а он в окно и в душу. Фундамент революции прочен.

Боги и Дьяволы играют, как Боги и Дьяволы, неровня всем иным, которые по слогам пыкают и мыкают: мы не рабы, рабы не мы, рабы немы. Играют и сражаются. Колотят друг друга той же немой и пузатой мелочью – будто футбольными мячами, хоккейными клюшками и шайбами, теннисными мячами. Притомившись, перекусывают ими же, живыми.

И от них, людоедов, и от их немых жертв – только пыль пыли, пыль. А иногда и ее нет. Остается только сочувствовать – тяжелая у каннибалов работа, в поте лица добывается хлеб насущный. Но непросто им запоршить подлостью видящее сквозь землю и напластование столетий око небесного суда и судьи. Непосильно. Они в общем-то знают про это, но немного сомневаются и надеются: не таким очки втирали. На том стояли, стоим и стоять будем – в бронзе, граните и мраморе. А что птички на голову гадят, на то она, голова, и дадена, чтобы хоть немного чего-нибудь там было.

На одной, главной в Бобринце, площади сошлись два строения. Еще в лесах, но уже под металлической крышей – будущий новый горком партии и ощутимо уже тоже в лесах – краеведческий музей. Именно в нем я понял и почувствовал победительное торжество справедливости, божественный смех над тщетой мессианских потуг обдурить вечность. Предполагавшийся стать здесь памятник Льву Давидовичу был еще только в проекте. С большей определенностью можно было говорить о создании музея, фундамент которого уже был заложен. Я поинтересовался у директрисы будущего музея, какими экспонатами он располагает. Директриса подвела меня к полке, на которой что-то стеклянно и глазасто отсвечивало:

– Вот, – не без удовольствия сказала она, – первый экспонат нашего будущего музея знаменитого земляка.

Я не поверил глазам. На полке стояла до блеска промытая пивная кружка. Из таких, еще до перестроечной борьбы советского народа с алкоголем, да и позже, после окончательной победы то ли алкоголя, то ли народа, пили пиво в каждом шалмане. Кстати, я считал и считаю большим человеком изобретателя этой кружки: возьмешь в руки – имеешь вещь. Но пивная кружка даже в музее, как ни крути, остается пивной кружкой.

Я ничего не понимал. Директриса пояснила:

– Кружка из потомственного наследия Льва Давидовича, – почувствовав мое сомнение, продолжила, указав на дно пивной кружки: – Отец Льва Давидовича занимался пивоварением. Вот его личное клеймо на донышке. Не исключено, что из этой кружки пил пиво сам Лев Давидович.

Как говорят картежники при игре в подкидного дурака, крыть мне было нечем. Может только представить себе, что я тоже мог, был не против глотнуть холодного пива, да еще прошлого века, из этой кружки, а потом хвалиться: пил на брудершафт с самим Львом Давидовичем Троцким.

Кружка кружкой. А чего стоит полное отсутствие чувства времени у создателей двух основополагающих в городе зданий – горкома КПСС и музея одному из самых кровавых диктаторов революции в пору уже почти поголовного обнищания страны, продажи товаров по талонам…

Смутно ощущая досаду и неловкость, я покинул музей. Вышел на крыльцо и огляделся вокруг. Стояло еще утро. Воздух, просвеченный солнцем, был легким, чистым и розовым. Ни укора, ни грусти. Ни намека на тех, кто прошел или приостановился и постоял там, где стою сейчас я. Недвижность предосеннего или уже, наверно, осеннего процеженно василькового неба сжимала горло. Нигде ни знака, ни следа от идеологического, бунтарского и будничто-житейского хлама, нагроможденнного здесь столетиями гомосапиенсами, пиплами. Они проскользнули бесплотными тенями при свете дня и во мраке ночи, неопознанные, как наши бичи или бомжи, большие поклонники пива, на лодке Харона по кровавым Стиксам отечественной истории, как и все из последних мессий нашего беременного кровью времени.

Изгнанный тяжелым раздумьем из Бобринца, Эдема, воздушно и светло зависшего между вечностью и мигом земной суеты, засеянной тенями и амбициями словоблудов – до кровавых мальчиков в голове и глазах, впереди и позади, паломником и изгоем рушил дальше, в свое уже слегка притупленную в памяти Мекку. Из неньки Украины – опять в матушку Россию. На Волгоград.

Добраться до него было непросто. Я уже говорил о художественной прелести российских дорог, их предназначении, содержании и смысле. На Укра-

ине это никак не увязывалось в один узел. Но дороги были, хотя и не стратегические, а второго сорта и назначения. Хотя и в атласе, и на местности они не обозначались никак. Вроде их и не было. Изредка только мелькала облупленная и перекошенная доска с названием населенного пункта без признака национальности: то ли Россия, то ли Украина, а может, и Марс.

Мемуаристы, историки и исследователи событий Великой Отечественной войны писали, что перед вторжением немцев на территорию СССР у нас были изданы специальные карты с ложными наравлениями, неправильными названиями селений и рек, не соответствующими действительности расстояниями – обычная в духе большевиков фальшивка. Но уже для чужих, фашистов, чтобы сбить их с толку. Не знаю, как с чужими, с врагами, а со своими был верняк. Может, эти фальшивки и поспособствовали такому огромному количеству наших окруженцев, а потом и военнопленных. А у немцев были свои, и очень точные карты нашей местности, за которыми гонялись советские командиры и военачальники.

У меня с каждым километром крепнет ощущение, что в отношении дорог мы все еще ориентируемся на внешнего врага, и довольно успешно. Потому я въехал в город-герой Волгоград с хорошо скрученной и сдинутой набок головой. Как уже говорил, город этот всегда нравился и нравится мне. Всегда солнечный, и солнцу просторно в нем. А если и дождь – тоже светлый, радужно веселый и не затяжной. Был он приятен мне даже своим профессионально советским сервисным хамством. Не забуду, как мы с женой на главном проспекте имени одного из наших вождей, может, как раз у того универмага, из подвала которого вышел сдаваться в плен немецкий фельдмаршал Паулюс, увидели кафе с игриво-зазывным приглашением: «Вы устали? Пожалуйте к нам на чашечку кофе».

Мы устали и пожаловали. Уверен, фашистского фельдмаршала советские воины встречали зимой сорок третьего года достойнее и приветливее, чем нас средь лета семидесятых годов. Чашечки горячего кофе за полтора час ожидания нам так и не принесли. Зато по полной совестской сервисной программе облаяли. Нами просто брезговали, как брезгуют и сегодня новые хозяева жизни: со свиным рылом, да в калашный ряд. Замечают лишь тогда, когда им уже невтерпеж, крайне надо опорожниться. Тогда как раз лохи и быдло превращаются в клиентов и народ. Тогда можно слегка и вспотеть, и слезу умиления пустить.

В некоем роде что-то похожее происходило и сейчас в центре славного города-героя. Он отказавался меня признавать и узанавать, даже видеть. Я заблудился в нем, хотя сделать это было трудно. Почти на сто километров он был протянут одной главной улицей вдоль берега великой русской реки, как распростертая богатырская рука. Может, того же Владимира Ильича Ленина:

правильной дорогой идете, товарищи. Я же умудрился – наверно, вопреки воле вождя – пойти дорогой неправильной. Или вмешался другой вождь со своей усыхающей ручкой и здесь накуролесил.

А скорее всего это было какое-то затмение, наказание за всю мою дорожную неправильность и неправедность мыслей и поведения. Месть и наказание, может, несколько опережающее провинность мою сегодня, но и наперед. Потому что я чувствовал, как что-то запретное, бунтующее рождается и зреет во мне в продолжение всей моей дороги. И не только во мне, но и вокруг меня. Не определенный еще, но уже слышимый вызов недовольства и несогласия с уходящим днем колыхался марью и позванивал, роптал валдайскими колокольчиками по простору Среднерусской равнины, безадресно, анонимно минуемой Украины и здесь, в загустелом к вечеру осенне-сытом воздухе Волгограда. Брал начало, зарождался и наплывал от черно опущенных в маятниковом колебании голов оставленных на пожнях коров, гладких при конце солнечного лета, раскоряченных избытком в вымени молока, нудящихся от одиночества и несвободы, дорожного роения автомобилей.

Одурманенный однообразием таких разных, но до издевательства похожих друг на друга городов, их жвачным равнодушием к себе и своему имени, словно все они – искусственное порождение одной суррогатной матери, овечки Долли, я уже не особо и представлял, куда и зачем еду. И потому немало удивился, почувствовав себя в машине и за рулем, словно зародыш в лоне матери. И не обязательно человеческий зародыш. Мне казалось, в таком состоянии все и всё кругом. Разум, сознание только едва-едва начинают брезжить. И еще неведомо, чьи это разум и сознание, кому на радость или беду достанутся. Мне они сейчас явно ни к чему. Вот в такой безликости, полной неопределенности оказался я в городе-герое на Волге на бесконечном буксире его главной улицы – проспекте двух великих вождей человечества. В центре его главной площади, напоминающей нашу площадь Победы, только без восставшего детородного органа, а так – копия ее. И здесь я, можно сказать, пошел в отключку, не смог разобраться с указателями движения.

Слава Богу, транспорта почти не было. Солнце заходяще вбиралось под крыши каменных многоэтажек и сочилось прохладой с их пъедесталов. Я растерянно, пуговицей пришпилился к асфальту. И тут на меня нахлынуло все сразу. Я вышел из эмбрионального состояния и начал соображать: а где это я и я ли, куда мне надо ехать, как и почему я оказался здесь, расперся, как хрен, посреди площади. Но это были еще не мысли, а мыслишки. Главное – где я буду сегодня ночь ночевать. Ночь перед решающим марш-броском на столицу татрского ханства – Астрахань.

Последнее было продумано раньше. Только я забыл, а сейчас вот вспомнил, потому что не поставил точки, не определился окончательно. Слишком

большой был выбор. В то время у автомобилистов были еще безопасные дорожные и придорожные ночи. Как говорят, летом каждый кустик ночевать пустит. И не только кустик, по всей стране, едва ли не в каждом городе, могли меня приютить, накормить, напоить, спать положить и даже рассмешить. Спасибо, большое спасибо беспризорному детству, детприемникам, детдомам и так называемым трудовым резервам с их сетью ФЗО, ремеслух, индустриальных техникумов и институтов на полном государственном обеспечении учебы и проживания, распределением во все точки Советского Союза. Спасибо моей бродяжьей юности и зрелости. Почти всюду на одной шестой части красной суши были друзья, товарищи, близкие и родные по духу, считай, и по крови люди.

Были они и в Волгограде. И немало. Широко и щедро выстрелила, сыпанула по всему белому свету белорускими сиротами – это сколько же их было – советская власть. Их широкое распространение – не только обездоленность, но хотя и принудительная возможность поиска и выбора судьбы – было благодатью во всех смыслах. В жизнь шло поколение, знающее и уважающее ремесло, сменившее на ремень ремесленника солдатский ремень отцов. Стойкое и жаропрочное, и, что ни говори, вдохновенное и вдохновленное временем, жаждой служить ему, быть востребованными. Жаль, что сегодня это утряно.

Благодаря прошлому, мой путь к Волгограду был, словно вешками, позначен друзьями, свидетелями совсем не пустого и одинокого прозябания в этом мире. В этом городе прочно обосновались и укоренились аж три детдомовки, с которыми я рос и поднимался на ноги на Полесье. Работали здесь учительницами, как ни странно – русского языка и литературы. В районе Баррикад проживали родичи по жене. Где-то здесь был и родич по мачехе, и в таких чинах и на такой должности в Приволжском военном округе, что аж мотошно было. Думаю, не одному мне, а многим и многим, кто с ним невольно знался. Раньше он меня и в упор видеть не хотел, а сегодня издали уже узнает.

Такой родни теперь у меня, как говорили в нашем детдоме, что у собаки блох. Все они стали признавать и привечать меня, когда я их – опять же по- детдомовски – уже в гробу видел. Может, потому в детстве у меня была кличка Монах. Позднее узнал, что так дразнили и Виктора Петровича Астафьева, также когда-то детдомовца, и Сергея Есенина. Почему – вопрос на засыпку. А с другой стороны, помните: как корабль назовут – так он и поплывет. Какое-то свое потаенное плаванье было и у меня, не сказать, чтобы такое этакое. Но свое: раздайся народ – говно плывет.

Согласуясь со своей келейной кличкой, я и в Волгограде намеревался перебыть ночь наедине с самим собой, устроиться в одиночестве и на при-

роде. После дорожного шума и гама сторонился и избегал непременных при встречах бесед и воспоминаний о босоногом детстве. Влекло к отшельничеству, обещающему молчанию недокучливой древней воды, ее вечному покою. Хотелось привести себя в чувство возле нее и утонуть, растворившись в ней, приобщиться к тем, кто некогда здесь проходил, жил, ночевал до меня и придет сюда после меня омыть усталые ноги.

Из более раних хождений по этому городу я знал, что немало нашего брата – полутуристов, полубродяг – ночует на Мамаевом кургане. С одной стороны – мода, а с другой – вынужденность. Любителей походов по местам боевой славы, своеобразных некрофилов, вздернутых идеологическим официозом, записных зевак и туристов, черных археологов-гробокопателей, поганящих могилы и память усопших, развелось, что нерезанных собак. Город просто не в силах приютить всех. Вот почему большинство из нашего брата выбирает мемориальный комплекс, воздвигнутый над Волгой – невольно вроде бы и сам становишься героем, проведя ночь у колумбария или некрополя.

И меня туда же, поманило, как рукой потянуло на Мамаев курган. Но отшибло память, как до него добираться, хотя он издали был виден всем, в том числе и мне. Спасительным и очистительным мечом, взнятым над головой Родины-матери, вскинутым высоко в небо, к солнцу, бритвенно затачивающими его своими лучами, он возвышался над водным и земным пространством на многие и многие земные, речные и воздушные километры. Но видит око, да зуб неймет.

Дорога туда была словно заказана мне. Может, так было и на самом деле. Кто-то заступил мне путь и не хотел подпустить к кургану. Указывал и отводил. Мне никак не удавалось тронуться с места и подъехать к милиционеру, его гаишной будке, где он, подобно петуху на жерди курятника, начальственно восседал: Бог или божок, Царь или царек, но, несомненно, – воинский начальник.

Может, это вывело меня из себя, лишило осторожности и рассудительности. Не обращая внимания на хоть и прерывистое, слабое, но все же движение, на предупредительные и запрещающие знаки и дорожную разметку, я, как стоял, так напрямую и двинулся к нависшему над площадью гнезду или тотемному вигваму. Милициант мгновенно слетел с него на землю. Добрую минуту, будто рыба на воздухе, беззвучно шевелил губами, тараща глаза и бесконечно повторяя:

– Как, как, как…

– А вот такой как, – нагло отвечал я. – Когда не гора идет к Магомету, тогда ослы… – Что я хотел этим сказать, не знаю. Но милиционер опять зачастил:

– Так это же против, против… Против меня и нас.

Я согласился с ним, вынужден был согласиться, с детства усвоил: перечить милиции опасно, но морочить ее можно и надо. Хотя на кого нарвешься, есть опасность переборщить. И потому надежнее работать под слегка дебила: дебил дебилу понятнее:

– Сами мы не здешние, – кивнул я в сторону своего автомобиля и жены в салоне. – И переночевать нам негде.

– Ага, сами. Мы, Николай второй и Екатерина первая… – По всему гаишник приходил в себя. Реальность и даже юмор возвращались к нему. Прикидываться дальше было небезопасно. Надо было спасаться. Я открыл салон машины и достал свою книжку, что предусмотрительно всегда возил с собой – именно на вот такой случай. Книга была с моим портретом на титульном листе. По нему милиционер опознал предъявителя, то бишь, меня и, недоверчиво щурясь, спросил:

– Что, неужели сам написал?

– Сам, – скромно подтвердил я, свободно дохнув и расширившись, и спросил милиционера, как его звать и величать. Он склонился над капотом машины, где я подписывал книгу, скорее всего, чтобы убедиться, что я, несомненно, из умственно недоразвитых, по недосмотру или недоразумению допущенный к вождению автомобиля, способен к грамоте. Знаком с буквами и могу сложить их в его имя и фамилию.

А дорога на Мамаев курган была простой и прямой, как полет татарской стрелы. Я подъехал к нему на последних лучах заходящего солнца и оказался единственным путником, пожелавшим отабориться здесь на ночь. И был рад этому. Согретые едва ли не до печенок щедрым солнцем волжские черноземы дышали теплом и слегка горчащим молочным духом степного ковыля, что колкими ежиками сухо и стрекотно докатывался до подножия кургана. Но надолго они там не задерживались, будто имели и знали какую-то цель качения, конечную его точку. На минуту-другую лишь приостанавливались у мемориала, словно отдавали дань памяти воинам – заложникам чистой и нечистой силы. Склонив головы, недвижно, лежа отдыхали. Ломким шепотом тишком жалобно переговаривались, словно остерегаясь, боясь порушить сон и покой не самой ли большой в мире усыпальницы у самой большой в Европе реки. В самом большом земном отеле – почти на тридать пять тысяч уже неземных постояльцев, небожителей, переживших своих матерей и отцов, нерожденных детей.

И ковыльно-мертвое перекати-поле словно понимало, слышало их. Молитвенно покачивалось, вроде степных сусликов или таёжных бурундуков, порывалось выструниться перед рукотворным курганом, паломнически коснуться челом земли и поклониться. Но удавалось лишь слегка приподняться, будто на цыпочках, да смиренно прижать невидимые руки к такой же неви-

димости груди, словно сложив крылья. И тут же – дальше, дальше, бескрыло от своего иссушенного растительного сочувствия и милосердия. Может, и не уступающих человеческим, потому что свыше и без суесловия.

Вот только рук у их нету, нету и ног, словом обделены. Но не все круглое обязательно глупое. Потихоньку, помаленьку, катясь котом, удалялось. С головы на плечи, с плеч – на то, что и у человека, в чем нет правды, но ума палата. Прочь, прочь от Пантеона славы, где еще и сегодня идет кровавый бой наших и не наших, проходят начальную военную подготовку будущие новые жертвы войн. А здесь приговоренные к вечности немые, память и кровь которых заключена в гранит, бетон, железо и бронзу, свадебно помолвлена с обманами и тяжелым белым песком и глинами иного мира.

Уже в полусумерках, под равнодушием мемориального света я пошел в подземный Пантеон Славы, что делал всегда, бывая на Мамаевом кургане. Громоздкая груда металла, нареченная Матерью Родиной, впечатляла и угнетала, утверждая свое величество и мою никчемность, мизерность. А вот сосредоточенная тишина и прохлада Пантеона доводили меня до дрожи. Словно я сам лежал среди тридцати пяти тысяч упокоенных здесь, прерванным дыханием вошел и застыл в граните и мраморе, растворился в щадящем свете невидимых и потому пугающих, неземных светильников.

В Пантеон Славы я приходил не только ради поклонения памяти всех лежащих здесь, но и надеясь отыскать след родного мне человека. Дяди, брата моей матери, младшего лейтенанта Николая Говора, добровольно ушедшего на фронт в первые же дни войны. Сгорел в танке зимой сорок второго или сорок третьего года. Пропал без вести, как после оккупации сообщили его матери, моей бабушке Говор Устимье. Она не поверила, ждала последнего, младшего своего сына с войны почти три четверти века. А Бог дал ей большой век, на страдание и муки. Уже ничего не видела, до блеклой бели выплакала глаза, а все ждала. Почти незрячую я видел ее последний раз в деревенской больничке. Она ощупала меня прутиками сухоньких пальцев и громко воскликнула:

– Колька!..

Но тут же ее пальцы опомнились на моем цивильном костюме, и она сразу же поправилась:

– Витька…

Мне показалось, что она вымолвила мое имя с разочарованием. Исполнилось ей тогда сто двенадцать лет. Но слез еще хватало. Она плакала уже бесконечно и бесконечно жаловалась, что Бог забыл о ней. Она все еще жива, а дети давно уже на кладбище:

– Не приведи Господь, Витька, пережить своих детей…

Исступленно верила, что младший ее сын не погиб, не мог он пойти на тот свет без ее согласия. Только сильно, до неузнаваемости обгорел телом и лицом в своем железном танке и потому стыдился показаться ей на глаза: при жизни был скромный и рахманый, что значило в ее понимании – не от мира сего, почти блаженный. В этом она упрекала и меня: ездят на таких и люди, и черти.

Помнится, о том, что мой дядька жив, но искалечен и никому не хочет быть обузой, бабушке и мне рассказал прохожий солдат – нето с войны, нето из плена, а может, и из госпиталя или того света. По всему, больной от войны, без живого места на нем, на костылях и в ржаво пропаленной шинельке. Я еще подумал, что на фронте, за его войну ему могли бы выдать пристойную, людскую шенельку, целую, угревную, сдерживающую его сухотный кашель, по крайней мере – не такую куцую. А то бабушке, чтобы хоть немного согреть его среди лета, пришлось теплить каминок. Утром солдат покинул нашу прокашленную хату. Мы провели его за околицу, до кладбища. Я боялся, сможет ли он пройти через него. Не останется ли навсегда на наших сельских могилках. Видимо, все же сил хватило, прошел. По крайней мере, на кладбище все оставались в своих могилах, похороненными, безмогильных не было.

А бабушка, сидя у окна, выходящего на дорогу, неутешно и подолгу плакала. Днем и ночью семьдесят пять лет ждала сына с войны, надеялась – жив. И сегодня уже задним числом и умом, я думаю, не без оснований. Сердце матери вещее. А бабушка была не из простых бабушек-старушек. Меня она буквально вытащила с того света. И было это не однажды и не только со мной. В деревне Анисовичи жизнью ей обязаны многие. Знала она и слово, и глаз имела, и рука у нее была легкая.

Я, чтобы как-то отвлечь и утешить ее, пытался заговорить, устно сложить что-то стихотворное. Читать, писать еще не умел и книги живьем не видел, но пыхтел, старался. И читал ей, читал вслух, может, и с выражением. Осиротевшая мать, и я возле нее, сирота. Словом, дом престарелых и малолетки, слегка, а может, и крепко тронутых. Но в этом старческом и детском безумии мы выживали. Бабушка, внимая мне, вытирала слезы, кивала головой, я воодушевлялся, набирал голоса, размахивал руками и бегал из угла в угол по земляному полу. Помню, стихи были до невозможности героические.

Мне нравились. Но больше в своей жизни к сочинению их я не вернулся. А тогда обещал в них бабушке: немного только подрасту, выйду в люди, отыщу среди них ее сына, моего дядю, младшего лейтенанта Николая Говора, если он сейчас не генерал и пожелает с нами знаться. А неживого тоже найду, подниму с того света и на руках принесу в дом. А заодно уже призову с того света и свою маму с сестрой, которые разлучились со мной – сестра в три

года, мама в двадцать пять. И мне, хотя и возле бабушки, горестно жить на этом, таком заплаканном, что и совсем уже не белом свете. Я искренне моих неотмерших детских желаний верил в возращение с того света моих родных. Эта вера в глубине моих неотмерших детских желаний и жгучих слез жива во мне и сегодня.

Бабушке за сына, младшего лейтенента, живьем безымянно сгоревшего в танке, держава ежемесячно платила – как помню сегодня – по десять рублей. И это не только за одного сына, танкиста, офицера, а за всех десятерых детей, которых выносила, родила, подняла на ноги и пожертвовала миру и войне. По рублю за каждого ребенка. Один рубль даже лишний. Виновата, не могла она на него заработать своим изношенным телом. Но на нее столетние, считай, плечи легла дюжина сирот-внуков. А на десять рублей, отслюнявленных государством в то время, уже после денежной реформы 1947 года, она могла поиметь два килограмма – буханку черного хлеба. Это, ежели в государственном магазине, а на базаре – кукиш, и без масла, разумеется.

В Пантеоне Славы среди фамилий на букву «Г» я искал имя своего дяди, Говора Николая из деревни Анисовичи на Домановщине гомельского Полесья. Который уже год искал и не находил. Хотя всякий раз надеялся, слышал, что списки погибших все время пополняются. Но, видимо, именами только документально подтвержденных покойников. Тем же, кто пропал без вести, чья жизнь пеплом развеяна по миру даже среди мертвых, тем более в Пантеоне Славы нет места.

Проснулся я на Мамаевом кургане, конечно, не с парадной, а с тыльной его стороны, ранехонько. И солнце меня не очень опередило. Гомонливым и спелым августовским наливным яблоком покачивалось среди листьев деревьев и неба. Парило, будило и поддразнивало утро хлопотное птичье царство, пробовало его на зуб и крылом. Воздух был уже предосенне слоящимся, ломким и красочным. Немного даже лишне красочным, ярмарочно, балаганно ярким и пестрым. Но что-то еще с ночи мешало мне радоваться и дышать полной грудью. Нудило, угнетало какое-то неопределенное чувство вины.

Сначала я соотнес это с нашим вековым проклятием – болотным и трясинным ощущением вины в нас, задолженностью всему миру, столетия и столетия, с подачи соседей, старшего брата, низводящему нас, невылазно удерживающему на задворках, в болотах, лозах и хвойниках. Довели нас, и мы сами себя довели до того, что согласились: виноваты перед всем миром, собой и людьми виноваты. Потому первыми согласны и исчезнуть. Все люди вокруг нас жили, а мы медитировали, как медитируем и сегодня, утомленные и зачарованные искусительностью отечественных и заморских заклинателей змей.

Так я подумал на тяжелую еще из ночи голову и замыленные остатками сна глаза. Необходимо было срочно пролысить их, хотя бы, как кот лапой. И,

следуя тому же аккратисту-коту, из-за отсутствия вблизи воды, наждачной сухости во рту и в теле, попытался обойтись своей подручной лапой – подолом слегка влажной с ночи сорочки, после чего все как раз и прояснилось. Я поднялся на ноги, вдохнул полной грудью, расслепился и ужаснулся.

Расслепился и ужаснулся на всю оставшуюся, не исключено – и прошлую жизнь. Одним махом наелся, напился и умылся. По пословице или присказке, осталось только рассмешить меня. И не только одного меня. Тридцать пять тысяч покойников, похороненных здесь, наверно, желали этого, если еще не смеялись, тягостно и горько. И подрастающий Божий день был достоин хохота. Адского, преисподнего, дьявольского.

Ни я, ни Божий мир, наверно, такого еще не видели и не нюхали – такой огромной, не самой ли большой в Европе уборной, а проще и доступнее – сральни, размерами не уступающей братской могиле с венчающим их почти девяносто метровым памятником. Ноги не вбить, чтобы не вляпаться. Нет, неспроста говорят: обосранные дети и бедная мать. А я же всю ночку доверчиво спал в машине под ее теплым боком, ласковым глазом и хранящим мечом. Не вся ли моя жизнь сплошь одна только вот такая ночь среди опоганенных, оскверненных братских могил. У нас ведь тьма-тьмущая покойников, оболганных еще при жизни, до похорон, а после похорон возведенных в святые. И столько же настоящих святых символов, с которыми обращаются, как с монументом Матери Родины на Мамаевом кургане.

Свое, говорят, не пахнет. Пахнет, да еще как, всему свету смердит. Стоит только вдохнуть отечественных истории с географией, понюхать каждой нашей большой победы. Пройтись около наших святынь, флагов и символов, ткнуть пальцем в ареопаг неприкосновенных кремлевских старцеви просто старцев. От старца Достоевского Зосимы повеет духами и туманами. Смердят все большие и воинственные святые и воинственные материалисты. Марксизмом, ленинизмом, сталинизмом с троцкизмом засмердили всю планету. Каждый в свое время приседал возле Родины-матери, ареопагов, пантеонов и мемориалов – на братской могиле убитой и похороненной нашей истории. Но, по вождю пролетариата: чудненько, необходимо все, что на пользу революции и большевикам.

…А вот вода, струящаяся из кранов среди этого смерда у подножья монумента, подземная или из Волги, была на удивление прозрачная и студеная, мокрая и сладкая, что еще сильнее смущало и угнетало меня. Прибавляла и одновременно вымывала ощущение, что я все же есть, живой и на этом свете, где вдоволь еще кристально чистой, как слеза вечности, воды, влаги, росы, дрожащей на ресницах времени.

Может, именно эта полешуцкая память о воде и что-то еще не совсем отмершее из детства не позволили, отвели меня от того, чтобы поделиться с

кем-нибудь тем, что я вдохнул, увидел и почувствовал на Мамаевом кургане. Это нечто глубоко свое, запретно таящееся в душе, и присуще оно, наверно, многим. Желание не замараться, сохранить достоинство, лицо на людях и среди людей, стыд и совесть: не будь простодырым и сладким – высосут, не будь горьким – выплюнут. Человек прихотлив, особенно когда опасается сплетен и сглаза. Это чисто деревенское, крестьянское и по Тютчеву: « Молчи, скрывайся и таи»… В прорвавшейся вслух правде – западня, подспудное желание быть правдивее правды. И тогда хоть всех святых выноси, оставь только себя, правдолюба и правдоруба, с пустой душой, что выгорела в жестокости правды, заслепилась и ушла.

Игорь Михайлович Дедков – единственный человек, с которым я поделился увиденным. Он один из самых достойных людей, каких я знал – журналист, критик, кстати, человек с белорусскими корнями. Потрясенный моим рассказом, он просил написать о Мамаевом кургане и монументе Родины-матери. Дедков жил тогда в Москве, работал в журнале «Коммунист». Может, сильнее всего и сказалось последнее. Я наотрез отказался писать, о чем сегодня сожалею, уважая светлую память Игоря Михайловича. Он тогда, похоже, обиделся. Что-то осталось между нами не проясненное, недоговоренное.

Не так уж и нужно было ему мое писание. Время диктовало возвращение к уничтоженному, скорбно изгаженному и отброшенному. Дедков понял это одним из первых, тяготился нашими правдами и неправдами, неся в своей интеллигентно-крестьянской, переживательной душе вековую нашу, в том числе и белорусскую, вину и боль за прошлое и будущее.

Недавно мне попались на глаза слова пермского профессора о том, что наше Земля – текст, разъяснение полимпсеста – древняя рукопись, написанная после соскоба прежних письмен. На нашем шарике не счесть отредактированных таким образом и отцензурированных, иногда хамски стертых и выжженных текстов. Переписчиков истории, редакторов, цензоров, Неронов, Ермиловых, Ярославских, и Авербухов во все века было в избытке. Первоначальный смысл писаний размывался и подменялся, согласно идеологии, духовности и интеллекту власть предержащих. Уверен, что Дедков еще задолго до перестройки и гласности думал и искал настощие, первоначальные полимпсесты, свободные от влияния заказных мифов. Работал по-крестьянски, никого не оповещая об этом, глубинно и молча. Потому что именно тогда, на стыке столетий, начался крик, визг и лай – подняли голову новейшие переписчики эпохально-планетарного текста. Полимпсесты надвигающегося третьего тасячелетия от рождества Христова. Их, по Высоцкому, буйных, набралось, как чертей в аду. И каждый со своей головешкой. Только, как стало ясно позже, не было среди них настоящих вожаков.

Мамаев курган с его символом Родины-матери уже давно нуждался в текстовом лечении, освобождении от коросты мифов казенного патриотизма,

очищения от исторической лжи и обмана. Может, потому он и был превращен в огромную советскую коммунистическую уборную. У нас на Беларуси тоже великое множество монументов, древних курганов – восклицательных и вопросительных знаков и точек остановок времени и истории, по местным определениям, копцов и волатовок. Как будто бы копцы – это могильники. Так ли это, не мне судить. На Полесье копцы – зимовальные ямы для картошки. Волотовки, по местному, – богатырские усыпальницы. Они быстро исчезают, соскабливаются, истираются – до гальки, песка в них, так необходимых новостройкам. Домовитые пустодомки усердно пашут, не покладая рук. Слепые гусляры могут сегодня петь свои баллады и былины при долинах, ближе к преисподней. Хотя, где сегодня сами эти гусляры. Один баянист на всю Беларусь.

Вопреки названию, Мамаев курган, как обэтом свидетельствует официальная история, к татарскому хану Мамаю не имел ни малейшего отношения. Мамай и курган – по-татарски слова, схожие по звучанию. Согласно иному предположению, в переводе с древне-тибетского – мать мира. Под курганом – это уже из последних исследований уфологов – геологический, разлом, струящий неизвестное сегодня науке облучение.

По преданиям, древние сарматы хранили в кургане священный меч. Святая Богородица повелела Тамерлану, явившись к нему с тем мечом, сойти отсюда прочь. Персидский царь Дарий впервые, задолго до Отечественной войны 1812 года, во время походов на скифов, вблизи кургана применил кутузовскую тактику заманивания врага на свою территорию (интересная тактика великих полководцев пригодилась и генералиссимусу И. В. Сталину).

И наконец, Мамаев курган с монументом Родины-матери – якобы ключевая точка уничтожения планеты Земля при наступлении апокалипсиса, конца света. Потому и разгорелось там великое побоище – Сталинградская битва и одновременно лихорадочные поиски, археологические раскопки, проводимые фашистской организацией «Ананербе» (наследие прошлого, память предков). Искали древние артефакты, прежде всего – чашу Святого Грааля, которая, по преданию, была спрятана на кургане. Вот, дескать, почему ни Сталин, ни Гитлер, несмотря на жертвы, не хотели от него отступиться.

После окончания битвы на Мамаевом кургане не было и пяди земли, свободной от металла. На каждый квадратный метр припадало от пятисот до тасячи двухсот пятидесяти пуль и осколков снарядов, бомб и мин. Потому по первому освободительному году Мамаев курган не зазеленел: трава не смогла пробиться через металл.

Советская действительность исправила положение – унавозила почву кровавыми мифами, символами и святынями. Переписала чуть ли не все

сразу тексты, полимпсесты, рукописи своей и чужой земли, низвела их до собственного скудоумия и ничтожества. Как же мы сжались и поблекли, измельчали, добыв огонь и покинув пещеры.

Почему у нас более или менее получается – осквернять память, гадить на могилы предков да на вечном огне жарить шашлыки и спариваться на могильных плитах?

Такие наши сегодня писания и послания будущему. Тексты, рукописи и полимпсесты творцов новых идолов и идолищ, манкуртов и зоилов.

Двери на замке, ключ – в вечности

Рассветы были мглисто тихие, но затаенно жесткие. Из приземленно приблизившихся горизонтов кроваво пораненно выглядывало солнце, вприщур холодно смотрело на не согретые еще людские селища. И невольно после ночи первый взгляд на землю – себе под ноги. А нету ли инея, снежно ледовых змеиных застругов, морозного увядания травы. Этого еще не было. Земля дышала неизбытым пока летом, назапашенным на осень теплом. Но все равно, вопреки глазу, приходилось вздрагивать и по-собачьи передергивать телом. Не от холода – предчувствия его.

Где-то далеко и невидимо жалобно курлыкали журавли. Неслышными каплями из длинношеих краников скачивалась на землю вода. Таких краников, не только со змеиными шеями, но и долговязых, цыбатых, и одинаково неисправных, было много. Вода из них уже на склоне поляны журчала ручейно. Возле нее, по- девчоночьи присев, тоненько попискивали маленькие и худые жабки, каждым утром неизменно, будто рисованные или намагниченные, восседающие здесь. По всему, совсем не ради того, чтобы утолить жажаду. Влаги в степном краю уже было достаточно. Нечто иное понуждало их искать здесь свою погибель. У самотечного игрушечного ручья их с завидным постоянством ждали змеи – ужи, а иногда и гадюки. Больше желтоухих, с веретенно заостренными хвостами ужей. Гадюки лишь изредка и не кучно, вкраплениями красных пятен ушей угрожающе и тяжело покачивали кошельково-чемоданными головами с полусощепленными челюстями, но готовым к убийству раздвоенными жалами языков. Все змеи держались своего царства и своей породы, словно находились в состоянии войны, а у свежей воды вынужденно блюли нейтралитет, примирясь на время у почти общего стола.

Но это перемирие было лишь гадовым, касалось только ужей и гадюк и ни в коей степени не распространялось на иных присутствующих в общепитовской столовой, своеобразном закрытом распределителе на природе и у воды. Гады возлежали в непросохшей еще от росы траве, время от времени приподнимая головы, готовно, широко, до бели и красноты в горле рассунув пасти. Жабки, наструнясь, приближались к ним почти по Ильичу: два шага вперед, шаг – назад. Лупоглазо упирались в раверзшуюся перед ними

неизбежность, но обреченно и даже упрямо шли навстречу ей, дрожаще трепетным телом подвигали себя к смерти.

Змеи расслабленно и почти недвижно, хотя и узловато, бугрились. Были уверены: сбоев не будет, все давно уже предрешено. С терпением, свойственным лишь нежити, поглотительной вечности лениво ждали. И не обманывались в ожидании. Жертвенная жабка в последнюю минуту глумливо обретала скорость и ловкость. Мгновенно, покорно выпростав венно синие задние ноги, струйно впрыгивала в пасть гада. Прощально, сдавленно пробовала оттуда пискнуть, но пасть уже закрывалась и не пускала голоса. Из нее лишь на миг высовывались лаженно белые лапки, будто обвисшая и перевернутая с десятью намеками на пальцы ладонь новорожденного, а скорее мертворожденного ребенка. Судорожно цеплялись за воздух, вздрагивали и пропадали, как в прорве.

До последнего в этм карнавально театрализованном смертельном шоу было что-то до ужаса завораживающее – извечное творение и творчество смерти, а значит, – и жизни, перевод живого в неживое. Действо, хотя и противное, А по сути – явление, хотя и противное, но полностью человеческое. На том стоим.

Чем я лучше тех же змей. Мне тоже необходимы жабки. И совсем не фигурально. Жабки мне нужны на насадку для ловли местных сомиков, коих здесь немеряно. И каждый словно по заказу – под килограмм. По всему, очень нахальные или голодные, опережают родителей, потому и гибнут второпях, гонясь за жабками на моем крючке. Я охочусь за ними вместе со змеями. Насаживаю, не обращая внимания на их гибкое и верткое сопротивление, на тройник своей донки. Закидываю с берега вглубь проточной воды одного из многих рукавов Волги – камызяцкой Воложки. Меня распирает, корчит рыбацкая страсть. А так, с килограммового сомика и навар, и жареха небольшие – голова да хвост. Меж ними – усы и уши. Только добытчик-змей во мне не брезгует и недомерками-малолетками.

Да, я уже в Мекке, конечной точке моего паломничества едва ли не через половину всей советской страны. Выпадение из Мамаева кургана, бегство от Родины-матери казались подобными былому уходу из родного дома в беженство – беспризорничество. Удачно, что под это мое настроение власти города Волгограда угодили мне с дорогой. Я нарекал на трассу Москва-Волгоград. И напрасно. Почти сто километров, на которые раскапустился у реки город-герой, впечатляли гораздо сильнее.

Во-первых, бесконечная стая машин, в большинстве грузовиков. Во-вторых, разнавоженный, расплавленный асфльтовый чадный гудрон. И смрад, вонь, выхлопных газов, как водится у нас, неисправных двигателей. И выбоины на выбоине, как прыжки с пня на пень на лесосеке или с кочки

на кочку в болоте. Все, что ел вчера и даже неделю назад, просится на волю. А ко всему – марсианский упадочно сюрреалистический индустриальный пейзаж. Каменные или металлические толстозадые градирни, банно парящие котельни, трубопроводы в соплях стекловаты, провисшие провода ЛЭП. Ты в плену, в заточении дороги, как во чреве какого-то космического пришельца, неземного механического монстра, переваривающего тебя – не всё тебе жабок изводить, дорвались и до твоего венценосного чела. Напряжение и сосредоточенность, внимание – только дороге, как на ледовой дороге жизни Ладожского озера во время блокады Ленинграда.

Такое сравнение, хотя и неосмысленно и совсем не из моей жизни, наплывало из подсознания, накладывалось на свежую память Мамаева кургана, Калиновки, Бобринца, всей дороги к Волгограду – Сталинграду – Царицыну, вгоняло в тоску и печаль. Тоску и печаль по так громко и при ясном солнце обещанном мне и тихо забытом, не исполненном. Пророчили в то время, когда я утром прятал под матрас фабзайцевскую пайку хлеба, чтобы сьесть ее перед сном вечером: через двадцать лет хлеба этого будет всем от пуза. И с маслом. Наступит рай, придет коммунизм. А через шесть лет после ожидаемого прихода рая – грохнул Чернобыль. И в каждую хату, каждому в кровать и под подушку вполз, забрался мирный атом.

Вот и сейчас сквозь светлую даль проклятых надежд и желаний, некогда бежавших за поколением и грозивших сбыться, запечным сверчком скворчит тревога. Напряженное ожидание впереди засады, западни, вроде рая и Чернобыля. Учен, заезжен и бит был я, как и мое поколение, такими ямными дорогами – прямо в светлое будущее, только потерпите немного, потуже затяните пояса. Как сказал один из наших уже сегодняшних вождей: мой народ будет жить плохо, но недолго.

Дорога в Мекку влекуще, хотя и довольно равнодушно, разматывалась впереди меня. Может, и обещающе, как мне думалось, хотелось думать. Но загадывать что-то наперед и тревожиться было некогда. В дороге так: если уж пошел, то куда-то и придешь. А что там будет – увидишь. Надейся на лучшее, дурак только надеждами утешается и живет. И ты должен понять – будет то, что уже было: ковыляй от одной выбоины к другой, столетие вперед, столетие назад. Одна только беда, некому крикнуть: Русь-тройка, тройка- птица, где ты?

Но из глубин столетий к нам не докричаться. Иные тройки, табуны скачут сегодня по российским дорогам, больше заморские: «мерседесы», «рено» и прочие не нашенские «нисаны». Наши же сизыми голубками и голубями, горбатенькие и ушастые, по цвету и заду схожие с лягушками, всегда остро-респираторно болящие «москвичи» времен Очакова и покорения Крыма, по-московски окающие и надсадно хакающие на каждом подьемном километре

«Оки» стыдливо и скромно жмутся к краю трассы, в надежных вожжах первой полосы шоссе, будто собирают там и клюют рассыпанное по осени колхозными грузовиками зерно.

Их водители, подобно шпротам и килькам в масле и собственном соку, испытывают в своих жестянках такое, что только посильно нашим людям да грешникам, приговоренным к вечному адскому огню. Они тоже хотели бы быть рысаками: какой же русский не любит быстрой езды. Но одних хотелок сегодня мало. Нездорова, хворовита прежняя славянския богатырская сила их взнузданных коротким дыханием последнего века коней.

Этим, наверно, объяснялась и сонная одурь красавицы продавщицы, богатырски, ни дать ни взять, Илья Муромец на печи, храпящей в станичном магазине где-то на границе России и Калмыкии. Она и рада была бы хоть чем-то торговать в том магазине, только этого чего-то там не было. Даже пыль с пряников не было нужды сдувать, потому что их, окаменелых и вечных, обязательных в сельских магазинах потребкооперации со времен военного лихолетия, не было. Хлебные полки, и те были пусты. Может, лишь в память о хлебном духе на одной из них у самой стены завалялась одинокая, в глубоких морщинах буханка черного, не исключено, что от старости, хлеба. Продавщица использовала ее в качестве подушки.

Кустодевско-купеческого сложения дива с татарскими скулами притулила соломенную славянскую головку к пропаще залежалой буханке хлеба и сладко посапывала в полумраке сочащимся хлебным духом сосновых струганых полок. Спала, как пшеницу продав, вдоль и поперек, в длину и ширину разневоленно дыша пышным телом. Мечтательно, розово и нежно улыбалась своим женским, а может, еще и чарующе девичьим сновидениям, только что пузыри не пускала. Время от времени медленно пошевеливала пухлыми пальчиками правой руки, покоящейся на крестце довольно объемных бедер. И все в ней было такое же объемное, привлекающее и зазывающе желанное.

Не сама ли великая и прекрасная страна, вздремнув, прилегла отдохнуть да немного, а может и много, хорошо так залежалась и на все забылась. Словно насосалась куклы с жеваным хлебом и маком, которую дают колхозные матери свои детям, вместо груди, уходя на работу, чтобы те больше и лучше на домашнем подворье, безнадзорно спали. Они после той куклы никому уже не докучают, играют сами с собой, говорят, ползают и спят, как очумелые, одурманенные. Так одурманенно спала и степная кобылка-казачка на пустых выпасах станичного магазина.

После пережитого и увиденного на просторах великой страны, с ее большими и малыми реками, борами и дубровами, перелесками и бесконечными полями, в большинстве уже убранными, готовыми принять семена для буду-

щей жатвы, казалось,что это не просто дивчина – продавщица, торговка спит на пустых хлебных олках, а сама земля, натруженная и усталая, отдыхает после страдной поры, тяжелых летнее-осенних родов.

Казалось, обычная бытовая дорожная картина. Но мне от нее стало не по себе. Навеянное долгой дорогой ощущение величия, широты и дали огромной страны сбивно блекло и рвалось – до перехвата дыхания. Стыдно и горестно видеть свое подлинное лицо. Хотя и привыкла, сама того не замечая, советская душа к унижению, прикидываясь и считая себя казанской сиротой, побираясь, выпрашивая черствый кусок хлеба, честным трудом заработанный, на паперти, но это было последней каплей. При несомненном изобилии, земной благодати и вдруг такое. И главное – не осознанное и даже развлекательное. Глазу весело, а на душе гадостно. Сжимается она от боли и стыда.

Просветлела и обнадежилась она лишь в Калмыкии, давно привлекавшей меня, хотя не понимаю и не знаю, почему и чем. Скорее, горькой долей ее народа, которого в войну лишили родного очага, родной земли, родины. Сам живя в немой стране, я не мог не сочувствовать чужому горю. А оно в Калмыкии и в то время еще ощушалось. Одним поколением беды всей страны, народа не избыть. Печать ее и в облике, на лицах и в глазах, даже в одежде людей – как в каждой женщине память того, что ее некогда изнасиловали. Но через это былое насилие выразительны были и достоинство, мученическая независимость. И непокоренность, непрощение памяти.

Кирсан Илюмжинов тогда, наверно, еще только учился ходить. Калмыкия под его руководством еще не обещала стать шахматными Нью-Васюками, а сам он в качестве президента и даже гражданина еще не встречался и едва ли предвидел встречу с инопланетянами, как это, по его свидетельству, произошло позднее. Но все же налет своеобразной открытости и закрытости, таинственности в земле и народе был явно ощутим, как что-то замолвленное и обещанное за прежние беды: Бог не теля и не терпит крутеля – доброе и плохое оплачивает всем исправно и по заслугам. И в Калмыкии меня не оставляло ощущение Божьего глаза на ее земле.

Где-то после уже встречи со станичной казачкой, спавшей на пустых хлебных полках прежних закромов родины, я въехал в полосу бури и дождя. Меня занесло, выбросило с асфальта на рыхлую обочину. Попытался возвратиться опять на трассу, но лишь закопался в неслежалый еще песок с примесью глины. Увяз по ступицы.

Колхозный «ЗИЛок», жалкий и битый, давно и уже неизлечимо страдающий от старческого ревматизма, остановился перед моей бедой сам. Немолодой уже шофер-калмык молча выбрался из кабины. Также молча достал из кузова «ЗИЛка» буксирный трос с крюками. И в одно мгновение мягко, без

рывков и дерганья выхватил меня из обочины и поставил на асфальт. Я принялся благодарить, протянул ему три рубля. Калмык отрицательно покрутил головой, слегка прищурив глаза, как это умеют только старые и добрые люди. И этим без слов укорил меня

Но я посчитал, что мало предлагаю. И это было на самом деле мало: овес уже подорожал, и кони уже вновь грозились дохнуть. Достал из кармана пятерку. С немым укором на лице калмык открыл дверцу кабинки. Когда он устроился на сиденье машины, у меня уже наготове была бутылка водки. Он и не глянул на мою жидкую валюту, газанул, окутал меня клубами дыма и, погромыхивая бортами «ЗИЛка», укатил прочь, что на то время было очень и очень неожиданно и неправильно. Неправильно, не по-советски и не по-человечески со всех сторон. Все и повсюду, а тем более на дороге, не просто брали – вымогали, смотрели, где, у кого и сколько можно взять.

Такое наступило время, такие пошли люди. По Ильфу и Петрову, стыдливые и бесконечно вороватые на вечном фоне советской нищеты Альхены. По всей стране начались, как тогда говорили, временные перебои с тем же овсом, мукой, крупами, носками и даже мылом с зубным порошком. Зло шутили, что бы стало, если бы в пустыне Сахаре построили социализм – возникли бы временные перебои, трудности с песком.

Страна стремительно впадала в средневековье. Отключалось электричество, из-за чего закрывались и не работали придорожные столовые и кафе. Кстати, их тогда на трассах почти не было. Ничего ни на стол, ни на тормозок в дорогу. Как говорится: дожились поляки – ни хлеба, ни табаки. С табаком не ради красного словца. Курильщики с опухшими ушами штурмовали вагоны-рестораны столичных скорых и пассажирских поездов, надеясь, что если там и получат по носу, то хотя можно будет дым пустить.

И вдруг такая добродетельная встреча в Калмыкии. По прежним временам и на Полесье – ничего особого. Пустяк. А вот пронзила, осталась в памяти, любящей и доверяющей именно пустякам. Может, именно за ними и в них наше будущее, восстановленное и возрожденное.

В татарско-астраханском городке Камызяк всё еще сохранялось по-советски пристойно и благостно, особенно на рыбацкой турбазе на берегу Воложки. Все домики досмотренные и почти пустующие. В каждом по холодильнику, а то и по два. Исправно работала рыбокоптильня на ольховых и березовых опилках. Водопровод без социалистического намека на отсутствие воды в Воложке, умывальники, газовые плиты, туалеты. Хватало и электричества для освещения и насосам, подающим воду, белого пляжного песка непосредственно на пляже и на дорожках, ведущих к домикам и туалетам.

Докучали лишь беспрестанно воркующие, любимые художниками и записным миротворцам птички мира – голуби. Начиная с рассвета и целый

день, без перерыва на ночь, под крышей каждого домика над головой жителей они сердечно миловались и занимались любовью, сексом. Превратили пуританскую и привилегированную – не для ВИП ли только персон – турбазу в заурядный бордель, огромный ханский гарем. И многочисленные интернациональные – ленинградские, минские, не исключено, и варшавские, ну и конечно, вездесущие московские – понаехали, понимаешь, – коты, котяры и кошки, которые заявились сюда вместе с хозяевами, а уезжать с ними не пожелали (выбрали волю и рыбу), не могли дать им рады, прекратить сексуальный голубиный разгул и террор.

Но это были мелочи – всего только локальное проявление птичьего продолжения рода. Ничто в сравнении с горбачевской перестройкой и гласностью, которая именно тогда поймала волну и оседлала ее. Та волна катилась по столицам и большим городам. А в глубинке, в Камызяке – тишина и покой. Застой даже не брежневской поры, а еще эпохи тататрских и дотатарских времен, из которых и появилось это селение. В другой половине шестнадцатого столетия жил тут татарин, по прозвищу Кымзяк, что в переводе с тюркского – песчаная коса. На той косе и стоял его учуг.

Существует и иное суждение о названии городка. Будто пошло оно от татарского камыся, корня камыша, укрывающего берега здешних вод, очень рыбных. Рыбы было столько, что места эти нарекли золотым дном. Вот почему и двинули сюда на поклонение живому золотому тельцу, подобно той же рыбе на нерест, свихнувшиеся на ее ловле рыбаки. А в дополнение – на знаменитые астраханские арбузы, целебные для почкек и всего организма, без применения лекарств и клизм, богарные – растущие и созревающие без полива.

И действительно, более вкусных арбузов мне никогда и нигде пробовать не доводилось. С тонким ароматом, сахарно искрящиеся на разломе, прошу прощения, совсем как наша разваристая картошка, сопкие, с легким налетом утреннего инея. Аромат, запах, цвет, сладость – за языком не уследить и нос вприсядку идет и подбородок в земляничном соке. Производством и выращиванием их занимается единственный в советской стране, образованный в 1919 году и находящийся именно в Камызяке Всероссийский научтоисследовательский институт орошаемых овощей и бахчеводства. А при нем, опять же единственный в России и Европе – музей арбуза. Институт опытным путем доказал, что наша тыква – гарбуз – и их татарский арбуз – родичи. Таким образом, совсем не ягода, как нам это внушали, а овощ. И потому нам, белорусам, как у нас говорят, можно гарбузоваться – дружить. Выгодно, потому что он большой – за десять килограммов. И судьба его такая же, как до недавней поры у нашей тыквы – преимущественно корм животным.

В конце прошлого столетия институт вывел экзотический сорт арбуза «Лунный». Лунного желтого цвета и с ароматом лимона. Попробовать его не довелось, потому что случилось это уже после того, как я оттуда уехал. Когда стало значительно меньше любителей не только лунных арбузов, но и обычных, полосатых – из-за цены на них, взлетевшей едва ли не до Луны. В Камызяке я от пуза ел арбузы привычно пролетарские. И ничего. Живот, память о них благодарна по сей день.

На турбазу их завозили грузовиками. Каждый больше пуда, слегка полосатые, как притаившиеся в осенней уже траве упитанные барсуки, отзывно, струнно звонкие на щелбаны, срединно плотные, выспеленные, без излишка влаги. Различались лишь половой принадлежностью, мальчик или девочка. У девочек жопка большая, а у мальчиков – намек на нечто иное. Но, по свидетельству изощренных любителей арбузов, «девочки» вкуснее. Я до отъезда так этого и не постиг, без переборов, как заяц капусту, шатковал и те, и другие. После чего, как Татьяна Ларина Пушкина, которая, согласно школьных сочинений, очень любила природу и потому часто бегала на двор, то же проделывал и я.

Рыбалка же на турбазе и с берега, и с дебаркадера – пристани, и с лодки, обычно посредине Воложки, но на удалении от фарватера, была не очень уловистой. Схожей с тем, как у нас в гостях усердно предлагают есть хлеб, а гость думает про себя: спасибо, хлеба я наемся и дома. Такую рыбу, как здесь, я мог бы ловить и в родных палестинах, у себя под хатой.

Выезды на лодках больше были созерцательными – в безграничных просторах воды, в далеком утреннем или полуденном зыбком мареве почти невидимых колебательных берегов реки, течение которой перед тобой, похоже, всхрапывает и захлебывается, пораженное наглостью неподвижно заякоренной лодки, бревна, прилегшего посреди ее бега и не жаждущего ли приостановить его, обуздать. На нахальство человека в лодке сетует и пробегающая мимо белорыбица. Выпрыгивает из воды и протестно гибко засвечивается в зеркальном отражении полуутонувшего в реке солнца, на котором снизу и сверху поджариваются упертые и безумные рыбаки.

Один за другим вниз и вверх по течению скатываются и скользят большими верховодками неизвестно откуда и куда бегущие белые волжские пароходики, интересные нам, а мы им – нисколько. И потому они перед нами, словно призраки и привидения, подобно парусникам давних времен, чайным клиперам, спешащим в загадочные Индии или возвращающиеся из них, заблудившеся в морях и океанах и в наших реках. Вышли из больших портов, но так нигде и не причалили. Перекинулись в белых водных чаиц.

Из-под этих молчаливых чаиц мы таскаем одно лишь плоских сопливых подлещиков – безусловно, заелись на татаро-ханских водах. Дома такие под-

лещики были бы совсем не плоскими и не сопливыми. Целовали бы каждого в носик: уга, какие матерые лещи. Спина что головешка черная от нагулянного на воле жира, лениво сбереженного на песчаных косах и отмелях. Но это дома, а здесь… Не врут, на чужбине и в чужих руках все свое – больше и лучше.

Как я уже оговаривался – с берега на жабок, выхваченных из хищной пасти змей, брались только мерные, под килограмм, сомики. Брались безотказно и равнодушно, нежданно и нежеланно. Хотелось, как и с подлещиками, большего. Пещерная, первобытная душа собирателя и добытчика просила кита, мамонта. Вымерли не в пору.

Обещал вскоре начаться жор знаменитой всему миру астраханской чехони. Я как-то случайно познакомился лишь с одной из них на нашей Припяти под Брагином, не под самой ли Чернобыльской АЭС. Но тогда ее, этой АЭС, еще и в помине не было. Безбоязненно брали ягодники – ягоду, грибники – грибы, сидели по песчаным припятским берегам чуть хмельные рыбаки, удили рыбку. Там же и так же они сидели и в то роковое воскресное утро, уже с уловом, не подозревая, что он уже помечен мирным атомом. Выпивали, закусывали жареной рыбкой, лакомились ухой. Мимо проезжали другие рыбаки на рыбалку. И те, с ухой уже, предупреждали их: дальше не едьте, ребята, у них там ночью что-то ебнуло, так рвануло, что эхо и до нас дошло. Эхо аварии на Чернобыльской АЭС несколько раз обошло весь земной шарик, минуя почему-то нас.

А были, были знаки будущей беды. Неподалеку от станции с давних пор стояло местечко Чернобыль, славящееся производством церковных свечей. И нечто сакральное таилось в этом: та литая из пчелиного воска свечка многим и многим стала погребальной, похоронной. Кто-то, наверно, заранее пророчески постарался, на все века отлил поминальную свечу трем народам сразу.

Повезло мне в детстве еще в не полынно горьких, чистых наших водах под четвертым подбрюшьем будущего нашего цмока-змея изловить заморскую чехонь. И это, может, было знакомо уже мне: чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало. А потешить себя в родном краю всегда было чем, только все мы крепки задним умом, когда уже и тешиться нечем, и плакать поздно – если только кровью умыться. А чудеса были на каждом шагу, и одно чуднее другого. Из рыбацких помнится жалоба полесских рыболовов, их ужас и просьба:

– Избавь нас от этого гада, пока в руки не взяли и не опаскудились. Это же за хлеб браться придется, жонки с хат погонят.

Гад был обыкновенным угрем, о котором в Припяти на Полесье никто ни слухом, ни духом. Где-то там же была поймана не последняя ли в наших водах белуга под два центнера. А осетров в Припяти под Мозырем встречали еще после войны и смерти Сталина. И это только касательно вод и рыб. А ведь

есть еще леса, болота, земля под ногами, птицы, звери, где диковина на диковине – чудеса в решете для тех, у кого есть душа и хотя бы зачаток третьего глаза, утерянного нами, наверно, уже навсегда.

А ловля чехони в волжской пойме, как прежде у нас тихая грибная охота, грибалка, пока еще, как говорится, жук и жаба не расчухали, что это прикольно. Можно сравнить с тем же сбором сегодня почти изведенной в наших лесах брусники – бочками, в Сибири – черемши, на севере – морошки, Дальнем востоке, Курилах и Сахалине промысле людьми и медведем – лосося, когда он идет на нерест. Рыболовы-промысловики берут чехонь сетями и неводами, халявщики –черпают сачками и подсачиками. А рыбаки, любители и трудяги, ловят ее на так называемое кольцо с одним или парой крючков, навязанными к леске. Кольцо подвижно крепится к шнуру с грузом, покладенным на дно.

Простенькое и примитивное приспособление, но в сезон уловистое, хотя и однообразно конвейерное: стой, опускай, дергай, поднимай и отцепляй. И опять все сначала. Но постоять на таком конвейере тогда нам, рыболовом камызякской турбазы не выпадало. Чехонь все обещала и обещала открыть сезон, но медлила и медлила. Изредка лишь, и то на утренней или вечерней зорьке, попадались одна-две. И все, как по Брежневу: застой застоем.

Как раз в такую застойную пору мне и довелось узнать самое уловистое место, породившее Камызяк, создавшее ему славу богатейшего рыбного места в европейской части страны. Нет, не с бухты-барахты нарекли то место золотым дном, чтобы не сглазить, оно звалось сермяжно и обыденно – песчаная коса.

От турбазы к той косе приходилось добираться на машине. Можно было и по воде. Но это несколько километров по Воложке против течения. Посуху же хоть и кружно, за то быстрее и легче. Рулил, правил машиной сосед по турбазе, не помню сегодня, то ли директор, то ли заместитель директора знаменитого театра на Таганке. Он же был и на веслах своей складной лодочки.

Песчаное или золотое дно напоминало Золотую орду, Куликово поле, густо засеянное малоподвижными единого облика – камуфляжно-военной маскировки – подделками под людей. Издали они казались вообще неподвижными, так были увлечены и сосредоточены среди сталистой водной глади, похоже, онемевшей от их количества и железной решимости их сурово каменных лиц. Настолько машинно и однообразно, выверено было их малейшее движение. Качок вперед, качок назад – и только верхней частью туловища. Задняя чугунно недвижна. Пара качков – и возврат, замирание тела на лодочном насесте. А звуки – скрежетание спиннингов по боковинам лодок, а порой и сабельно шпажное сцепление их в воздухе, майско- оповещательный соловьиный посвист лесок, всплеск блесен в воде, скрип весел в уключинах – были

явственно близки к тому, как живая кость о кость, или лоб в лоб, рог в рог, сходятся в борьбе за самку несколько рослых баранов.

До рати, тьмы и тьмы рыбаков, их промысловой флотилии оставалось метров триста-четыреста, кода мой напарник перестал грести, опустил весла. Лодка по инерции скользила по воде.

– Что-то случилось? – спросил я гребца, уже охваченный лихорадкой ловли.

– Случилось! – ответил он. – Неправильно все это.

– Что же неправильного? – Заоглядывался я.

– А то, что ты сидишь, а я работаю. Везу тебя. А где это видано, где это слыхано, чтобы еврей возил белоруса.

– Не переживай, – успокоил я его. – Было время, были и мы рысаками.– И, немного погодя, пока он переваривал сказанное, добавил:

– А ты, оказывается, сионист, русофоб с белорусским вывихом. А мы вас любили и оберегали.

– Это как же и когда?

– Не так уж и давно, когда вас отовсюду поперли за черту оседлости.

– Да? Правда?

– Горькая и вековая наша, белорусская правда, – посетовал и подтвердил я. Но он, похоже, не поверил мне. Разговор начался вроде шутя, а грозил закончиться купелью. Не приспособлены мы, полешуки, к трепу. А надо бы, надо когда-то и нам равняться с веком. Иначе задолбают, заклюют.

– А ты посмотри, сколько сегодня в твоем Израиле наших людей, во власти одни только Голды, Моши и Даяны – все из белорусских Сморгоней, Бобруйсков. Правда ведь, палку брось – в ваш кнессет попадешь, в шчырага белоруса то ли из Воложина, то ли из Мозыря, в того же Мотеля из Мотыля.

Я замолчал, осмысливая то, что наговорил. Кажется, ничего, заяц трепаться не любит, хотя и умеет. Конкретно и по делу, как думал. Я действительно гордился нашими евреями в Израиле как родными нам по крови, а в чем-то и по судьбе. Глядя на них, самому хотелось быть немножко-немножко, чуть-чуть евреем – не помешало бы. Хотя колол и свербил вопрос. Вопросик. С восклицательным знаком и многоточием. Немой и без ответа. Ради чего сошлись и разошлись, по-белоруски – задница об задницу, горшок о горшок. Каждый собрал свои черепки – и прощайте: уносите свои игрушки, я с вами больше не играю. Неужели так просто, необратимо и слепо завещано и исполняется все на белом свете. А хочется верности, доверия без дележа на своих и чужих. Где же ответ, ключик ко всему этому? Хотя и замочка не видно. Может, его и нет, и не было. Только ключик мы все ищем и ищем. Приговорены вечно искать его. И дан нам маленький, совсем ничтожный намек. Человек анфас на свету или во мраке удивительно напоминает замочную

скважину. Не во вселенную ли? И у кого тогда, простите меня за настырность, ключ?

А Золотое дно в тот день оправдало свое имя. Окзалось и для еврея, и для белоруса в самом деле золотым. Среди сплоченных рыбацких рядов нашлось и для нас место. Притабанились, заякорились, расчехлили спининги. И пошло, поехало. Правда, поначалу у моего напарника. При каждом забросе – окунь. Не сказать, чтобы очень уж завидный, граммов двести, двести пятьдесят – деловой, посолив, можно есть. А у меня… Стегаю, стегаю воду, и только где-то на пятый, а может, и десятый заброс – окунек.

Мой более удачливый товарищ присмотрелся к моей блесне и обозвал ее непотребными словами:

– Безрукий ханыга с похмелья на коммунальной кухне склепал ее. Только самого себя, и то за хвост, ловить ею. Вот тебе от евреев за горшечно обливанный и запечный прежний приют.

Пожертвовал мне свою блесну, импортную, бирюзово голубую, похожую на девичьи модные сережки, потянутые цыганским золотом – медью или бронзой. Сразу же пошло, поехало и у меня. Я даже обловил своего еврейского собрата. Он долго и совсем не ласково по-еврейски, кажется на идиш, ворчал. Только я не очень вслушивался. Мне начала уже приедаться такая промышленная рыбалка – забрасывай и тяни. И только одни окуни, все как на подбор, на один копыл. Одного размера, одинаково глазастые, балаганно яркие и растопырено-колючие. Хоть бы какой-никакой захудалый сомик подкрался или мать окунька согрешила, отдалась щуке. Но до омерзения добродетельная порода.

Досадно, с какой стороны ни посмотри. Немного все же подловатое занятие –изведение рыбного поголовья. Окуневый геноцид, не тихое и занятное хобби. После такого колхозного хапуна окуня здесь и на развод не останется. Только так укоряюще я думал, а добычи, ловли не прекращал. И окуней натрамбовал под самую завязку садка, пуда под два. На турбазе сразу же бросился коптить их, что, забегая немного вперед, отрыгнулось мне уже в Минске. К будке ГАИ столичного города я подъехал ночью. Гаишник остановил меня, скорее страдая от тоски и безделья. Сонно и рутинно проверил документы. Зевнул, широко открыв рот, но закрыть его не смог, не успел. На глазах мгновенно воспрял, переродился и напрягся. Официально, служебно-милицейским голосом обратился ко мне:

– Чем же это так воняет, аж смердит?

Я не выдержал и по-хамски, потому что не чувствовал за собой никакой вины, подловато пошутил:

– До вас ничем не воняло.

Гаишник раз и второй обежал вокруг моей машины, по-рыбьи мелко перебирая губами, молча вздрагивая носом, как это проделывают специально вымуштованные на наркотики таможенные собаки, приказал мне:

– Выйдите. Откройте багажник.

Мои копченые окуни вместе с прочей рыбой были сложены в целлофановые пакеты. Но и сквозь них так шибануло, что гаишник даже зашатался, слегка притацовывая на месте.

– Чем это так?.. – Уже, безусловно, зная, чем и как, заискивающе- одобрительно спросил он.

– Камызяком, – ответил я.

– Звучит погано, а пахнет вкусно.

Я в обе руки, сколько можно было вобрать, захватил своих копченых окуней и протянул гаишнику. Тот принял их так же в обе руки, прижал к груди и головой подал мне знак: можешь ехать, наверняка уже предвкушая пиво.

А побывать на песчаном дне или Золотой косе вторично мне не довелось. Не было, с кем, напарник мой укатил домой, в белокаменную. Ленинградцы придерживались турбазы, поляки – магазинов, базара и барахолки, приторговывающей черной икрой из-под полы. А сам я не очень рвался – сбил оскомину, и достаточно. Тем более и на месте, с берега, в Воложке рыбы хватало на всех, кто в то время там отаборился. Компания собралась разношерстная и непростая. Профессор какого-то закрытого исследовательского института или номерного ящика, брат моего напарника по Песчаной косе, журналист, молодая пара с маленькой дочкой, сотрудники также какого-то хитрого закрытого учреждения. Все они больше использовали бархатный сезон, чем рыбачили.

Истовым рыбаком был только я. Все еще надеялся на царь-рыбу, ради которой сюда и пробивался. Она же избегала меня, да и лодку я не всегда с утра успевал заполучить, единственную на весь наш кагал на турбазе. Остальные свезли и припрятали уже на зиму. И на одну ту лодку, пользуясь отсутствием заядлых рыбаков, положили глаз два сорванца – сыновья директора турбазы. Последнего звали Михаилом Александровичем, как Шолохова, был он немного и похож на него, чем невероятно гордился. Был на своей турбазе даже больше Шолохова в Вешенской. Очень смешливый, как и его жена, будто кадушечка наполненная улыбками и смехом. Их смех с утра до вечера со всех сторон сыпался по турбазе, звоночками катился по гребням волжской воды.

Над чем смеялись – неизвестно, но само собой, не с горя. Хотя, по одной из неоспоримых примет той поры, тезка Шолохова походил из сидельцев. Тогда, как ни странно и дико в этих благодатных на все южных краях, в том числе и на выращивание чая, он здесь был в огромнейшем дефиците. И не

только здесь, даже в Краснодарском крае и на Кубани страдали из-за его отсутствия, особенно былые зэки – заключенные, пристрастившиеся по тюрьмам и лагерям к чифирю. И Михаил Александрович первым делом спрашивал каждого вновь прибывшего, привез ли он с собой чай.

Сыновья его, как две полированные татарские стрелы, одним словом, пострелы и пройдохи, частенько опережали меня с лодкой, уводили ее из-под носа, и мне поневоле приходилось присоединяться к коллективу и вынужденно не рыбачить, а ловить кайф: поджариваться и коптиться, подобно окуням, только на пляже. Смотреть, наслаждаться, видя, как танцует на белом и легком волжском песке, вихрит его тонкими обронзовелыми ножками маленькая и очень ладная девчушка – дочь молодых сотрудников хитрой конторы.

В отличие от законспирированных родителей, она была очень общительной, говорливой, доверчивой и очень артистичной – многим народным и заслуженным до нее семь верст пехом, и все лесом. Родители звали ее Ксенькой, а все прочие – Синичкой. Девочка полностью оправдывала свое второе имя. «Луи, луи, не нужны мне ваши поцелуи» – непрестанно, с коротким перерывом на обед напевала и танцевала она, почти не оставляя следа босыми пятками на песке и не обращая внимания на то, есть ли у нее слушатели или зрители. В общем: «птичка Божия не знает ни печали, ни забот». «Луи, луи, не нужны мне ваши поцелуи…». Как сегодня мне кажется, других слов в ее песне не было. По крайней мере, я не помню. «Луи, луи» – звонкое чистое теньканье почти одомашненной синички в вишеннике у спелой уже ягоды или тонкий клич чайки над пенно переливчатой волной бегучей волжской воды.

Девочка действительно походила на сказочную птицу. Может, на ту же птицу Феникс, которое тысячелетие возрождающуюся из огня. Бирюзово зеленоглазая, под неуловимо переменчивый, плавающий цвет глаз – газовая разлетайка, шарфик или косынка-платочек на гибкой шее. Пальчики, посеребренные самодельным педикюром, потянуты легкой патиной песочной пыли. Вся она ящерково верткая, дразнящая, предвосхищающая свою будущую женственность. И все в меру, в меру. Нисколько она не переигрывала и не рисовалась. Только: луи, луи, не нужны мне ваши поцелуи…

Вот такая пастораль уже невозвратно перестроечного, но еще советского времени. А мы статисты в пойме реки Волги, или древнего татарского Итиля, неподалеку от дивного города Камызяк.

Величавой России страница
Заповедная наша земля.
Камызяк – ты Отчизны частица,
Здесь наш дом, и друзья, и судьба.

Хотя насчет дома сегодня спорно – чей он. А судьба была типичная. В Сибири, в Горной Шории, когда я там жил, так же, как и в Камызяке, было больше зеков, заключенных, нежели коренных жителей – шорцев. Хотя сидели не сами шорцы, а понемногу – представители всех вольных народов великой и необъятной родины, где так вольно дышит человек. То же самое было на ту пору и здесь. Сидело большинство мужского населения города. А те, которые не сидели – или уже отсидели, или готовились сидеть. В солнечном знойном городе арбузного края преимущественно на свободе проживали женщины, приветливые, улыбчивые, гаремно прекрасные.

Объяснялось это просто. Татаро-астраханский угол, город Камызяк славился не только бахчами, арбузами, но и паюсной икрой. Черной икрой осетровых, которую местные жители умеют необыкновенно вкусно солить. Изготовляют буханками и караваями, как некогда в деревенских печах выпекали хлеба. Такие же загорелые, но не передержанные в печи, словно ржаные куличи, сушеной осетровой икры долго хранятся, не закисают, не черствеют и не плесневеют, как настоящий домашний хлеб, освященный святой водой. Набрось на такую выпечку немного влажный рушник – и это опять свежая, сочная, словно только-только выцеженная из осетра икра. Вот потому и мало на свободе мужиков в Камызяке – ровно столько, сколько требует икорное производство. Работать особо негде, да и кому нужна эта почти бесплатная работа. Одни из мужиков на промысле, на водах, другие – в местах отдаленных. Потомственные браконьеры и такие же потомственные сидельцы. Таковы издревле наши пасторали и наши пейзане. Мужики по ночам браконьерствуют, воруют, жены – продают. Вместе дружная советская семья.

Пусть на вольном каспийском просторе
Развевается Родины флаг!
Так живи, процветай вместе с нами
Отчий дом наш – родной Камызяк!

Неуютно и горько, а больше позорно признаваться в нашем провинциальном прозябании в небольших стойко сплоченных своячеством, иногда и уголовным, в гордка и поселках городского типа. Молодежь там в родительском доме словно квартиранты, временно снимающие угол для прожитья.

Российский ученый, филолог, историк, писатель А. П. Чудаков упрекал большевиков в том, что они почти полностью уничтожили и изнасиловали местечковое провинциальное культурное пространство. А оно пед октябрьским переворотом 1917 года уже было создано. И не малое, не в пример развитому социализму и сегоднешней духовно дубоватой демократии. Пространство то затоптали, опустошили и урезали. То же произвели и с нашими белорусскими болотами, малыми реками и ручьями, без которых измельчали и

реки большие. И не только, не едино. Исчезла, пропала среда обитания – пропал народ. Люди, новорожденные дети стали ненужными самим себе, родному дому и миру.

Такую отчужденность от всего сущего я ощутил на себе в конце моего пребывания в Камызяке. В нем, вопреки его искренности, приветливости и открытости, было что-то и глубоко сокрытое – доброе, плохое, не могу судить. Но только именно его и в любую минуту грозящее обернуться и благом, и бедой. Замкнуто столетиями и в столетиях такое, к чему пришлому, наезжему человеку и прикасаться заказано. Как и нельзя судить о настроении и характере по улыбке африканца или восточного человека. Что на самом деле у него на душе, впитано с молоком черной или желтой матери, что придало цвет его коже, львиную или тигровую настороженность и опаску, совместимую с хитростью змеи, обманчиво созерцательным равнодушием к внешнему миру обезьяны – все это за семью печатями. Как и многое другое. Это не клаустрофобия, и не в осуждение лишь потому, что мне чуждо. Грешно укорять другого человека за то, что он иной. Иные все мы – сие сокровенно, сакрально.

Это сакральное, свое и чужое накладывалось на меня и снедало. И было оно живым. Живым всегда и во мне. С детства, книжно вошло в меня из повести М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», главы «Тамань», кажется, ощущение мистики, мрачной таинственности, влекущей и отвращающей. Нечто похожее оживало и сейчас, в Камызяке, может, потому, что он не так уж и далеко от Кавказа Лермонтова. А скорее всего – полнился теми красками и неясными звуками, детским первичным пробуждением души, сокрытого во мне брожения тайных желаний, той же мистики, добра, зла, что было, да так и осталось за семью печатями. Сливалось с художественнм вымыслом и угрожало превратиться в реальность. Простиралось гораздо дальше моего я тогда, а сегодня так же далеко за границы Камызяка и всего астрального ханства, просторов, которые я преодолел, добираясь сюда. И дальше – уже через время, световые годы. И совсем небезобидно и небезопасно – на разрыв и исчезновение.

Ощущение опасности, угрозы, исходящей отовсюду, подкреплялось туманной неопределенностью чужой, блуждающей по планете памяти, может, того же африканца, восточного желтого человека или татарина, Камыся, от призрачности привидений которых я не могу отбиться. Опять же – невозможности избавиться от цепкости моей читательской памяти, до судорог впечатленной в детстве «Вием» Гоголя. Я воплощался в Хому Брута в ночном мраке церкви. Ничтожный, грешный и земной, распятый в Божьем храме сонмом аскетичных ликов небожителей, апостолов и святых угодников. В очерченном мелом, не позволяющим свободы, круге, обещающем неприкосновенность нежити. Стремился разрушить ограничение, хотя бы расширить

его, и не мог. Не представлял, от кого или чего надо защищаться, а больше – в чем моя вина, кто наслал на меня земные страхи. Подсознательно все же чувствовал – виноват, заслужил, пожизненно к ним прикован в Храме Божьем, распят. А избавиться, вырваться было посильно.

Всего-то ничего и надо было – ступить за нарисованный крошащимся мелом круг. На самом деле и запретного круга не было. Потому, наверно, и выйти из него, из того, чего нет, что только воображается, невозможно. Замкнутость, запертость и безнадежность были во мне. И сам я казался себе чужаком, по крайней мере, кем-то подмененным. Помененным на кого-то другого, постороннего, никому не нужного, в том числе и мне. И потому непреодолимое желание выйти из этого пришельца, снова стать самим собой.

Но не это ли было со мной совсем недавно. Out the bodu. Всего лишь неделя-две тому, как я выходил из собственного тела. А сейчас не наоборот ли: я загнан, намертво заперт в своем же теле – вот мой круг. И я не знаю, что избрать – утрату себя, выход из собственного тела или тюремную замкнутость в нем: что камнем по лбу, то и лбом о камень – вот замкнутый круг, крючок, на котором мы пожизненно зависли. Эта картина навсегда в моей памяти, я уже вспоминал, с того времени, когда я в студенчестве зарабатывал на хлеб с маслом на кемеровском мясокомбинате. Бесконечная конвейерная цепь освежеванных и замороженных туш говядины на стальных крючьях балок огромного холодильника. Картина, которая приснилась мне в Вербную ночь перед православным Великоднем – Воскресением Христовым – 26 апреля 1986 года. Накануне Чернобыльской кстастрофы.

Социологи и психологи объяснили и окрестили подобное явление созданием у человечества катастофического сознания – сознания самоуничтожения и самоубийства, к чему приводит замкнутость мира на самом себе. Иначе – короткое замыкание пространства и времени, веков, столетий. Именно в такую пору как раз и рождаются мостры, цмоки-драконы – Ленины, Сталины, Троцкие, Гитлеры.

Общеизвестно, что наша жизнь – игра за уголовника, злодея и полицейского. Каждый живой играет за двоих. За одного я уже отыграл. Только никак не могу понять – за кого. А если искренне, боюсь роли и того, и другого. Потому что там, мне кажется – безлюдье.

Индиговая девочка из поколения будущего, более умного, но и более жестокого, как пророчествуют сегодня Фрейды и Юнги, танцует на берегу вечной реки тех, кто свое уже оттанцевал. А она продолжит танец, будет расплескивать и вихрить просеянный сквозь сито веков белый песок. Мелкие, невидимые без солнечного луча песчинки древней пылью, прахом прошедших здесь людей, пристают к ее босым, уже познавшим землю ногам, оранжевым пятам и позолоченным волоскам на голени выше щиколоток. Девочка

не только танцует, но и поет. Неизвестно кому – небу, солнцу, тем, кого уже сегодня нет, самой себе. К ее пению прислушивается и одинокая чайка. Время от времени неумело и грубо подтягивает ей, гортанно вскрикивает над гладью неиссякаемой реки, словно окликает давно и далеко уплывших, перевезенных Хароном во мрак другого берега. Сложив белые крылья, словно желая последовать за ними, головой дробит и размыкает воду. Но только головой и на мгновение. А в следующее мгновение – круто взмывает в небо, держа в клюве что-то расплавлено-серебряное, подвижное.

Другая чайка, как подстерегала ее, незаметно, не колыхнув и крылом, облачно и беззвучно ныряет в дымчатый над водой воздух. А вослед ей неземно и кристально чисто: «Луи , луи, не нужны мне ваши поцелуи».

Над бескрайностью вечного покоя воды танцует и поет девочка. Индиговым глазом хранит и оберегает дремлющую тишину полуденного противостояния солнца и земли, слившихся в предосеннем поцелуе. Может, у невидимой лодки Харона или на другом уже берегу приветственно и прощально кричат отлетающие в вырай журавли, кликом вышибая или множа нашу обоюдную тоску.

Вечный зов воды

Журавлиным кличем истаяло, уплыло на далекие и теплые юга наше капризное хмарное лето. Хотя на Полесье оно не такое уж хмарное – по числу солнечных дней, как свидетельствуют синоптики, не уступает самой Одессе. Цыганисто ярко изукрасились, загорелись берега Горыни и Морочи с Птичью, Неначи со Случью – Припяти со всеми ее притоками и незаметным ручейком с сакральным именем Харибда. Из прибрежных, почти бездонных ям, омутов и виров, остроспинно и тускло поигрывая чешуей, выкатываются на последний костерный прогрев уже готовящиеся залечь на зимовальный покой язи с лещами, сомы и прочая всегда юркая дребедень, уже ленивая для буйного и жирового жора. Клев почти повсюду примолк, приглох, а то и вовсе прекратился: не клевало, не клевало и совсем перестало. Лишь изредка удается подцепить простодушно туповатого ерша-носаря, эмигрировавшего, покинувшего по осени раздольную реку-маму и во все тяжкие бросившегося к сестрам и братьям ее, в реки малые, едва ли спасительные на зимовье. Что ж, бывает: от добра добра тоже ищут, по крайней мере, мы с вами – не всегда от худа бежим. Словно по зову или наказу. В нашем случае – надо делиться, хватит самим чревоугодничать и лишаться с жиру живота на крючках – сковороде, в казанах и кастрюлях, в печи и на костре.

И рыбье царство наказу этому, похоже, вняло. И пришла погибель удочникам. Наступил мертвый мертвый сезон. А проще и точнее – межсезонье. Время большой рыбацкой тоски и скуки. Жертвенно снедающее ожидание.

А, как известно, это и есть рыбацкое счастье – вечная надежда, вечная жертва – главная составляющая нашей земной бренности: а вдруг. Готовность жертвовать и сохранять надежду, как говорят наши классики – мать дураков. А мать мы любим, потому из века в век и томимся гложущим ожиданием своей белорусской доли, таким бесконечным, что нам уже кажется, будто это доля у нас уже за пазухой. Мы пригрели ее, как в чужом гнезде кукушонка, забыв свое настоящее и будущее. Извели свое звание и призвание во вневременье изнуряющего, немого и немощного бессилия.

Хотя в осенней перемене погоды и настроения, в межсезонье, все немного иначе, мягче – больше неосознанная тоска, скорее птичья при отлете в вырай. И нам подсознательно мерещится наш земной вырай, потому что мы с птицами едины в неизбежности расставания. А тут еще первобытная наша печаль, родовая и корневая – нетерпение и подстегивание времени. Желание перемен, журба по первому льду, которого нет и не предвидится в тумане, что беляще кладется и слизывает, истачивает землю и небо сначала имжа-

щей осенней порой, а потом и непререкаемостью календарно-зимнего времени. Сырое и блеклое небо, словно нехотя, по принуждению, сближается с такой же осклизло оплывшей землей. Мы утрачиваем ощущение не только времени, но и пространства, раздольности. Возвращаемся опять туда, где уже изначально были. Были, забыли, приспали, отреклись – в пещеры. Мир обуженный, плоско одномерный, ограничительно стиснутый. Наше обманутое, искусственно вытравленное тоскующее прошлое, наконец, радостно настигло нас.

Сегодня, в годину межсезонья, безвременья, словно проникая отмирающим умом в прошлое, душа начинает восставать и просить воспарения. Того, что ей было наречено Создателем, какой потаенно была издревле в омытой кровью истории. Приговоренная к вечному бунту и распре с самой же собой. Душа прирожденного добытчика, собирателя и убийцы, по сути – вольного зверя, хищника. Душа охотники и воина, а это значит – и душой рыбаря, которой правят подсознание и инстинкты. Потому так и силен в настоящем рыбаке неукротимый дух свободы и своеволия, приказной зов добычи и ловли, стремление к единоличности и простору в убеждении, что все это он и его. Эйнштейн в свое время говорил, что знает два вида бесконечной глупости – Вселенной и человеческой. Правда, в бесконечной глупости Вселенной он все же сомневался. Остается, да, человек. А в нем – рыбак, по природе, опять же, киллер и альтруист. Безнадежно пропащее сегодня существо, вымирающее и неподдающееся естественному отбору, потому что не от обезьяны. А может, может, как раз…

Потому так и манят его лес и вода, и костер в ночи, как незатухающий глаз вечности, завет предков. Манят и притягивают, сбивают с ноги и направляют ее птица – пророчески и смертно ухнувший в ночи под ногу, руку или мысль о собственной бренности лупоглазый и лопоухий филин; зверь – совсем не сонно сверкнушим в лесной темени семафорно стопорящим красным глазом; рыба – спохватившаяся обидой немилосердных к ней столетий. Все они почти как люди, человеки и совсем неподвластные людям, человекам: когда спят, с палкой подойти можно.

Братья наши меньшие, хотя это имперское «меньшие» весьма и весьма сомнительно. Здесь всегда думать надо: кто говорит ку-ку или кукарекает. Но как бы в конце концов ни сталось, в отличие от самозваных старших, свято хранящие и берегущие имя и звание свое, тайну рода и… кровного побратимства с человеком – его неукротимым азартом и жаждой быть. Односложно, без шекспировского вопроса. Быть одновременно и повсеместно. И надо всеми. Самоутверждения и вечного гона, погони.

Погони за давно уже само собой отпавшим собственным хвостом, за собственной тенью. За самим собой. За потерянным нами же где-то здесь на немых, скрепленных памятью корней лесных стежках, в кронах старчески

глухих, притворяющихся глухими, премудрых дубов, в забалтывающе говорливых, уводящих от истины водах рек – всего, что еще вчера было так разумно и неотделимо от нашего – живого и мертвого смысла существования. От чего мы успешно и безуспешно горячечно отрекаемся сегодня. Порой, в воробьино бунтующие ночи и обморочно удушенные туманом дни, из схронного праха нежити былых дубров и боров, бездонных омутов, болотных трясин и прорв до немногих из нас доносится еще сдавленный и невнятный ушедшего в межсезонье столетий человека. Нашего пра-пра-пра, не размолотого жерновами веков и тоскующего из-за собственной сохраненности, забытостью его богом и смертью, и с того света посылающего нам безадресные эсэмэски.

Каменно, зябко усыхающая в угарном разливе эпох, хмельная и древняя наша душа, старше и куда более зрячая преждевременно изношенного нами тела, взывает к нам о последней милости. Просит избавления от пещерного плена – комфортного, обретенного мученической ценой, а зачастую изменами, предательством и низостью нашей прежней, а может, и будущей жизни. И избавление обещается невидимо живущими в нас, не исключено, ищущими к нам дороги с того света нашими же пращурами.

Конечно, это почти безумие. Сумасшествие травы, цветка, взрывающих уже глубоко по весне не землю – асфальт, бетон. Высокое мгновение мига, ведущее нас к вечности и бессмертию. К величию поступка. К закрытию собственным телом дотов и дзотов, влекущее на колючую проволоку под высоким напряжением, самооправдательной нелепице. Вроде вечного кухонного ворчания и дружеского мордобоя или бегства на природу, в никуда без упрека – поле, лес, а то в свой же огород, объятий с деревом, тем же дубом-батюшкой, припаданий и поцелуев с сырой матерью-землей. И уже только в лучшем случае, чаще вынужденно, восхождению на костер или в прорубь ледяной купели воды.

Вода в пору ее первого осеннего зова насмешлива и неотзывчива. Она еще в осознании и при памяти творимых нами благоглупостей. Она скорее забавляется тем, как мы с удочками наперевес, подобно первобытным охотникам с дубинами и копьями на мамонта, мечемся по пустынным берегам холодеющих на стылом ветру рек. Паутиной ле’сок позднего бабьего лета, пытаемся притянуть возродить то лето и хоть чем-то запоздало в нем поживиться. Вода рвано и беззвучно прыскает смехом под шипящее скольжение по ней наших усталых за лето, протекающих лодок. Холодно жмурясь, с издевкой наблюдает бесплодность нашего отвесного блеснения с душегубок.

Но как бы там ни было, голос у реки уже прорезался, хотя и не совсем благозвучный, сырой, гриппозный. Это уже голос зимнего паточно-загущенного течения сезонно возмужавшей воды. И здесь ничего уже не изменить и не переменить: этот голос прежде всего родился и возник в нас, в нашем напряженном и настороженном подсознании. Река, чуткая к человеку и большая

пересмешница, лишь аукнула нам в ответ. И эти звуки слились в межсезонье в единый, одинаково тоскливый в промозглости безвременья клич, манящий и предостерегающий, одновременно ласково и журяще утягивающий нас за горизонты с их временными жерновами. Предупреждения излишни и напрасны. Мы, не подозревая этого, будничные жертвы этих жерновов. Жертвы великой и древней погони, охоты за собственной тенью, всегда ускользающей из-под наших ног. Охоты за вечным журавлем в небе, когда он за порогом нашей хаты, за жар-птицей, перед которой мы немы и слепы, потому что не знаем, есть ли она или нет. Но предчувствуем, предчувствуем. Если не догоним, не поймаем, то хотя бы согреемся.

А зов воды вокруг нас и в нас – мы же, как огурцы, на девяносто процентов водяные или русалки – набирает силы. Гукание, зов разделенных, некогда едино нерасторжимых существ. Пасхально окрашенный в красное крик нашей усталой крови и теряющей проточность в стылости свинцового неба, свинцового солдатского воздуха серой пугливой воды, которой не сегодня-завтра грозят оковами и заточением. И она, в отчаяньи теряя голову и плешивея пеной, не очень верит в будущее возрождающее пробуждение. Не верит, что воспрянет от зимней спячки, что сон ее не станет вечным, как это происходит с теми, кого она породила.

Отсюда, наверно, и неукротимость вечного зова воды и зова нашей крови, протестной крови хищников, добытчиков, собирателей-чистильщиков – охотников и рыболовов. Зов, обращенный в пространство, время, космос – вечность и взывающий о вечности, обиженный и даже гневный, что не всюду и не все пускают за барский стол, обходятся лишь косточкой с него. Зов, грезящий о слиянии и подчинении всех родственных стихий своей первородности, избранности появления на Божий белый свет. Зов слияния с самим собой, и, прости, Боже, грех, с самим Творцом, с собственным величием и ничтожеством. С теми, кто был до нас, есть и будет. Если будет.

И мы идем навстречу этому «если», навстречу сокращающимся времени и пространству, дозволительно и плодяще умножая полузабытые и растоптанные мечтания и грезы, разрешаясь полузабытыми и отринутыми инстинктами, холодящей кровь жестокостью пытаемся охранить и сохранить это зыбкое наше сослагательное «если». И ничто нас так не тешит и не радует, как призрачная обманная суть нашего земного бытия, венценосность нашего сотворения и творения. Одержимые собственным обманом, мы без раздумий ступаем на тонкий зимний или предзимний лед. Иные навсегда и бесследно.

Но до этого первого льда еще как до морковкиного заговенья. Хотя земля под ногами уже каменно неподатна. Хрупко застекленные в ночи лужи, по утрам, словно солью, присыпаны наледями. А днем все еще дождливо и мглисто. Голос реки становится глуше и грубее. Язык ее немеет и проморо-

женным закрайком берега бело выпячивается в припавших к земле отсырелых сумерках не то дня, не то ночи. Но холода, чтобы сковать эти сумерки, отжать влагу, не хватает. Сила у воды неимоверная. Даже такая средняя на Полесье речка, – а они у нас все средние, мерные, как Случь, покоряется и замирает враз при семнадцати градусах мороза. А при двенадцати – ей для этого нужны подряд три ночи. Но ни семнадцати, ни двенадцати нет и близко.

Ожидание становится невыносимым. Зов воды и зуд откликающейся на этот зов крови поднимает и гонит прочь от дома. В поле, в лес, к берегам уже сиротливо беззащитных стариц и озер, таких же беззащитно нагих осенью кладбищ, если вам к ним попутно. А не попутно, можно и крюк сделать. Это осеннее стремление к старым кладбищам, нежити, к усмиренным уже памяти и духу былой жизни, видимо, сакрально, знаково. Непонятно и необъяснимо. Словно от могил тоже исходит неслышимый будничным ухом зов. Будто они подземными жилами, невидимыми пуповинами вод небытия соединены с чутко слушающими нас водами земными, живыми еще. И со знаковости, мистики этих наших запретных или дозволительно святых отведок могил предков в тот же миг сотворяется чудо, начинается священнодействие.

Мы еще не почувствовали морозного дыхания осветленного и враз подросшего неба, а по реке подколодно, змеино шипя и сыкая, утыкаясь в песчаные отмели, прозрачными ежами застывая на них, плывет шуга – игольчатоголосистый первый ледный скреп, предвестник рекостава. Но сам рекостав, опять непонятно почему, свершается в ночи, невидимо нашему глазу – так отходят на тот свет многие дикие звери, домашние тоже. А с реками – никто не успевает уследить злодейского мига заточения реки.

Но утро чистое и румяное, как яблоко или праздничный кулич только-только из печи. Звенящее, подмигивающее зарей рыбацкой удачи. Река стала лишь на плесах, а по фарватеру все еще гонит шугу, сало. И наше чуткое ухо, ухо зверя, явственно слышит испуг в этом разухабисто приятственном утре. Живое дрожание встревожено испуганной речной рыбы. Внутреннее стенающее и даже рыкающее предвестие рыбьего жора по первому льду: изголодались, напостились. Шуга выжимает рыбу из шумливой проточности вод в спокойные заводи уже замерзших стариц. Лед на них еще, конечно, тонковат, но прочный. Как говорят о нем такой порой: трещу, трещу, но не упущу. А если и… что же, и на старуху бывает проруха. Но что значат эти досужие размышления для настоящего рыболова. Никто и ничто уже не в силах устоять перед бычьей неукротимостью его страсти, азартом погони – вечным ее зовом, трубно звучащим охотничьим рогом судьбы. И будь что будет, чья возьмет. Пан или пропал.

Рыбацкий ящик с загодя приготовленным и тысячу раз во сне и наяву перебранным снаряжением чуть впереди себя, чтобы в любое мгновение отбросить в сторону. Первый шажок по зеркалу льда и собственному портрету,

еще не совсем угасшему здравому смыслу. Держит, держит, хотя и звездно лучится под ногами. Нет удержу ликующей радости. Хрустально колко прянули во все стороны под напором пешни ледяные трещины. Бликуя серебряными или золотыми боками, уходит в лунку блесна. Легла, достигнув дна, колыхнула обвислую леску. Подъем, натяг. Удар. Рывок.

И вот уже у ног, которые до этого не чувствовались, а теперь неожиданно и упруго обретены, на мозаично калейдоскопичном льду трепещет нечто такое же многокрасочное. Художники, мазилы, выбрасывайте кисти – совершенство всего сущего здесь. Сверкает невообразимым соцветием красок покинувших нас весны, лета и осени. Изваянное из могильной, аспидной темени бездонных омутов, ночного мерцания звезд, недоступного нам сурового и ласкового таинства вод, живородящего и всепоглощающего равнодушия земли, завораживающего пламени огня, вечной неукротимости наших желаний и вожделений. Патиной серебра и чернью золота, кровью нашей окропленный окунь, окушок, окунишка, окунище. Как и мы, хищник, работяга, санитар. Матрос или юнга-матросик. Горбыль. Перед этим совершенны созданием меркнут все заботы, земные напасти.

Человек ступил на первый зимний лед. Человек идет по этому тонкому подманному льду. Куда? Если бы он знал. Его призвали на этот лед. Он услышал этот призыв, вечный зов не признающей времени воды, зов своей праматери и прародины. Услышал и пошел. В возрождающую заповедность вечного покоя вод, где он один и неделим. И никому не подчинен, свободен. Под ним лишь вода и чудо, а над ним – небо.

В потемках, уже вернувшись домой, он убедится, что это совсем не так: опять – те же ограничительные четыре стены, тот же нависший над головой потолок и прочно держащий его на весу бетон, на полу линолеум или паркет. Добытое и обретенное им речное чудо – окунь, окунище, горбыль уснет, погаснет и скукожится, станет жалок и убог. И вечный, безудержный хищник, охотник и рыбак невольно вздрогнет, почувствовав тщету и укор, осознав, что это расплата, возмездие. За все надо платить. Этот снулый и жалкий окушок, может, и есть он сам. Это намек и предостережение ему от его судьбы. Но он не внемлет им. И поутру опять на слегка окрепший, но все еще подманный лед. Более опасный, нежели вчера, потому что вчера он был осторожен. А сегодня любая вода ему по колено. Таков уж он есть. Такова уж его рыбацкая доля, понуждение к жизни и награда за безбашенность.

Цветет на Полесье

ПОВЕСТЬ

В над водой, над прудами-копанками летели две чайки и ворона, летели, как три кома серой земли, как три бурых камня. Птицы все время меняли направление полета, и только это отличало их от запущенного в небо камня, от кома земли. Чайки и ворона, словно связанные невидимой нитью, одновременно кидались то вправо, то влево, то стремительно столбом взмывали вверх, то отвесно падали сверху в воду, словно надумали утопиться. И, хотя воды не касались, она расступалась перед тяжестью их тел, перед волнами спрессованного их телами воздуха. Белым цветом, тополиным пухом кружило по ветру, кувыркалось в воде перо. Чайки гнали, клевали ворону, тянули ужиные шеи, били ворону по хвосту, по бокам, целились в голову, но промахивались, голову ворона оберегала, прятала, утягивала в туловище, при¬крывала крыльями. Изредка она огрызалась, норовила сама долбануть чаек, обеих сразу. Со змеиной ловкостью броском выворачивала вправо, влево голову, черным лезвием клюва рассекала воздух; чайки, будто легкие челны, успевали уклониться, ссунуться в сторону, назад. Ворона с нахальной гордостью на мгновение распрямлялась, распрастывала на полный размах крылья. Но чайки неуловимым поворотом хвоста, единым махом крыла снова планировали на нее. Ворона боязливо сжималась, увеличивала или распушенным хвостом сбивала скорость.

Евмен Ярыга наблюдал за птицами из-за кустов, что росли по обе стороны канавы, на берегу которой он сидел. Наблюдал и посмеивался, забыв, что ему самому надо бы остерегаться, не высовываться, забыв о поплавке и рыбе, которая уже давно подошла и пробовала, посасывала комбикорм; поплавок, как живой, ходил по воде, покачивался, ложился набок. Рыба, по всем признакам, была основательная, огромная, может быть, тот самый двенадцатикилограммовый карп-производитель, который вчера убежал с центрального пруда, за которым и охотился Евмен. Скорее всего, он, потому что любая другая рыба и не рискнула бы так легкодумно подплавиться к его снастям. С удилищем, что воткнуто в землю возле ног Евмена, сподручнее на волка идти, а не на рыбалку. Березовая неошкуренная метра на три жердь, а не удилище. И леса-жилка на ней — канат. Не рыбину, а баржу можно цеплять и тянуть против течения. Смеху над этим Евменовым удилищем на всю деревню. Но смех смехом, а по всей деревне не сыскать лучше, чем он, рыбака, не сыскать и удачливее браконьера. А в Евменовой деревне все были рыбаками и все рыбаки — браконьерами. И все эти рыбаки-браконьеры имели зуб на Евмена: корова лужу

напустит, Евмен-немой и в той луже рыбу поймает. Была, видимо, некая доля правды в этих словах, потому что ловил Евмен рыбу в местах самых неожиданных, там, где, казалось, и головастик не заведется, где комар-скакун ног не рискнет замочить. Ловил на зависть другим, потому что эти другие, когда от¬важивались стать рядом с ним, напрасно только время тратили, хлестали леска¬ми воду и воздух, купали в воде червей. Евмен таскал одну рыбину за другой, а они смолили махорку да нудно и однообразно матерились. Будто привораживал ту рыбу немой. Если не в канаве, не в лужах, не в озере, так в рыбхозовские пруды заберется и набьет торбу карпами... Но этого карпа, который сейчас пристроился и сосет комбикорм, Евмену, по всему, не поймать, хотя он, кажется, и почувствовал уже присутствие рыбы рядом, что-то волнует его, беспокоит. Крутится, вертится, словно петух на насесте перед рассветом, неловко, неудобно сидится ему. нет сил оторвать глаза от птиц. А те кружат над прудами-копанками словно в танец пошли над водой, словно небо само играет им, бьет в медный бубен солнца. Кружат и пля¬шут птицы, как пляшет и кружит поплавок перед тем, как скрыться ему под водой, когда рыба тянет уже и пружинит лесу. И Евмену чудится, что там, в чистом небе, и в самом деле не птицы плетут кружева, а кружит осокоревый поплавок, будто он не в воду, а в небо закинул удочку. И вот поклевка. Так напоминает война птиц тот торжественный и волнующий миг, когда бьется на крючке рыба.

Он, Евмен, словно имеет некое касательство к этой битве. Он и чайка, и ворона, он, как чайки с вороной, связан с птицами невидимой нитью, и они тянут его за собой, втягивают в битву. Чайки почти заклевали уже ворону, та стремится прочь от воды, в лес, к спасительному полусумраку деревьев, где можно укрыться, где все ей знакомо и можно слиться с. ветвями, зашиться в кусты. Чайки держат ворону среди воды, где поймали ее на безобразии, на преступлении, когда она воровала яйца. Перо и пух летят над землей. Между небом и землей кипит побоище.

Каждый отстаивает свое, каждый защищает свое. И Евмену не по себе. Загнанная, ощипанная, ободранная ворона последним отчаянным рывком вырывается из тисков, в которые ее зажали чайки, прячется в лесу среди деревьев, Исчезают, прячутся где-то среди неба и воды, растворяются в воде и небе чайки. Тишина над водой, над землей. Тишина эта всегда с Евменом и в Евмене, горькая и болезненная. Безголосье...

Правую руку, что лежала на удилище, будто огнем обожгло, Пошел, пошел карп. А ведь еще надо выдрать из земли удилище, а жилка уже дрожит, звенит, И на тоненькой-тоненькой жилке бьется, дрожит в груди застигнутое врасплох серд¬це, словно палкой охаживает кто-то по ребрам. Ожил, ожил язык, набрал живую упругость, пробивается из сердца слово, идет от сердца, раздирает горло, полосует его по живому, вот-вот обжигающим огнем вылетит из сжатых губ. Великое и про¬стое слово, что делает человека человеком.

Слова, слова, слова... Упругими струями бьется в горячие виски кровь: слова, слова, слова. Сейчас, сейчас. Евмен вскакивает, вместе с кореньями, трайой и песком выдирает из земли удилище. И все, нету в нем уже слова. Бросило его слово. Немота, тишина, темень.

Нет, нет... Может, он еще и не опоздал. Еще не все потеряно. Еще есть, есть мгновение, когда уходит из-под ног земля, когда падает на тебя небо, когда рыба уже заглотала крючок, подсечена и вываживается из воды, когда повсюду — в тебе и на всей земле — хрупкая звонкая тишь, когда ты связан, скручен с рыбой леской, как пуповиной. Но все не так сейчас, Евмен чувствует чей-то недобрый взгляд. Горит, пышет, будто исхлестанное крапивой, лицо, но рассмотреть, кто это так печет его взглядом с другого берега канавы, он не может. В глазах прыгает поплавок, перед глазами чайки с вороной. Каждый стоит за свое.

Евмен отстаивает свое право на рыбу. Она уже его. Его. Он уже почувствовал, распознал и рад ей, рад, что есть и у него крепкие руки, ловкое, сильное тело. Он твердо стоит на земле, словно только что вырос, проклюнулся из этой земли, как растет, проклевывается гриб-боровик. Но Евмен не привык с кем бы то ни было делить эту великую радость, это мгновение, когда рыба пулей, снарядом вылетает из воды, вдрызг разносит бронированную тишь дня, неба, воды. День взрывается голосом, криком, все кругом звенит и поет, говорит с ним. Он и сам говорит со всем светом. Ни один глаз не должен видеть этого, никто не должен слышать. Это только его. И Евмен дает свободу рыбе. Иди, гуляй, карп, мы еще с тобой встретимся. Ев мен опускает удилище, карп выщлевывает крючок, на поверхность воды всплывает поплавок, по воде расходятся круги, их подхватывает и сносит течение.

На другом берегу канавы стоит рыбхозовский сторож Драйман. И Евмен трижды рад, что отпустил карпа. Не потому, что он боится Драймана, не потому, что он, Евмен Ярыга, сейчас вроде бы вор. Тимох Драйман — сторож, тот самый человек, который обязан поймать его и наказать: не только в прудах рыбхоза, где разводят рыбу, но и в канавах, по которым подается вода в эти пруды, в болотцах, лужах возле канав и в озере, питающем эти канавы и пруды, ловить рыбу запрещено. Такой уж человек этот Драйман, вот в чем дело. В Евменовой деревне никто не зовет его по фамилии, никто, видимо, и не знает ее. А Драйманом нарекли его в войну еще немцы, Пацаном он тогда был, подростком, но все же немцы углядели его. Никому из сельчан клички не дали, одного только его перекрестили на свой лад. И пошел Тимоха по жизни — Драйман да Драйман. Не женился, как все, а пошел в приймы, и не огород у него, как у всех добрых людей, а парники. И копейка живая у него всегда водится, но не очень он той копейкой, рубликом кинется Двое мужиков, где бы там ни было, в деревне, в лесу, у магазина сошлись, обязательно возле них и Драйман. Уши топориком, носик поверху и глазками пстрык-пстрык туда-сюда, туда-сюда,

чтоб урвать на дармовщинку. По глазам уже можно судить, что за человек. Темень в его глазах, никакого тебе сочувствия — закон. А в деревне закон этот, конечно, уважают, но прежде всего понимают, к кому и как прикладывать его надо: одному мало и кия, другому хватает и кива. Драйман чешет всех одной гребенкой. Взрослым — штраф, детям — ругань, матерщина. Говорит, выговаривает слова он не как люди, словно лает. Быстро, быстро сжимаются и разжимаются его губы, густо-густо сыплются слова, будто брезгует он нормальной человеческой речью. У нормальных же людей, которые живут в этих местах, говорок другой, словечки все мягкие, округлые.

Люди словно не говорят, а поют, тянут слова, растягивают гласные, будто им донельзя жаль расстаться с рожденными в них словами и они выпускают их в свет, в жизнь, не торопясь, придерживают в себе, ласкают, поглаживают, бесконечно довольные тем, что есть у них слово, что они могут каждого одарить своим словом, родным, незаемным, словом, которое они сберегли, пронесли сквозь все лихолетья и напасти.

Каждый уголок в Беларуси отмечен своим говорком, но среди множества их осо¬бенно выделяются полесские, а уж среди полесских те, что сложились здесь, при реке, той самой реке, неподалеку от которой стоит и деревня Евмена. И люди из его деревни, полешуки, про тех же самых карпов никогда не скажут «карп», а только «карпу-у- у». И их мягкое «уу-уу» надолго зависает в воздухе, мягко круглит губы и щеки говорящего. Катится, катится над землей певучее слово, как та речка тихо, неудержимо катит свои воды среди белых песков, бурых и зеленых болот, поникших лоз и ракитников, вековых дубрав: Полее-ее-сся-аа.

Евмен ничего не знает и не может знать про это диво дивное, что живет в его краю, он только догадывается, догадывается о музыке слова, о его криничной свежести и животворящей силе, чувствует, что Драйману не дано ничего из этого. Чужой он здесь не только людям, но и лесу, воде, хотя и числится сторожем, считает себя над всем и всеми. Лютует, лютует сторож Драйман на своей должности.

В последнее время, правда, немного притих. Нынешней весной, когда сошел уже снег, у Драймана сожгли стог сена. Евмен знает, кто сжег то сено, но молчит, а Драйман грешит на него, потому что как раз весной, перед тем как загореться сену, прихватил он Евмена на прудах. Евмен убежал, но Драйман разглядел, узнал его, и пришла бумага, будто он, Евмен Ярыга, наловил в тех прудах триста килограммов рыбы и сбежал с рыбой. Евмен посмеялся над глупой бумагой: и ежу ведь ясно, какой бы ты сильный ни был, не очень-то побежишь, когда за плечами триста килограммов. Но вдогонку первой бумаге пришла еще одна. А потом с работы у Евмена стали высчитывать деньги. Евмен обратился в суд. И судья, спасибо ему, помог. На суде сторожа, которые видели и не видели его в тот день на прудах, показали: все правильно,

своровал Евмен Ярыга триста килограммов карпов и удрал с теми карпами. Гнались они за ним, но не догнали. Ну что тут можно сказать, хоть стой, хоть падай. Может, он за свою жизнь и не триста килограммов тех карпов поймал. Может, триста раз по триста. Но чтобы в один день столько! Нет, не было такого. Евмену не-понятно и обидно: как можно так врать, стоит перед тобой человек и в глаза тебе при свидетелях врет, на людях суду врет. Как с этим враньем может человек выходить на суд? Он, Евмен, в баню сходил и только тогда в суд поехал. А эти...

Судья что-то долго и зло выговаривал сторожам, а потом объявил перерыв. После перерыва снова одного за другим вызвали сторожей, и судья заставил их поднимать мех с чем-то очень тяжелым. Ни один из сторожей не стронул этот мех даже с места. Не смог поднять и понести его и Евмен, хоть и очень старался, хотел угодить судье, показать, какой он сильный. Оторвать от пола оторвал, приподнял, но, чтобы понести, на это не хватило. Евмен застеснялся, не знал, куда глаза спрятать от стыда Его оправдали, вернули деньги, что уже успели высчитать. А Драйману шею намылили, видимо, хорошо намылили, потому что тот после суда стал ходить почти по пятам Евмена Ярыги. И Евмен, хоть и стремился как-то отомстить сторожу, не очень обрадовался, когда узнал, что у Драймана сено спалили. Сотворить такое у Евмена никогда не поднимется рука, не поднимется, чтобы нанести урон человеку, хотя и обижается он на людей, обижается. Избегает встреч с ними, бродит в лесу один, как волк. Живет больше в лесу, чем в деревне. Из лесу видит, что творится среди людей и с людьми, знает про них все. Все пути, стежки-дорожки людские сходятся у воды и леса, из которого они когда-то вышли. Лес рассказывает ему не только про односельчан, ничего не таит и о жизни людей городских, которые сегодня куда чаще мужика ходят этими лесными стежками.

Евмен смотал удочку и посмотрел на Драймана. Тот стоял на другом берегу и ждал, неумолимый, непреклонный. За его спиной, насколько хватало глаз, сверкало зеркало воды с изредка вкрапленными в него зелеными островками, нитками земли — границами между прудами. На одном из этих островков стояли две черные «Волги». У машин суетились люди, горел костерок. Ветер доносил до Евмен а запах водки и ухи, укропа, лаврового листа. В той же стороне в камышах время от времени срывался и гремел далеко окрест грохот выстрела, и еще с утра на Евмена с прудов, с камышей вылетали по одной и стайками испуганные, растревоженные утки.

— Угу-гуу-гууу,— замычал, выкинул перед собой руки Евмен, показывая на «Волги». Но тот даже не оглянулся. Евмен сжался под его неотступным, рилипчивым взглядом и подался в кусты. Перед тем как исчезнуть в кустах,, повернулся, помахал кулаком сторожу: это еще ничего не значило, что сторож застал его с удочкой на канаве. За то, что ловят рыбу на канаве, не штрафуют.

Не разрешают удить, но и не штрафуют. Вот когда прихватят с карпом у канавы, тогда другой разговор. А так в торбе у него пусто, только бутылка «чернил» перекатывается. Евмен доволен, хотя и не понимает, почему это нельзя рыбачить на канаве, нельзя рыбачить в озере, даже в лужах-болотинах и то нельзя. Если бы он сеткой или другой какой- нибудь браконьерской снастью, тогда и разговор другой: браконьер — злодей. Но он же ведь удочкой, а разве удочкой всю ее переловишь, черт ее всю переловит. Рыба же в лужах, озере, болоте ничья, это значит, и его. Она же вольная, как трава, растет, никто ее там не поит, не кормит. Вода — она ведь ничья. Пусть сторожат себе рыбхозные пруды, в которых выращивают, разводят рыбу. И за того, прудового, государственного карпа он согласен платить штраф. Может, и не полез бы в те пруды-огороды, если бы не столько запретов, может, и другим заказал бы, а сторожам таким, Драйману тому сделает назло. Не поэтому ли столько браконьеров в деревне. Каждый смотрит, как бы обвести вокруг пальца сторожа и стибрить ту рыбину. И обводят, крадут, так крадут, что иной раз самому тошно. Диво, как еще не растащили весь рыбхоз. И обидно и горько Евмену за рыбхоз, и зло берет. Обидно и горько, что и сам он ворует у самого себя, хоть и считает себя честным человеком. А какой он честный, если прячется, если давно уже тайком обворовал сам себя. У самого себя украл покой. Кажется, все делал, чтобы лучше было легче сегодня. И сегодня было хорошо, но проснулся назавтра, и не только в зеркало, в лужину на себя глянуть стыдно. А ведь скажи человеку, кто он, поднеси зеркало, голову тебе же открутит... С другой стороны, как быть, когда шагнуть нельзя, улицы не перейти, чтоб не наступить на «нельзя».

Наперекор Драйману Евмен, как только прознал сегодня, что вода размыла дамбу и с прудов ушли карпы, а вместе с ними и двенадцатикилограммовый производитель, пошел с удочкой. Знал, что, несмотря на запреты, на штрафы, на стражу, карпа этого все равно поймают. Так пусть уж поймает его он, рыбак из рыбаков, браконьер из браконьеров. Поймает и зажарит и выпьет под того карпа литр водки и пойдет по деревне. И все будут останавливать его и расспрашивать, будут показывать на него, Евмена, пальцами. А он придет к Людке и выпьет с нею еще, и расскажет только Людке, как ловил карпа, как ловили его. Людка ничего не поймет из его рассказа. Будет смеяться, наблюдая, как он пробует выжать из себя слово, как пишет ей пальцами буквы, которых она не понимает и не хочет понимать, потому что не видит никакой разницы между карпом и Евменом, что карп, что Евмен — оба для нее немые, безголосые. Но Евмен все равно не может отказаться от Людки. Когда он встречается с ней, сердце у него проваливается и рвется наружу, как проваливается и рвется в ту минуту, когда он вываживает из воды карпа, и так же потом приходит опустошенность и тишина. И в этой тишине и опустошенности будет горько плакать Людка, целовать его и приговаривать:

А миленький мой, дорогой немко. Ну, почему ты немко? Один ты у меня добрый, ласковый. Все другие гадкие, гадкие... И я гадкая, поганая. Один ты, один на свете человек...

А он, сжав зубы, будет молчать, будет казнить и ругать себя, будет далеко от Людки, от всей деревенской жизни...

Евмен кружит, как волк, путает следы. Ему хорошо, радостно ходить по лесу, чувствовать себя его хозяином. Он и есть его хозяин, в лесу не существует для него запретов. В лесу весна, в этом году она немного припоздала. Скорее, даже не припоздала, а сбилась с ноги. Преждевременно поманила теплом, уже с февраля осел и поплыл снег на взгорках, а в марте открылись и реки, прошел лед и начался паводок. С дальних зимовок вернулись птицы, ожили лес, поле, небо, заплакали сосны живицей. Но в начале апреля снова ударили заморозки, припали туманы и холода. И тихо и тоскливо стало повсюду, тосковало все живое, будто похоронили Весну. Все затаилось и ждало тепла. Ни комарика, ни мотылька — ничего не доставалось на язык птице. Птицы потеряли голову от голода, оставили свой вековой дом — лес и подались к воде в надежде, что та их накормит, выбросит волной на берег козявку какую-нибудь, рыбку, прибьет к берегу мальков. Пришли к воде все, пришли даже скворцы, соловьи, жаворонки — птицы, которые боялись воды, бежали ее всегда. Уже пора было садиться на гнезда, класть яйца. А с чего и как их класть? И вот только в мае протаяло небо, выглянуло солнце, отпустили холода. И в одну ночь вылезли комары и мошка, вылетели мотыльки, выползли жуки и дождевые черви, выстрелила листом береза. Бело, исступленно зацвели сады. И сейчас гуляют по деревне и за околицей белые метели из лепестков вишен, яблонь, груш и черемухи. И на черемуху нет холодов. Медленно, но уже разворачивает накрахмаленный кружевной лист папоротник. В лесу цветет багульник и ягода дурница. И от запаха багульника звенит в ушах у обвесившейся цветными серьгами-звоночками дурницы. Бегают, звонят в эти звонки веселые и работящие муравьи, чистят ягодники, лес от сора и зимы. Негде и ногу поставить, не порушив чего-то, не наступив на то, что этим весенним днем пробудилось и набирается силы, растет, тянется к солнцу, распрямляется, готовится к лету, поторапливает приход лета. Вот-вот зацветет сосна, на вершинах уже, на маковках сосны, ближе к солнцу, сидят притихшие и желтенькие, словно цыплята, шишки, которые только-только вылупились и обсыхают на солнце.

В сосняке Евмен шагает осторожно, даже дыхание сдерживает, таит. Но кулик, гнездо которого на земле, при самой тропке, под невысокой, будто елочка, разлапистой хвойкой, слышит его еще издали, выскакивает из гнезда и бежит по тропке. Хитрит, отводит от яичек, припадает на одну ногу, словно она у него перебита, распушенный, как у индюка или удода, хвост выдает его отчаянный страх и решительность, что свойственны и человеку, когда он на

цыпочках крадется к чему-то недозволенному. Страх и решительность, через которые прошел и Евмен, когда он при свете дня пробирался к рыбхозным прудам с карпами, когда ночью крадком уходил из Людкиной хаты, когда... Мало ли было этого «когда»...

— Ну, чего ты так перепугался,— пытается выговорить Евмен. Деревянный рот, деревянный язык. Стон отчаяния и боли рвется из его груди и пеной прикипает в уголках замерших напряженных губ. Евмен виновато и смущенно улыбается. Кулик, длинноногий, худой, недвижно, будто окаменевший, стоит шагах в пятнадцати от него на бугорке белого сухого песка, смотрит в глаза человеку — само серое отчаяние, сама боль смотрит. И человек перед куликом — живое олицетворение той же боли, того же отчаяния. Между человеком и куликом хвойка. Под той хвойкой гнездо с четырьмя буроватыми крапчатыми яичками, еще теплыми.

— Что тебе приспичило На дороге растопыриться? Другого места не нашел?— мычит Евмен. И обида и зло берут его — даже кулик неспособен разобрать, что он пытается сказать ему. Глупый, безмозглый кулик: додумался, свил гнездо при самой дороге, едва ли он высидит здесь птенцов. Это сейчас, пока лес пустой, голый, мало кто ходит по ней. А дальше что будет... — На глазах ты тут, здесь тебя каждый, кто ни пройдет, тот и ущипнет, понимаешь? — Евмен жестами, пальцами старается объяснить все кулику, рассказать, какой он безмозгый. А кулик стоит, как пятиклассник перед директором школы, терпеливо выслушивает нотации, ждет минуты, когда она закончится.

У кулика свой разум и свои понятия о жизни, ему надо скорее в гнездо, к яичкам, которые уже остывают. А Евмену нравится роль учителя, наставника, нравится, что и ему есть кого наставлять, есть кого и ему поругать. Давно, еще в детстве, Евмен верил, что на этом свете бьется, как и он, родная ему душа, зверь ли, человек, с которым он может поговорить, который поймет его. Искал эту душу среди живого и мертвого, но так и не нашел. Сегодня в нем уже нет этой веры, но, следуя давней привычке, он и сегодня не проходит мимо живого, не поговорив с ним, не посочувствовав. Нет, надежда еще теплится. А вдруг да есть чудо, вдруг полыхнет, опалит его огнем и выжжет то деревянное, сухое и глухое в нем. И, кажется, иной раз бывает, полыхает огнем, шибает пламенем в глаза, застит глаза, туманит голову, и он вроде бы становится таким же, как и все вокруг, тогда и с ним можно поговорить. Евмен знает, что и сегодня он будет слышать себя и разговаривать с собой, дважды даже. Первый раз — это когда он поймает того карпа. А он его поймает обязательно. И тогда отринут от него тишина и немота, заговорят и лес, и поле, и вода, обрушится небо и прорвется звуком и песней сквозь тугие уши, станет мягче язык, разгладится жесткая складка, которую пропахали годы на его лице, сковали этой складкой. Исчезнет, растопится под наплывом радости печаль в глазах. Глаза оживут и засмеются, и он заговорит, засмеется в голос,

пустится в пляс на берегу канавы. Глаза у него смеются уже сейчас. Евмен ощупывает в торбе бутылку с дешевым вином, гладит ее, поворачивается и шагает к грушке, которая растет неподалеку от гнезда кулика. Ему только немного не по себе, что кулик облюбовал для гнезда не эту грушку, а хвойку. Под грушкой, в стороне от дороги, кулику жилось бы спокойнее и безопаснее, никто бы и не усмотрел гнезда. И запах приятный, и прокорм рядом. И сейчас сколько вьется и гудит над ней всякой живности. Готовый дом, цыганский, на весь лесной табор, шатер. Евмен не хочет замечать, что грушка все же какая-то нескладная, вся в колючках, как и все дички, кривобокая. Время и ветры клонили ее во все стороны. И растет она вкривь и вкось. Только сейчас все укрыл белый цвет. Красуется в кипении этого белого цвета грушка, будто невеста, невестой она и видится Евмену.

Высаживал грушку здесь, в лесу, сам Евмен. Давно это уже было, как только родился и начал ходить его средний брат, весной. Той весной отец то ли болел, то ли что-то мучило, угнетало его. Он исхудал, почернел, волком смотрел и на жену, и на детей. И как-то под вечер долго и неподвижно молчком сидел на скамейке, приглядывался к младшему сыну, потом закрыл лицо ладонями, зараскачивался, словно пьяный, забился лбом о стену, вскочил со скамейки, нырнул под лавку, выхватил из-под лавки топор и побежал за дом, к гумну, где стояла еще дедова грушка-дичок, на которой с позабытых времен жил бусел. Бусел с буслихой и в тот день были на груше. Они взлетели, оставили свое селище только тогда, когда груша уже стала клониться, когда ударился о землю ее белый цвет, когда над огородом, над домом, над гумном загуляли, закружили белые, не по времени разбуженные бабочки-капустницы. Евмен пытался отобрать у отца топор, но тот пошел с топором на него.

— Зарублю, зарублю, немчура...

Если бы не мать, вполне мог и зарубить. Мать защитила его, хотя и сама схлопотала топорищем по лбу, по ребрам.

— Наплодила полную хату немых, хоть сам себе язык отсекай! И словом перекинуться не с кем, и слова сказать некому. Всех порублю!..

— Ой, Силка, ой, Силыч ты мой, не то ты делаешь, не дело ты начал... — висла на руках отца мать.

На крик и гвалт сбежались соседи, уговаривали отца, просили не сводить грушу.

— Пчелки у тебя же, Силка. И у нас пчелки, а грушка такая на все село одна.

— А Силка ж ты мой родненький... А грушка ж ты моя дороженькая,— припадала грудью к срубленной груше, голосила, словно по покойнику, мать. — А виноватая ли ты, грушка, а знала ли ты, ведала. А виновата ли... После такой войны кого тут родишь... Сама онемела, деревом стала...

Маленький братик радовался срубленной груше, копошился в ветвях, в цветах, пускал изо рта пузыри, рвал белые лепестки, жевал их и, довольнешенький, хитро жмурил глаза, обклеивал белым цветом лоб и голый живот. Возбужденно гудели пчелы, сладко пахло майским медом. И кружили, кружили над этим гвалтом, отчаянием, возбужденностью бусел с буслихой. Соседи, наблюдая за ними, предсказывали :

— Не простят Силке буслы такой шкоды. Отольются ему их слезы. Будет, будет в его хате третий немой...

Нет, не сбылось то предсказание, не сбылось, но все же... Сведя с селища грушу-дичок, батька Евмена словно убил кого-то. И его все тянуло и тянуло туда, на огород, за гумно, где стояла когда-то груша. Иной раз до петухов он засиживался у пня ее, уже почерневшего, выжаренного солнцем до трещин. Курил, молчал, смотрел под ноги и вдаль, на запад. Там, вдали, на чужой стороне, в чужой земле тоже росла когда-то груша. И ее гоже срубили. И вот теперь он каждый вечер вновь и вновь вспоминал, как это было. Вспоминал и не мог понять, почему он остался жив в тот день, в ту военную осень, в той чуждальней стране, когда губили грушу-дичок. Остался жив, хотя все, кто был в ту минуту рядом с ним, погибли. А его смерть обошла, будто кто отвел ее от него. Отвел и лишил памяти: сам он ушел от груши или кто-то помог ему. А вот как было до взрывов, до смерти двух его друзей и груши, он помнил хорошо. И запомнилось это потому, что вдруг после грохота и грома, взрывов, огня, вздыбленной земли наступила тишина, такая тишина, что оглохнуть можно. И они трое шли в этой тишине по не тронутому войной польскому полю. Было утро раннее или позднее, трудно вспомнить, но с трав не сошел еще иней. Вот по этим травам в инее, по прихваченной морозом земле, чувствуя ее выстылость и твердость, они и шли. Он, Силка Ярыга, и двое его дружков — его земляк, белорус с Полесья, а третий с ними украинец — шли с автоматами наготове к селу, что было уже в километре от них, чтобы разведать, узнать, как там, впереди: снова бой или отдых, есть в селе немцы или нет.

До села они не дошли. Набрели на грушу-дичок, чужестранку. Чужестранка, полячка, но была она, как родная, как хохлушка, полешучка. Так же свободно и раскидисто, как и на Полесье, стояла она тут на взгорке, уже безлистая, но еще кое- где с грушами, больше похожими на елочные игрушки. Грушами-гнилкамй была выстлана и земля под деревом. От этих грушек-гнилок медово пахло Украиной и Белоруссией. И все трое, будто к жене родимой, кинулись напер-гонки к дереву. Украинец обогнал их, у украинца ноги были длиннее. Он и погиб первым. Утро вдруг взорвалось, полыхнуло огнем, и человека не стало. То, что было некогда им, повисло на груше. Но висело не долго, тут же зашаталось, будто приняло непомерный груз, и само дерево. Это на ходу ударили по кореньям из автоматов Силка с другом своим. И гру-

ша зашаталась, поднялась в небо и полетела. Будто преследуя ее, поднялся и полетел хохол. Как бусел, с клекотом оторвался от земли и в небо. Полетел и Силка, только в другую сторону от заминированной груши. Он успел еще подумать — люди ли заминировали ее, людских ли рук это дело — и забылся. Забылся надолго — на месяц, хотя его и не оцарапало даже.

...Возле пня бывшей груши осенним утром и нашли Силку. Несли его в хату. А над селом, над селищем Силки Ярыги тянул к югу журавлиный клин. И два журавля, отстав от стаи, прошлись над гумном, над хатой Силки и над самим Силкой, которого мужики, заслышав журавлиный крик, опустили на землю. Журавли дважды прошлись над ним и стали догонять стаю. Были ли это птицы из тех, что жили на груше, или другие, трудно судить. Не на что им было опуститься, негде им было посидеть перед дальней дорогой...

А срубленную отцом грушу в тот же день стащили с соток трактором. И в тот же день Евмен выкопал невеличку грушку, которая спряталась, укрылась в дерне и траве возле пня. Та маленькая грушка не имела даже своих корней, она росла от корня старой груши. Евмен топором и лопатой выдрал ее из земли, посадил в лесу, далеко от избы, не надеялся, что приживется. Прижилась, выросла. Выходил он ее, изо дня в день поливал водой из канавы...

Евмен пристроился под своей грушкой, откупорил бутылку, плеснул немного из нее на землю под грушку и на одном дыхании высосал все, что было, до дна. С каждым глотком все больше и больше поднимался с земли, а когда вытянул последние капли, стоял уже в полный рост на ногах. Отбросил от себя бутылку, прихватил ладонью сколько мог белых лепестков, оборвал. Поднес руку к лицу, понюхал белые измятые цветы, слизнул их с ладони, сдавил зубами и секунду-другую стоял неподвижно, слушал, как аромат цветов убивает запах вина. С головой забрался в белую пахучую цветь, постоял, пошмыгал носом и опустился на землю, лег под грушкой. Карпу было очень больно. В губах у него сидело уже три крючка, которые он оборвал этим утром. Только три, а могло быть и намного больше. За три дня, что он плавал по этой канаве, его пытались поймать бессчетно. От трех крючков он избавился только вчера. Два вытер возле бетонного шлюза, вышли они легко — дрянь, а не крючки, хоть и двенадцатый номер, меньше здесь не признавали, огромные, но не очень прочные и не очень уцегшстые. Он только ткнулся, провел головой, губами по шероховатому, небрежно положенному бетону, крючок и выскочил. Карп и сам не ожидал, что все произойдет так быстро, от неожиданности поперхнулся и едва не съел, не проглотил крючок, выплюнул в самое последнее мгновение. Отдышался и снова начал тереться носом о бетон, избавляться от второго. И второй вышел, вроде как и не было его. А вот с третьим пришлось повозиться почти час. Казалось, что тот, третий, самый безобидный, маленький, тоненький, а загнут как-то курам на смех, не по-человечески, куда-то вбок и в сторону, с выбрыком, одним словом, не наш, заграничный, японский

крючок. Карп подходил к нему без страха, без страха брал в рот огромную гулю из хлеба, комбикорма, сыра и еще чего-то, запашистого, вкусного, что уже издали дразнило, приманивало, тянуло к себе. Без боязни заглатывал эту гулю сразу, хоть и хотелось пососать, посмаковать. Не мог удержаться, очень уж щекотал жабры запах, исходивший от нее, забивал все на свете, некогда было даже подумать про опасность. Да и какая там, казалось бы, опасность, леска ноль целых и три десятых, не больше, смех, да и только. Ноль целых и три десятых — ему порвать, что босому разуться.

Но вышло все не так, как он предполагал. Заглотал он ту гулю, раздавил во рту, зашелся от радости, и тут глотку будто ножом по-лоснуло. От неожиданности и боли он отвесно пошел вниз, врезался головой в ил и грязь, растерялся, не зная, куда кинуться, где искать спасения. Но эта мгновенная растерянность и спасла ему жизнь. Свой, местный рыбак не промахнулся бы, потащил бы его сразу из воды, бросил через голову в кусты, упал бы на него, накрыл своим телом. А тот, городской, деликатничал, делал все по науке: большая рыба, значит, не надо торопиться, надо притомить ее, дать походить, поводить на крючке, чтобы приморилась, наглоталась воздуха. И рыбак, как только понял, что это за рыба там, на крючке, лихорадочно перекинул из левой руки в правую плексигласовое синтетическое удилище и на какой-то миллиметр-другой ослабил натяжение лесы. Карп почувствовал слабину, почувствовал, что это единственный шанс. Он уже опомнился, способен был рассуждать, пулей полетел сначала к берегу, на рыбака. Обрадовался — леска все еще держала его, но не так крепко, как раньше, будто стала резиновой. Карп сделал разворот и торпедой устремился от берега, пошел по прямой, полетел, кажется. Перестали ощущаться вода и движение. Он сам стал движением, перелил свое тело в воду, слился с течением. Рука рыбака не удержала удилище, дрогнула, быть может, от неожиданности, а может, и от радости. А карп уже шел с крейсерской скоростью, и ничто на свете не могло бы удержать его. Леска натянулась и, как оборванная струна, дзинькнула. Лопнула на узелке, при самом кончике удилища. Все было свершено даже быстрее, чем тому же босому разуться.

Карп мчался от опасного места серединой канавы, мчался так, что расходились и били в берег волны, выскакивали на берег перепуганные лягушки. А следом за карпом по берегу, по дороге бежал несчастный рыбак, размахивая руками и причитая. Жаль, видимо, ему заграничную снасть: японскую леску, японский крючок и неизвестно чей поплавок, светящийся в ночи. Про поплавок, что светится в ночи, карп прознал уже позже, когда с большими муками избавился от крючка, всплыл на поверхность посмотреть, что это такое над ним, как звезда, горит. А до того времени таскал за собой, буксировал и поплавок, и леску, не знал, где голову приклонить. Возмущало его и людское коварство. На какие только ухищрения не пускаются, чтобы обма-

нуть, провести его: специально подсовывают и маленький крючок, и прикормы всякие подбрасывают, и тоненькую, невидимую в воде жилку завели. Будь он чуть моложе, глупее, и не разглядел бы той жилки под цвет воды и травы... Каких только приспособлений не наизобретали, чтобы поймать, лишить его жизни. И страшнее, ужаснее всего это то, зубастое и клыкастое, такое, что куда там самой огромной щуке с ее огромной игольчатой пастью. Никакой щуке не побороть, не спрятаться от тех клыков, когда они летят на тебя солнечным ясным днем. Одно лишь спасение — просить милости у своего карпьего бога. Железные зубы не знают пощады. На то они и зубы, где только выращиваются такие клыки, в каком пруду разводит их человек. Посаженные на длинную, метров в пять палку, они выискивают и находят тебя, когда ты ни о чем не думаешь, когда занят великим и святым — даешь жизнь, продолжаешь свой род, когда ты со своим мужем, именно мужем, потому что на самом деле он не карп, а карпица, это только люди зовут его производителем, возвеличивая, возвышая как бы тем продолжательницу карпиного рода,— так вот, когда они, два творца, услышали в себе голос-зов и, подчиненные этому зову, в бескрайности и громадности вод вышли навстречу друг другу, оставили глубь, потаенные свои прятанки-избы, поднялись на поверхность к солнцу, теплу, чтобы в тепле среди молодой травы свершить то, что предписано великим законом жизни, когда, притихшие, сосредоточенные на великом таинстве жизни, с болью, страданиями и лаской они творят новую жизнь, тогда как раз и появляются зубы, как безжалостный приговор судьбы. Может, это и есть судьба, наказание за то, что ты живой и стремишься дать жизнь себе подобным, потому что зубы проламывают голову, ломают ребра только живому, не трогают тех, кто так и останется ни мясом, ни рыбой. И ты вопреки своему предназначению, вопреки тому, что написано тебе на роду, обусловлено самой жизнью, разумом тысячелетий, ты, само олицетворение этой жизни, при всей твоей мощи и красоте вынужден дрожать от страха, убегать, прятаться и не можешь, не способен укрыться, не способен защититься от своего старшего и более совершенного брата, который должен был бы оберегать тебя, потому что сам ты в эту минуту не думаешь о самообороне, в ту минуту ты вообще не испытываешь страха за свою жизнь, он не предусмотрен даже самой природой, потому что в природе нет жестокости, в ней только жажда жизни. На ней только одна обязанность — утверждать и продолжать жизнь. Для этого она и выбрала и поставила над тобой твоего старшего брата, как самое разумное, что ей удалось создать. И ты надеешься на него, и в самое последнее мгновение в тебе говорят на разные голоса тысячи и тысячи, миллионы неведомых еще свету существ, за которые ты уже в ответе до самой последней своей чешуйки. И даже в то мгновение, когда от тебя уже отвернулся твой рыбий бог, когда тебя прищемили клыки-ости, твоя забота не о себе, а о тех, кого ты пустил на свет...

Смерть эта, зубастая и клыкастая, живет в луже при канаве, в болоте. Карп видел ее там не раз в прошлые годы, когда гулял по этой канаве. А гулял он по ней не раз. Не первый раз он сбегает из рыбхозных прудов. Послушно, в полном подчинении чужой воле он прожил в пруду только от рождения до своей первой осени. Жизнь эта была сытная, спокойная, но очень уж скучная какая-то. Его и его сородичей хорошо кормили — три раза в день. Построили специальные кормушки и на лодках подвозили к этим кормушкам особый, для карпов изготовленный комбикорм, питаясь которым, они быстро нагуливали тело, набирали вес. Думать и желать было нечего. И бояться было некого. И карп, тогда еще карпик, в перерывах между кормлениями часами неподвижно стоял возле решетки, слушал, о чем говорят те, по другую сторону ее, в канаве, на свежей воде. А те стремились к ним, в пруд, потому что, жаловались они, жить в канаве очень трудно, никто не кормит, каждый только тем и занят, что высматривает, ловит и поедает другого. Они завидовали тем, кто жил в пруду. И карпик-несмышленыш радовался, что это он живет в пруду, и дразнил живущих в канаве. Гордился собой и своим прудом.

Но вот подступила осень, остыла вода и поплыли слухи, что кон¬чилась их беззаботная жизнь. Не сегодня-завтра спустят воду, осушат пруды, карпов погрузят в машины с надписью «живая рыба» и повезут в город. А там все, кранты. Карпику очень хотелось попасть в тот далекий город, посмотреть иную, городскую жизнь, но очень уж его напугали эти «кранты». Он ни представить, ни подумать не мог, что это такое. И карпик, как только почувствовал, что вода в пруду убывает, не побежал вместе с другими на глубину, а остался в небольшой ямочке среди кочек. Притаился, зашился в тину, лег набок.

Больше он не встречал ни одного из своих одногодков. Он перезимовал, перебедовал в грязи, тине, у тех же кочек, когда началась тревога, выжил чудом, потому что не успела еще с прудов сойти вода, как появились мальчишки с торбами: собирать карликов, которые, так же как и он, схитрили или не успели вместе с другими к машинам с надписью «живая рыба». Когда же подступила зима, карпику показалось, что он умер, так было ему холодно и безразлично все. Вода у кочек промерзла до самого дна, и карпик сам стал, как ледышка. Ожил, пробудился он лишь весной, когда стаял лед. Но его муки и страдания на этом не кончились. Только сошел лед, к прудам пожаловали длинноногие красноштанные цапли, выискивали и хватали тех, кого проглядели осенью мальчишки. Карпу повезло, он не попал ни в машину, ни в торбу к мальчишкам, ни на клюв цаплям. А вскоре в пруд снова пустили воду и снова наезженной колеей пошла сытная и спокойная жизнь с кормушками, со стражей, за прочными решетками.

Оголодавший за зиму и весну, карп хорошо ел и быстро рос. Но он уже знал, что впереди его ждет новая осень. И карп решил убежать. Он снова ча-

сами стоял под шлюзом, иной раз не ходил даже на завтрак или на ужин. Вода прибивала к решеткам всяких там козявок, червячков, мошек, которыми он и питался. И они показались ему куда вкуснее, чем комбикорм. Правда, за эту вкусную, самим добываемую пищу теперь приходилось уже бороться. Голь перекатная, фармазоны с той стороны также знали о лакомствах у решетки и паслись там на дармовщинке. И ерши через решетку иной раз умудрялись кольнуть его. Было обидно и больно, но и радостно: что ни говори, а приятно оставить носаря ерша с носом. А кроме того, острота ершиных колючек вселяла надежды, что они когда-нибудь проколят, порвут и решетку, справятся с ней. И однажды ерши разодрали решетку, карп так думал, а на самом деле ее разнесла ливневая вода. И карп первый раз ушел гулять, колобродить по свежей воде, той самой, о которой мечталось.

Он прожил год в канаве, узнал все, что дано рыбе узнать в воде о жизни: голод, холод, страх, сети, крючки. Узнал, как большие поедают меньших, как этих больших едят другие большие и человек.

И когда в конце концов, пройдя через все мытарства, карп снова по-пал в свой родной пруд, это был уже взрослый огромный карпина, мудрый, рассудительный и спокойный. Осенью, как только с прудов спустили воду и начали отлов карпов, он уже не надеялся выжить и покорно направился вместе со всеми к машине с надписью «живая рыба»: лужи, небольшие ямы с водой не могли теперь спрятать его от людского глаза, слишком уж он был огромен, приметен. Но оказалось, что как раз в этом было его спасение. Бродяжничество, сытая жизнь с комбикормом в пруду — все пошло ему на пользу, и он из обычного товарного карпа вырос в карпа-производителя, которые были в рыбхозе на отдельном учете, которых содержали в особом пруду, особо присматривали, особо кормили. Кормили так, что тем, товарным карпам, и в праздники не снилось, давали всевозможные стимуляторы, витамины. Все было направлено на то, чтобы он был в теле, в силе, не знал никаких забот, а только исправно размножался. Каждую весну он чувствовал, как рвется по-живому, разламывается его тело, бока, как в его тело входит весна. Он находил подругу, и они вдвоем, притихшие, правили свою весну. А потом наступало одиночество, потому что их отсаживали от маленьких карпиков, а он ведь уже знал, что будет с ними потом, когда придет осень. Ему осточертело уже и то, что было с ним потом: изо дня в день один и тот же сверх¬питательный калорийный корм, одни и те же витамины, одни и те же стимуляторы, один и тот же пруд. И прогуляться негде, и поговорить не с кем. И сбежать никуда не сбежишь: в какую бы сторону ни поплыл, все знакомо до последней песчинки на дне. Все стерильно, все чисто, все предусмотрено, рассчитано, расписано. Одна только забота: ешь и размножайся. У карпиков-несмышленышей маленькая, но все же была возможность сбежать, был еще интерес к жизни, ведь для них все внове, все в диковинку — и вера, и неизвестность, как рай,

впереди. У него же ничего уже ни впереди, ни позади не было. За его благополучие, за его спокойную сытую жизнь сторо-жа отвечали головой, чихнуть лишний раз не позволяли. Так вот он и жил.

И все же ни один из взрослых карпов не жаловался на свою жизнь и не желал иной. Ни один не стремился выбраться из пруда. Они и не догадывались, что кроме их пруда-копанки есть еще другие пруды, есть другая вода, где-то живет иная рыба. Не удивлялись они и тому, что по весне время от времени какой-нибудь, самый старый обычно и самый большой карп, потерявший уже от сытости всякое соображение, неожиданно исчезал. А карпа это очень тревожило по той простой причине, что он и сам желал исчезнуть. Он подплывал к берегу, видел из воды далекое и бескрайнее небо, слышал далекую, иную воду, непонятную и потому привораживающую иную жизнь. Отголосок этой жизни несли на крыльях своих и лапах утки. И карп завидовал уткам, у которых были крылья, завидовал лягушкам, которые могли жить в воде и прыгать посуху. С тоской думал о том, что, будь он поменьше, может быть, одна из уток перенесла бы его в другую воду, помогла сбежать отсюда. И как-то, когда он справил свою свадебную весну и, опустошенный, залег на дно, его подхватили, вынули из воды, понесли куда-то, бросили на весы.

— Почти двенадцать килограммов,— сказала женщина.

— Кранты, отгулял, жеребчик,— непонятно с чего развеселился мужчина, который шел рядом.

—Нет, нет,— запротестовала женщина.— Пусть еще года три побегает.

— Может, ему и не повредило бы года три побегать,— отозвался мужчина.— Только ведь он у нас беспородный, самосейка.

— Это и к лучшему. Скоро уже будут вырождаться наши витаминизированные. Нет, пусть живет, отлавливайте других, которые и дохнуть ленятся.

И карпа снова бросили в ту же самую воду. Он решил про себя, что разобьет голову, но вырвется, сбежит из этой тюрьмы. Вырвался он только весной, когда уже и помышлять перестал о свободе. В нагульные пруды пустили воду — не предусмотрели, не учли, что где-то прошли дожди. Паводок размыл ночью дамбу. И вот карп свободен, гуляет по знакомой ему канаве.

Канава вроде бы стала меньше, в пруду она представлялась ему огромной и широ¬кой, была вроде бы и огромной и широкой, когда он, молодой, быстрый, плавал по ней.

Первый день прошел тихо. По берегам сидели только мальчишки с удочками. Карп легко обманывал их, шутя снимал с крючков насадку, вскидывался, бил хвостом возле поплавков, забавлялся, рвал их лески, сосал, тешился молодыми корешками, молочными побегами камыша, который только-только пробивался в воде из земли. Но на следующий день все переменилось. Еще

в темноте заворчали на дамбе машины, там, где они останавливались, вскоре становилось и вовсе шумно: летели в воду пустые бутылки из-под водки, густо сыпались куски хлеба, колбасы. Перед рассветом, еще в полусумраке, в затишном уголке, который он присмотрел себе для ночлега, где было в изобилии милой его сердцу тины и ряски, появились двое с сеткой. Окружили сеткой заросли поникшей лозы и не стойкой еще, припавшей к воде молодой травы, отошли к берегу, сдвинули стаканы.

— Ну, с почином...

— С почином... Если он здесь, будет и уха, и на сковороду хватит.

— А куда ему деваться. Я эту канаву уже вдоль и поперек сет-кой прощупал. Это днем его с огнем не сыщешь. А ночью он здесь, как миленький. В грязь зашился и посапывает. Пошли?

И они пошли. Взбалтывали, мутили воду, обтаптывали травяни-стые берега. Карп лег набок и притаился. Он знал, сейчас самое ра-зумное не двигаться, не выказывать себя. От сетей не убежишь. Один из рыбаков едва не наступил ему на хвост, остановился, бросил в воду, под самый нос, вонючую самокрутку.

О том, что с прудов сбежал карп-производитель, знали уже не только сторожа, вся деревня знала. И пошла на карпа охота. Со сто-роны прудов вдоль канавы по дороге, по дамбе ходили сторожа, всматривались в канаву, не подаст ли он знака, не видно ли где его широкой спины. Сторожа засели, разложили костерок и на краю лужи-болота, которое рукавом соединялось с канавой и в которое карп поостерегся заходить в первый день, когда сбежал с пруда. На другом краю болота бродили с остями мальчишки, закатав штаны, прыгали с кочки на кочку, прижимались к кустам, прислушивались, не взбурлит ли где вода, не вскинется ли громадина карп. Мальчишки знали о сторожах, сторожа знали о мальчишках, но, пока мальчишки не лезли на глаза, сторожа их не трогали. А карпы, караси бились, терлись в болоте, спешили выметать икру, пока тепло. Правда, была это все мелочь.

Карп же бежал канавой, искал тихое уютное место, где можно переждать, пережить воскресенье. Озорно прыгали над водой, вы-ставляли напоказ свое ловкое тело небольшие окушки и плотвички. От берега, который был ближе к лесу, вкусно пахло комбикормом, ржаным хлебом, картошкой и подсолнечным маслом. Карп знал, что там, откуда наплывают эти запахи, сидят удилыпики. Хватишь той картошки или комбикорма, получишь крючок в губу, и вздернут тебя к солнышку. Карп не хотел останавливаться ни на мгновение, прижимался больше к берегу, который ближе к прудам, где безопасней, где был уже рыбхоз и куда не рисковали лезть удильщики.

Но он едва не попал в западню на середине канавы. Почти у са-мого шлюза навстречу ему суетливой стаей шли лещи, бежали пло-тицы-занозы, ле-

тели стрелами прогонистые щуки и щурята, ползли по дну бревноподобные лини. Карп повернул назад, но там суета и паника были еще больше. Взбудораженная, перепуганная рыба кружила, будто в водовороте. Впереди было уже тихо, и карп чувствовал в этой тишине напряженность и опасность. А позади все содрогалось, кто-то без устали колотил и колотил по воде кольем, шуровал в кустах длинными палками, на конце которых прибиты цепи и консервные банки. Два мужика, из края в край перекрыв канаву, тащили бредень. Рыба задыхалась от ужаса. Карп бросился прочь от бредня, поплыл навстречу той неизвестности, что была впереди. А там, также перекрыв всю канаву, стояла сеть. И в ту сеть уже немало впуталось его сородичей, карасей, плотвы, щук. И чем сильнее рвались они в отчаянии, стремились высвободиться, тем крепче застревали в тоненькой, но прочной капроновой путанке. Дорога карпу как вперед, так и назад была перекрыта. И не хватало простора, чтобы разогнаться, порвать бредень или сеть. Карп, унимая дрожь, сдерживая непомерное желание сломя голову ринуться на эти преграды, смести их, залег на дно возле самых грузил сети. Мордой осторожно приподнял эти грузила и переполз, перекатился под ними. Перекатился, не удержался, дал свечу и айда драла-лататы. Только охнула вслед ему канава, охнули, схватились за грудь рыбаки.

— Вот так люди инфаркт и зарабатывают... Кабан...

А карп был уже далеко. Он снова бежал канавой, шел все по тому же кругу, но против течения и придумать не мог, как выжить, как пережить этот день, можно ли прожить на этом быстром течении без волнений и страха один хотя бы час. И распирали, рвали ему бока и хребет тысячи и тысячи новых существ, вопили, требовали воли, свободы, воды — той самой стихии, которую он так любил, из которой вышел, к которой принадлежал. Но сейчас он впервые не торопился населить эту стихию жизнью. Не торопился, хотя его тело и разум уже были неподвластны ему. Все в нем принадлежало тем, кто еще не на свете, кто должен только появиться. Дать жизнь — к этому призывали солнце, день, вода, поколения его пра-пра-пра, которые давно уже исчезли, которых давно уже съели птицы, люди и звери, но благодаря им, этим давним, исчезнувшим, он и появился на свет, жив сегодня и, может быть, будет жить и завтра. Может быть... Условность, шаткость существования возмущали карпа, мешали заняться предписанным, вековым. Что-то разлаживалось в нем. Он как бы двоился перед неизбежностью векового и сегодняшним, неспособным дать ему и минуту покоя, передышки, вынуждающим ничему не верить, всего бояться. Инстинкт гнал его на нерестилище, а меж тем он, и сам того не приметив, уже разбойничал на канаве, утратив чувство опасности, свойственное ему, не думал о самозащите, превратился из тихого и послушного, боязливого карпа в дерзкого хищника. Разгонял мелочь, зявил пасть на нее, словно намеревался проглотить, и не толь¬ко намеревался, пугал понарошке,

а на самом деле жаждал прогло-тить и очень жалел, что у него нет зубов, а только глубоко, почти в брюхе, пластины. Мелочь сама рассыпалась во все стороны веером, когда он зло лупил по воде могучим хвостом, пускались наутек не только рыбы, но и водяные крысы, которые раньше и не приметили бы его, не плюнули ему вслед. Сейчас карп уже не обходил и вкусные запахи, погибель свою, принюхивался к ним, смело плыл. Подбирал все, что высыпано на дно, в клочья разносил лески, ломал удилища и этим поддавал жара и азарта рыбакам. Множил страсть и желание поймать его. Поймать вопреки всем стражам и запретам. Но ни у кого пока что не объявилось стоящей снасти и руки. В одном только месте карп почувствовал непреклонную руку и непорывную леску. Это когда он уже сделал третью пробежку по кругу и пошел туда, где в свое время жил, когда бродяжил на свободе. Почувствовал руку и снасть и уже пережил свою погибель, но тут случилось непонятное. Его отпустили, будто побрезговали. И карп сначала бросился бежать, но тут же повернул назад. Он хотел еще побороться, не нужна была ему милостыня.

Земля под грушкой не успела еще прогреться. В самой грушке была жива холодная память о зиме, которая не так уж давно и кончилась. Тянуло от земли прошлогодней сытной и урожайной осенью, прошлогодними грушками-гнилками, что, прикрытые листвой, перезимовали здесь. Сейчас они, видимо, уже рассыпались, пролезли, пробрались в землю зернышки, чтобы прорасти новыми грушками. Но запах от гнилок, медовый, сладкий, сохранился. Или, может быть, так сладко пахнет будущими медовыми грушками первоцвет, а может, и нет никакого запаха, может, он только мерещится Евмену. Пригадывается, потому что Евмен всегда носит его в себе, никогда не расстается с ним... Расставался с деревней, с матерью, с этими местами — с Полесьем, а та горечь, которой пахнуло на него от срубленной отцом груши, нигде не пропадает, не отстает ни на шаг от него. После того памятного дня Евмен дышал чистым и слегка влажным воздухом большой реки, на берегу которой стояло удилище, где учился и он, дышал воздухом прокопченных гарью улиц большого города, дышал воздухом большого завода, на котором работал слесарем. Но никогда и нигде его не покидало ощущение, что повсюду в воздухе разлит аромат не успевшей отцвести груши, той, которую стащили тогда и порубили на дрова, сожгли, и той, под которой он сейчас лежит.

Особенно крепким был этот запах цветущей груши весной, когда он встретился с Ольгой... Когда только было это. И было ли. В какой это сейчас дали. Нет, не так уже, кажется, и давно, словно вчера. Стоит только протянуть руку к зеленой траве, где лежит солнце, его луч, и, кажется, встретишь Ольгину теплую, чуть шероховатую ладонь, прикоснешься и погладишь ее, и все будет снова, как было в самом начале.

А весна в самом разгаре, в самом разливе. И от многих людей веяло алым цветом весенних садов, от хороших людей. Это Евмен приметил давно уже:

от хороших людей, особенно когда они из Полесья, из его родных мест, веет запахом спелых и сладких груш. И вообще каждый человек носит в себе память и запах своего родного, родительского дома, а полешуки, так те насквозь и на всю жизнь продуты белыми вьюгами груш-дичков, к которым с незапамятных времен они прилипчивы, которые издавна скрашивали тужливое, горькое житье-бытье их дедов и прадедов, вносили в него и сказку и побаску, врывались в их души буслиным перекликом, розовым кружением молодых на заре, пробующих крыло бусликов и буслов, взрослых, преданных их селищу, их дереву и им самим; тех грушек-дичков, которые сегодня в наследство перешли от полешуков дедов к полешукам внукам и правнукам, и, как в былые времена, метут и метут, кружат и кружат по лесам и проселкам Полесья белые запаши стые вьюги. Вдали от дома, от родной деревни той весной Евмен словно бы опять попал в эту вьюгу. Он тогда ни сном ни духом и помыслить не мог, что такая девчонка пойдет за ним. Он был ослеплен, оглушен запахами весеннего сада, весенних цветов, чистотой, наивным смущением той белявой девчушки, приостановившейся на углу возле автомата с газированной водой. Он шел за этой девчушкой часа, может, два, увидел ее в городе и пошел, как одни идут за зайцем, другие за боровиком или рыбой, третьи — за жар-птицей в тридесятое царство. Уже немного притомился и слегка был раздражен — сколько это она может ходить, ни одного магазина не пропустит,— злился и ворчал, как злятся и ворчат на близкого, родного человека. Но вместе с тем Евмену было приятно все это и даже раздраженность его, было приятно, что он впервые увидел человека, а уже как бы имеет некое касательство к нему, не чужой ему. Было приятно вдвойне, что это женщина и, если судить по тому, как она второй час неспособна выбрать наконец, купить что-то, непривычная к городу женщина, своя, деревенская. Попросила бы его, обратилась к нему, он в минуту бы все купил. Интересно ему было хоть одним глазком взгля-нуть на вещь, что понадобилась ей, которую вроде бы и днем с огнем не сыскать. А город и в самом деле весь пылал и светился, как в огне, в пламени, в некой весенней лихорадке. Старательно, будто нанятое, припекало солнце, и все куда-то бежали, торопились, возбужденные, приветливые. Ночью распустились, зацвели маки, и вместе с этими маками, казалось Евмену, похорошели, расцвели той же ночью и девчата, такими сразу стали все они красавицами, куда прекраснее, чем были вчера. В легких цвета¬стых платьях, с оголенными, еще не тронутыми солнцем руками и ногами. В этом их оголенном после долгой зимы теле было что-то такое же беспомощное и стыдливо привораживающее, как и в первых, слегка взъерошенных, с пупырчатыми от утреннего озноба ножками подснежниках, сон-траве, что розово и ало распускается на полесских песчаных взгорках, когда все другие цветы еще глубоко в земле, скованы холодом, когда в низинах чернеет снег. Та же торопливость, то же удивление и то же нетерпение и броскость, та же затаенность, что и в первых цветах, чувствовались этим днем в каж-

дой встречной женщине, ступившей на тротуар, алым, розовым и голубым расцветившей улицу. Алым, розовым и го-лубым полыхала на всю улицу и девчонка, за которой, будто на привязи, шел Евмен, слепила его и всех, казалось, слепила. Она была не одна, вместе с подругами, но выделялась среди них, хотя одета более простенько, чем они. Простенькие юбка и блузка, как у школьницы, простенькие босоножки, тапочки скорее, чем босоножки. И только в лице, в широко распахнутых глазах бездна нетерпения, удивления и ожидания. Именно ожидания, непонятного и неясного, видимо, и ей самой. Оно кипело в ней, било через край, перехватывало дыхание. И девушка шла с открытым ртом, зубы — что зернышки, белые, острые, будто ей хотелось все, что ни попадало на глаза, взять на зуб и попробовать. А купила она, Евмен даже сплюнул от неловкости, лифчик, самый обычный, полотняный и... самый маленький. Но такая радость белой, затаенно смущенной улыбкой расцвела на ее лице, когда она взяла с прилавка тот лифчик, что Евмен тут же простил ей эту глупую, никчемную покупку.

Пылающая, все с той же улыбкой, она вышла из магазина и оста-новилась у автомата с газированной водой. Горстью плеснула водой на разгоревшееся лицо, фыркнула от удовольствия и начала пить неторопливо, с остановками, с раздумьем, как пьют работающие весь день на поле, на жаре женщины, как пьют деревья, птицы, даже не пьют, а дышат водой, при каждом глотке вглядываются в небо, в солнце, в родные дали и улыбаются этим далям, небу и солнцу. Так вот пила и она, знающая цену воде деревенская девчонка. И Евмен не удержался, будто во сне, подошел к девчонке, взял в обе руки ее голову, припал к ее волосам лицом и застонал от радости, оттого, что невозможно высказать словами, даже будь у него язык, оттого, что дышит чем-то родным, своим, неизбывным... Если бы Ольга сбежала тогда или брезгливо оттолкнула его, может, ничего бы и не было. Что ей стоило разбить о его лоб стакан с водой! Ольга же неожиданно для Евмена приветливо и радостно заулыбалась, видимо, даже захохотала на всю улицу, потому что на них стали оглядываться. Заулыбалась, захохотала, озорно закрутила головой. И Евмен, всматриваясь в ее лицо, видя, как прыгают в ее глазах желтые, словно присыпанные пыльцой от цветов чертики, тоже захохотал, высоко вскидывая голову, будто лошадь, которая солнечным утром забралась в клевер, вдосталь хватила того клеверу, напилась кри- ничной воды и заржала радостно.

— Зачем ты меня обнюхиваешь,— спросила Ольга Евмена,— будто тетка в гастрономе рыбу? Или, может, это так познакомиться хочешь?

Евмен все до последнего словечка разобрал, но ничего не ответил. Нечего было ответить, и не мог он ответить. Боялся рот даже раскрыть, чтобы все на этом не кончилось, чтобы Ольга не догадалась. Пытался скрыть свою безъязыкость, но не смог. Евмен быстро-быстро стал объяснять ей руками, что он и в мыслях не держит приставать к ней, просто она красивая девчонка, как

грушка, видимо, только что из деревни, потому что от нее пахнет грушевым цветом... Желтые чертики в глазах у Ольги почернели, и вся она сжалась, как от удара, беспомощно развела руками.

— Не понимаю... Не разумею... Никс ферштеен...

Евмен растерялся и, запинаясь, побрел от нее прочь. Ш на свою беду, на свое горе, утром встретил Ольгу у проходной завода. Она узнала его, бросилась навстречу. Но он скользнул по ней деланно равнодушным взглядом и исчез в толпе, спиной ощутил ее недоумение, растерянность и возмущение, но не повернулся и вида не показал, что знает. С того времени Евмен не раз и не совсем чтобы случайно встречал Ольгу и у той же проходной, и на заводе, и в общежитии. Оказалось, что они живут в одном доме, в одном общежитии, только на разных этажах. Как-то увидел ее в своем цехе. Но, сколько бы ни было тех встреч, он всегда делал вид, что не узнает ее. Вскоре и в самом деле та первая и неловкая встреча на улице, неловкий разговор отошли в такое небытие, будто и в самом деле ничего не было. Он ведь такой нескладный, ему суждено только одно — работать, работать.

...И как он работал той весной. Всегда был работящим, ходил на заводе в лучших слесарях, но тут и вовсе из кожи лез вон. Тогда как раз ставили на конвейер контейнеры для хлеба. Мороки с ними хватало. К Евмену боялись лишний раз подойти даже мастера. Он не знал, что такое невозможно, нельзя. Невозможным для него было не сделать того, что ему приказывали. Наряд же, задание он, как солдат, считал приказом, который не обсуждается, кровь из носу, но выполняется. И в детстве, и сейчас он всегда и весь был в деле, в работе. И что мог он поделать, если ему никогда не дано было сказать, что он думает об этой работе, если ему никогда не дано было забав, детских шалостей, если ему не с кем было поиграть. Мир с детства казался таким непробиваемо серьезным, потому что с детства он был уже взрослым, был среди взрослых, верил всему, что исходило от них. А чему было еще верить, дети побаивались его и не всегда принимали в компанию. Они не могли понять его безудержности во всем, будь то дело или развлечение. Вот и сейчас Евмен трудился, сжав зубы, замкнутый, огражденный от всех и всего собственной же немотой и глухотой. Люди, и даже Ольга, когда он с головой ушел в работу, для него уже не существовали. Нет, это он преувеличивает... Ольга как раз всегда была с ним, думать о ней он не мог запретить себе, обо всем мог забыть, все выбросить из головы, только не Ольгу. И это злило его до отчаяния. Лягушонок ведь еще зеленый, а такая власть над ним, нечистая сила, хоть на стену лезь или волком вой. И он делал кондуктора и шаблоны не только потому, что обязан был, а чтобы доказать и Ольге, что он не хуже других, что он и есть тот единственный человек, без которого не может обойтись завод, самый необходимый там Человек. Сделает он те шаблоны, подойдет к Ольге, простится с ней и навсегда съедет, сбежит в деревню.

Евмен горько улыбается. Хорошо пригревает солнце, парит земля. Над грушей, над Евменом колышется, дрожит белое призрачное марево. А в этом мареве дрожит, взад-вперед, вверх-вниз раскачивается, словно на качелях, цветной — желтый, синий и черный — шмель, призрачный, нереальный, вспыхивает медово, зажигается на солнце, припадает к цветам, замирает и тут же, видимо, от избытка сладкого вздрагивает всем своим крошечным, яростно взъерошенным тельцем Ввинчивается в цветок, облапив его паутинками ножек, обессиленно, словно пришибленный запахами, ароматами, отваливается, отрывается от цветка и снова упрямо, тяжело выплывает из тени на солнце, уже весь желтый, перемазанный пыльцой, чтобы еще крепче вдох-нуть запах, вкус и сладость того, чем одарила его груша, цветы ее. Надолго зависает, дрожит, раскачивается на одном месте, в солнечном луче... Что он чувствует сейчас, что на уме у него, что вспоминается ему, когда он, шмель, добирается до меда? Все та же хмурая улыбка дрожит на губах Евмена. Радостно, сладко шмелю, добрался, припал к сладкому и пирует. Радостно, сладко когда-то было и ему, Евмену, но вместе с тем и наполовину с дегтем всегда был его мед. Нет, не только к этой грушке рвался он из города. «...Евменка, родной, знал бы ты, ведал, как мне горько живется на белом свете,— писала ему мать.— Меньший, слава богу, подрастает, Гудит и следит за мной глазами из колыски. Куда я, туда и он глазками своими. А вот что делать с Рыгором-горем, братом твоим, и ума не приложу. Что уже пьет, что уже пьет... И бьет меня, Евменка. Зачем меня на свет рожа-ла. Не видели б, не смотрели на него глаза мои, не слышали бы уши мои тех слов. Я и умереть уже, Евменка, согласная. Да кто за тем малым смотреть будет, кто его на ноги поставит, кому оно надо. Сдать бы, Евменка, Рыгорку нашего куда... Пишу тебе это, а у самой слезы капают, разбегаются буквы. Болит моя голова, Евменка, сердце болит. Сын все же, куда его денешь, кому поручишь. Будут у него дети, будут у тебя дети, может, поймете вы меня. Может, к какой-нибудь науке пристроил бы ты его? Ты же сейчас человек большой, живешь в городе, общежитие тебе дали, свой угол как-никак есть. И он хлопец, не гляди, что богом обделенный, разум есть у него, на науку справный, только что дурноватый. Не хочет учиться ничему. Никуда для себя же стронуться с места не хочет, хоть убей ты его. Может, ты б и подскочил к нам, может, не совсем еще отказался от нас, хоть и в люди выбился. Может, не совсем забыл еще мать. Она ведь вам только добра желает. Хотела ли она, гадала ли, думала, когда носила вас, что так оно все повернется? Подскочь к нам, Евменка, поучи брата как брат, поучи, как жить на свете этом. Сама я уже не осилю его. Я тут уже и самогонки выгнала. Стоит, ждет, прячу ее от Рыгора. Дай бог, чтобы все у тебя добром и по-доброму было. Добра твоим детям А будут они у тебя, поймешь и свою мать...»

Понимал ли, понимает ли он ее? Трудно судить. В то время, кажется, понимал. Все было тогда понятно, все просто. Той весной все, что томило,

мучило его, ото¬шло. Он, Евмен, нашел свой язык, тот, которому не нужны слова. Язык, которым в совершенстве владеют одни только женщины. Женщины на этом свете — в чем-то те же глухонемые... Или, может, это мужчины рядом с ними глухонемые? Привыкли все глушить в словах, как к водке привыкли, и онемели от своих же слов. А женщинам невысказанное надо, то, что на душе, вот что им слышнее, что им понятнее. И Евмен вдруг стал таким говоруном. И все благодаря Ольге. Его Ольге способна заставить говорить не только человека, но и камень. Камнем до встречи с ней был и Евмен, серым замшелым валуном. Тем самым валуном, что наворочал, накидал лед¬ник на серых полях его, Евменова, Полесья. Не стронуть их с места и трактором, так вросли они в землю. А слабая, маленькая Ольга стронула его, выдала из него слова. Дитя слабого женского роду-племени на поверку оказалось сильнее всех тракторов на свете. И хитрым оказалось то дитя, обвело, обкрутило всех на свете, не только людей, но и саму природу. Откуда только что взялось. Откуда только берется такая сила и хитрость в женщине, неопытной даже. Нет, недаром говорится, что женщина в девятом поколении приходится родной сестрой змее.

Бурым, серым камнем-валуном Евмен разрезал толпу рабочих, шел после смены в общежитие. И тут в этой толпе отыскала и подо-шла к нему Ольга. Выдернула из людского потока, за руку подвела к фонтану, где стояли только несколько девчонок. Но стояли они у фонтана не просто, это Евмен приметил сразу. Искоса все время следили за ним и Ольгой и еле-еле сдерживали смех. Дурные тетери, они думали, что попали в клуб, кино смотрят. А то было совсем не кино, хотя и очень похоже на кино...

— Куда мы пойдем сегодня? — путая буквы, немного по-детски, пришепетывая, спросила его Ольга.— Куда ты меня сегодня пригласишь, в кино, на танцы?

Евмен не поверил своим глазам. Оглянулся, девчата едва не попа¬дали от хохота в фонтан. Дурные тетери... Но и он тоже тетеря добрая. Он тоже подумал, что это просто неудачная шутка, издевательство: девчата подбили Ольгу, и она, пустобрешина, насмехается над ним. Он сжал кулаки и перевел глаза на Ольгу, но не увидел в ее глазах того, что рассчитывал увидеть. Она стояла перед ним уже причепуренная, губы, не знающие помады, деревенские, блином, неумело и ярко подмазаны, а в глазах мольба, вызов и отчаяние, как у кулика, которого он, Евмен, сегодня спугнул с гнезда. Ольга не сводила с него глаз, переступала с ноги на ногу, и Евмен чувствовал, как у нее, словно у того кулика, поджимаются от страха ноги, проваливается она от стыда под землю, хочет стать меньше, совсем невидимой. Еще минута, другая, и она сорвется с места, понесется сломя голову куда глаза глядят, без оглядки, до самой своей деревни, и там никому не покажется на глаза, сольется с лесом, с кустарником, с водой, как не раз, сгорая от стыда, сливался он сам. И помочь ей Евмен

не мог ничем. Стыд собственный, помноженный на стыд Ольги, сковал его, и все еще верилось и не верилось.

— Мужик ты или бревно ?— Ольга наступала на него, быстро жестикулировала руками, пальцами.

Евмен следил за ее речью и думал, сколько же это ей пришлось учить его язык, сколько она недоспала ночей, если чешет сейчас как по-писаному, думал, что и в самом деле пришло время становиться ему мужчиной. Только в тот вечер у фонтана они так ни о чем и не договорились. Очень уж стремительно и неожиданно все свалилось, очень уж медленно и тяжело он думал. Ко всему же и Ольге и Евмену, особенно Евмену, мешали на что-то отважиться Ольгины подруги: они до последней минуты были уверены, что все это только кино, а их Ольга — ну, умора, ну, артистка. Что ж, и в самом деле Ольга была талантливой артисткой, только в тот вечер она жила в той своей роли, играла не кого-нибудь, а саму себя, и не играла... Когда Евмен все же отважился что-то сказать Ольге, она уже отвернулась от него и побежала. Ящерицей скользнула в толпу, скользнули за нею и девчата. Но в кино Евмен и Ольга попали в тот же день. Евмен, придя в свою комнату, долго сидел неподвижно на заправленной кровати, не переодеваясь, потом лихорадочно вскочил, перевернул все вверх дном в комнате, трижды побрился, вылил на голову и лицо почти флакон тройного одеколона, завязал галстук, надел костюм, наглухо, на все пуговицы застегнулся и направился к комнате Ольги. Она словно ждала его. Евмен только притронулся к дверям, а Ольга уже распахнула их, стала на пороге, чужая, неприступная, будто это не она только что приглашала его в кино или на танцы. Евмен не придал значения этой ее отчужденности, взял под руку и повел, потянул из комнаты.

— Куда, куда ты меня?.. Никуда я с тобой не пойду.— Ольга закричала, заупиралась. Евмен не смотрел на нее и не слушал, бережно, осторожно, но неумолимо тянул, почти нес на руках к выходу. В ту минуту он и не способен был что-либо увидеть, почувствовать, он был камнем-валуном, что по осени или весне лежит в пустом, голом поле. Окаменели его лицо, губы, тяжелыми, каменными стали ноги, и сердце — кремень. Если у фонтана было только глумление, он отомстит, если же нет, не обращая внимания на неловкость, на стыд, на страх, вот так, каменно пройдет через все и всех. Была в нем тогда уверенность, будто дан ему зеленый, и он, как локомотив, мчал на этот зеленый на всех парах. А Ольга уже колотила его кулаками по лицу и кричала на все общежитие: — Да отпусти же ты меня, отпусти... За что так меня позоришь...

На ее крик раскрывались двери, выбегали в коридор девчата.

— Евмен-немой Ольгу схватил. Спасайте, хлопцы...

Прибежали хлопцы, но не торопились спасать Ольгу. Было что-то в лице, в слившихся с ним обескровленных губах Евмена такое, что они не решались броситься на него, уступали дорогу. Но, видимо, бросились бы, бросились, потому что спешила им на подкрепление дежурная Тетя-Мотя, бежала со щеткой наперевес в руках. Ольга, как только увидела эту грозную Тетю-Мотю, перестала отбиваться от Евмена, припала губами к его губам.

— И ничего он меня не схватил. Я сама, я сама, это я...

И снова, чтобы видели все, губами к его губам. Ржали по-лошадиному ребята, хохотали девчата, плевалась Тетя-Мотя:

— Век прожила, всякого насмотрелась, а такого... Ребят тебе, бесстыдница, не хватает...

— Не хватает, Тетя-Мотя... Отпусти,— это уже ему, Евмену.— Переодеться надо. Зачем я юбку новую покупала.— Евмен отпустил Ольгу, как только она вознамерилась повернуть назад, к своей комнате, снова сжал ее руку.— А, хорошо и так,— решительно крутнула головой Ольга.— Что есть, то есть, что на мне, то и мое. Лучше, когда мужик убран. Рядом с красивым мужиком и я красавица!

И Евмен, все такой же неколебимо сосредоточенный, вывел ее из общежития. Как они попали в кино, как он смотрел то кино и о чем оно было, не помнит, хотя глаз не отрывал от экрана. Уставился на сцену и полтора часа просидел, не шелохнувшись, чурбак чурбаком. Неподвижная, будто деревянная, отбыла то кино и Ольга. Вышли из кинотеатра и не знали, что дальше делать, куда идти, как избавиться друг от друга. На улице, в полумраке уличных фонарей, среди редких встречных, на раздорожьях чужой жизни, среди запахов весны, особенно ощутимых в городе вечером, бойкая и разбитная Ольга вдруг замолчала. Она притихла, сжалась вся в комок, у нее, как у дикой груши, вылезли вдруг колючки. Этими колючками, голосом и кулачком она все время колола его, когда он не очень смело пытался приблизиться, вскрикивала:

— Не подходи, иди, где идешь...

И он плелся за ней, тянулся, как бычок на веревочке. В одном только месте, на перекрестке, когда стая молодых и волосатых пар-ней с гитарами заступила Ольге дорогу, обошел ее, плечом протеребил ей путь. И от того перекрестка Ольга шла уже позади, шла, он чувствовал, злая, готовая в любую минуту взорваться. Как ее успокоить, чем развеселить, Евмен не знал, хотя и понимал ее злость: это сегодня вечером все просто, а как ей будет, когда развиднеет, что скажут завтра девчата, сколько разговоров покатится с этажа на этаж. И Евмен терпеливо сносил все, что бы она ни говорила, что бы ни делала. Единой его мыслью, единым желанием было как можно быстрее попасть в общежитие, потому что время уже позднее, а в двенадцать двери за-

крывались на замок. Евмен же и представить себе не мог, как это он останется за дверями, что-то порушит, выбьется из жизни, которой жил до этого. Жизнь эта была кем-то продумана до него, от руки на бумаге красивыми буквами расписана по часам и минутам, заверена подписью. Все там было учтено, все правильно, ни с одной буковкой не поспоришь. Да и спорить он не мог, он больше привык исполнять все, чего от него требовали.

А требовали не так уж и много— быть послушным. Послушности, исполнительности его обучали все — родители, деревня, город, этому его учили и в училище, и на заводе, и в общежитии, этого же добивалась от него и Ольга. Требовали люди, которые были всегда над ним, потому что они больше прожили, больше видели, всегда знали чуть-чуть больше его. Слушаться всех, не нарушать, не говорить и слова поперек было куда сподручнее, чем норовиться, стоять на своем. В этом он убеждался не раз еще в детстве. И в училище были такие, что мастер им «стрижено», а они ему «брито». И в конце концов кто все-таки оказывался стриженым, кто бритым?.. Но не только из-за какой-то своей выгоды всех и каждого слушался он, ему нравилось быть послушным, нравилось, что это нравится другим, которые всегда знают, что он должен сделать, куда ступить. И постепенно он забывал, чего же хочется ему, есть ли у него своя воля, и делал только то, чего от него ждали. Он даже научился угадывать заранее, чего от него ждут, и без приказов, без понуканий поступал в угоду этим чужим ожиданиям, не задумываясь, не выбирая чего-то другого.

А улица кружила голову. Хотя это был и город, но и в нем стоя-ла весна, и городская весна захватила Евмена, несла и крутила, вертела его в своем шальном, разгульном устремлении все взрывать, рушить, преображать. С высокого и чистого неба высматривали Евмена на земле звезды и озорно подмигивали ему. Издеваясь, поддразнивали, подмигивали фарами лоснящиеся в ночи быстрые машины. Вверху, возле зажженных фонарей, густо толпились, кружили восставшие с зимы мотыльки, комары, мошкара, ошалело устремляясь на огонь, обжигались, убегали от него и не способны были бежать. По тротуарам сновали взад-вперед влюбленные, жались в тень, к зарослям декоративных, безжалостно обкорнанных городским зеленстроем кустарников. И только они, Евмен и Ольга, были чужие друг другу в этот вечер.

Вдребезги чужие, они и распрощались неподалеку от общежития. Ольга запретила ему входить туда вместе с ней. И он так и не отважился зайти, помня ее запрет, перебился до утра на скамейке в сквере. И утром из этого же сквера ушел на работу. Ночь, проведенная им на улице, была одной из самых ужасных ночей в его жизни. Дело тут было не только в Ольге, не только в его любви к ней. Про Ольгу он помнил и думал лишь в первый час своего одиночества, уже в следующий его охватило отчаяние. Он почувствовал себя потерянным, подкидышем в этом огромном городе, на этой земле. Мгновен-

но порвались, исчезли все связи и с людьми, и с городом, и с землей. Все это по-прежнему окружало его, он был в центре не только города, но людского потока. И был одинок. Люди в ночи стали тенями, он не мог остановить их и заговорить с ними. Не знал их языка. И не только языка — их ночной жизни, привычек. Он ведь привык их видеть только днем, а если вечером, то знакомых своих по общежитию или деревенских. А эти на улицах были чужими, возникали из ничего, из перестука своих ботинок, из собственных шагов и пропадали, проглоченные теменью. И ни в одном лице, ни в одном глазу не было интереса к нему. Глаза и лица шли через него, не задерживаясь. А сам он, казалось ему, мог пройти сквозь их тела, не пробудив в их глазах ни удивления, ни любопытства, ни страха. Евмен страшился вышедшего на улицы городского люда. В его деревне ночь давала хату, приют и ночлег каждому. После полуночи там не спали только сторожа и злодеи. И Евмен сам почувствовал себя злодеем, преступником. Ведь он нарушает кем-то продуманные и установленные правила, нарушает правила, установленные им самим. Почему это он, как нищий, таскается по улицам, спит на улице, у него же есть своя комната, своя кровать, Узнай об этом, что могла бы подумать о нем его мать, сгорела бы со стыда, соседям бы на глаза не показалась. Как это он завтра будет смотреть на людей, как посмотрят на него люди, как отнесутся к нему, что подумают о нем. Но при всех этих страхах ему было и приятно. Время шло, улицы пустели, и он притерпевался, свыкался со своими страхами, что-то переворачивалось в нем, как-то по-новому перекручивалась его жизнь. Он любил, дорожил прожитым, прошлым, расписанным по часам и минутам, еще не восставал против него, но в дремотной неустроенности и тиши ночи ему сладостно было думать, как это все будет дальше. А ночь была теплая, перед самым рассветом наконец успокоился и притих город, впала в спячку суета, выветрился смрад от машин. Городом владела, правила весна, ее запахи, ее жизнеутверждающая тишина, чистота и задумчивость. И эта тишина, чистота и задумчивость охватили, успокоили и его, словно он каким-то образом оказался этой ночью дома, сидел над водой и дышал водой и весной. И ничего-ничего не надо было ему. Он словно бы и сам вышел из той воды, весны и ночи. Ночь и весна родили, выткали его, и, казалось, с первым лучом солнца он распадется, растворится в свете дня, легкий утренний ветерок разнесет, раздует его по всей округе. Он будет повсюду, и нигде его не будет. Легким ветром он будет ходить за Ольгой, ласково прикасаться к ней, гладить ее волосы, но она никогда не узнает, что это не просто ветер, а он, Евмен. Он всегда будет рядом с ней, будет кем угодно — солнцем, небом, ветром и водой. Ему только становилось страшно от мысли быть самим собой — кем угодно, только не самим собой. Евмен боялся рассвета, пугался при¬хода дня, горбился при мысли, что днем встретит Ольгу, чувствовал, что не сможет посмотреть ей в глаза, не выдержит ножей — взглядов, в которые

возьмут его поутру жильцы общежития, слесари в цехе. Что это он натворил, рехнулся, иного и не скажешь. И все они, женщины, виноваты. Она же издевалась над ним, а он и уши развесил, забыл, кто такой он, кто такая она...

Евмен говорил это себе, казнил себя и с печалью и тоской в душе понимал, что как бы там ни было, а он уже не способен забыть Ольгу, выбросить ее из своих мыслей. Пусть стыдится его, он уже прилип к ней и не отлипнет. И он обманывает себя, когда говорит, что вот выждет сейчас, опустеет общежитие, он пойдет, украдет свои вещи и уедет из этого города к себе в деревню. Дает он себе отчет или нет, но он хочет, чтобы Ольга и дальше так издевалась над ним. В этом была не только горечь, но и радость, надежда. И в страдании есть радость. Есть своя радость и в неразделен- ности, радость, что все у него, как и у других, что он тоже способен на страдания, как и другие, он не выродок в роде людском.

Только Ольга, когда пришла в цех, а пришла она к самому звон-ку, головы не подняла, даже мельком не взглянула в его сторону, глазом не повела ни в тот день, ни на следующий, и он обходил ее стороной, был уже близок к тому, чтобы и на самом деле сесть и уехать куда глаза глядят. Но все же на что-то надеялся, тянул и дотянул. У проходной завода после смены его окружили, зажали в угол подруги Ольги На подоконнике в суете толпы, гомоне, толкотне огрызком черного карандаша, предназначенного, скорее всего, для того, чтобы подводить брови, огромными буквами, будто он ко всему и слепой еще, написали: «Ты что это так высоко себя понимаешь? Ославил девку на весь свет и не подойдешь. Думаешь, и управы на тебя нету?» За окном проходной на кусте сирени сидел воробей, читал вместе с Евменом записку и весело покачивал головой и хвостом: так, так, так. Евмен засмотрелся на этого нахального воробья, а когда повернулся к девчатам, те уже исчезли...

Евмену с Ольгой выделили в общежитии комнатушку, им и еще одной паре молодых. Комнатушка была крохотной, двоим уже и не разойтись. Кровати стояли почти впритык; две кровати, два стула на четырех, еще два некуда было приткнуть. Некуда было приткнуть и стол. Вместо стола, чтобы на бегу перехватить что-то, приспособили тумбочку. Не очень удобный, не очень уютный, но все же свой угол. Евмен был счастлив. Ему радостно вспомнить все, что с ними было. Так радостно, что выпустил из глаз шмеля, забыл о нем, где он там...

Шмель уже пресытился, назапасил меду себе и всей своей шмелиной семье. Приморенный, лег на лист передохнуть. Откуда-то из-под этого листа, из промозглого сумрака выкатился невидимый до этого огромный брюхастый паучина. С неожиданной для ухоженного брюха ловкостью, как челнок, засновал туда-сюда, потянул из брюха паутину, начал обметывать, окручивать ею шмеля. «Ласый на чужие колбасы,— подумал Евмен.— Тут

тебе и мед, тут тебе и мясо». А шмель то ли чувствовал свою силу, то ли вообще не чувствовал присутствия паука, обессиленный, притихший, полеживал на листе и не двигался. Паук справил свою смертную работу, посчитал, видимо, уже, что шмелю не избежать его объятий, сбросил себя с листа на тонкой паутине, зараскачивался из стороны в сторону, словно вы-глядывал из-за угла и тут же прятался. Это раскачивание, скорее всего, и привело в себя шмеля, стронуло его с места. Он попробовал расправить крылья, чтобы взлететь, запутался в паутине, заерзал, закрутился. Евмен приподнялся в своем логове, чтобы помочь шмелю. Где-то ведь его ждала семья, он так старательно почти час собирал этот мед, в мыслях нес уже своим будущим детям, которых еще нет, но они скоро будут, как только наносит он меду, станет теплее, шмелиха отложит яйца и из них появятся шмелята. И Евмен не мог позволить, чтобы на его грушке погиб такой примерный семьянин, человек, да и только, иному ещё и человеку до этого шмеля семь верст, и все лесом. Евмен успел еще подивиться, что и среди такой красоты прячется смерть, вздрогнул от неожиданности, несуразности живого, а помощь его, вмешательство оказались без надобности. Шмель и в самом деле был сильным, он уже рвал паутину, уже выпутывался из нее, жалил желтым жальцем-кинжалом ни в чем не повинный солнечный луч. Паук впал в неистовство, словно на карусели, закрутился вокруг собственной оси. В одно мгновение втянул в себя паутину, поднял себя на паутине вверх. На долю секунды задержался, видимо, в рассуждении, стоит ли рисковать, стоит ли бросаться в бой с этим косматым зверем. Жадность победила рассудок, голос разума подчинился животу. Бросился в ту минуту, когда шмель уже расправил измятые крылья. Они закружили, заобхаживали один другого на отлакированном, гладком весеннем листе, будто специально приспособленном, определенном природой для лобного места, без раздумий начали свой танец смерти, плясали друг перед другом, словно влюбленные. Но быстро этой любви пришел конец. Паук получил свое. Дождался смертного поцелуя, перевернулся на полном ходу кверху лапами, поскреб ими воздух и успокоился окончательно и навсегда. А шмель еще немножко отдохнул, полежал подле него, тяжело взлетел, набрал высоту и потянул в лес. Летел медленно, его все время клонило к земле, он снижался, на пути его встал куст, но он не свернул, втянулся в просвет, прошил листья, вылетел с другой стороны и по прямой все с той же скоростью подался дальше. Евмен следил за ним, пока он не пропал с глаз, не растворился в солнечном луче. Счастливый шмель, где-то его ждут, и он не обманет этого ожидания. А он, Евмен? Ведь его тоже ждут.

«Добрый тебе день или вечер, Евмен!!!

У нас сейчас уже ночь, я сижу одна в красном уголке, никто мне не мешает, все уже спят, и пишу тебе письмо. Завтра утром мне на смену, а чем

занимаешься ты? Никуда не хожу, никуда не вылезаю из общежития, из своей комнаты. Даже не знаю, где и какое сейчас кино показывают. А где ты бываешь, ходишь ли в кино? Еще в начале осени, если это тебе интересно, расскажу, проводили мы на пенсию Тетю-Мотю. Собрались здесь же, в красном уголке, была и я. Подняла, выпила одну чарочку и не выдержала среди людей, поспасибовала, поздравила Тетю-Мотю и пошла, сбежала. А гуляли все до ночи. И было весело, стены ходуном ходили. Тете-Моте на прощанье дали грамоту от завода и скатерть от домоуправления, а мы, жильцы, сбросились по три рубля и купили в складчину приемник, я внесла три рубля и за тебя. Рассказывают, она плакала, говорила, не будь внуков, сидела бы еще, сторожила нас.

Сейчас у нас зима, декабрь, а снегу все нет и нет. Так, не раэбе- ри-пойми, то снег, то дождь, расквасит все, развезет грязь, не успеваешь обувь сушить. А как с погодой у вас? Я такая же, как и была, может, только похудела немного, все платья висят, как на вешалке, ушиваю. Записалась на курсы кройки и шитья. А как выглядишь ты?

Евмен, ты забыл свою бритву, инструмент слесарный, почетные грамоты. Тебе же и побриться сейчас нечем. Я все прибрала, упаковала, связала и спрятала. Отпиши мне, что с этими вещами делать. Вот и все, Евмен, про что я хотела тебе написать, что хотела сообщить. Осталось только сказать, что тебя здесь все жалеют, все помнят, никто о тебе плохого слова не сказал. И долго никого не брали на твое место, все ждали, надеялись. А один человек, ты знаешь его, надеется и сегодня...»

Письмо это Евмен носит с собой, знает его наизусть. Единственное письмо от нее. Она пишет ему каждый день, каждый день получает он от нее весть, но рас¬печатать, прочитать написанное Ольгой не хватает сил, а может, смелости. Нечего ему сказать Ольге. И больно, страшно услышать ее, увидеть растравить только себя. Так и ре распечатанное письмо он бросает в огонь, опускает руки и голову, красные рваные сполохи скачут по его лицу, бумага в огне выгибается, мнется, желтеет, жар калит ее, не торопится охватить пламенем, поджечь, словно ждет, вот-вот рука человека выхватит то, что предназначено огню. На раскаленную докрасна бумагу черно запеченными усохшими козявками выползают острые, испуганно торопливые буковки, а рука человека все так же неподвижна. И огонь злобно набрасывается на бумагу, гудит, уничтожает ее, но на уже испепеленном, уничтоженном листе, будто на раскаленном железе, секунду-другую еще приметны буквы, их еще можно разобрать, прочитать, пока они не развеялись. Человек не читает, он ослеплен огнем. И вот уже перегоревшая бумага чернеет, скручивается, распадается золой, зола, раздутая пламенем, будто мошка, кружит по избе, летают буковки-пепелинки. И нету, нету сил отвести от них глаза. Евмен выбегает

из избы, бежит через сонную дерев¬ню к Людке, чтобы отрезать все пути в прошлое, в будущее, чтобы с омерзением взглянуть на себя в начале нового дня и плюнуть себе вслед...

Они, Евмен и Ольга, были счастливы до той поры, пока неизбежно, как это и бы¬вает, не стал вопрос о третьем. Ольга ему поначалу ничего не сказала. С неделю, а может, и больше Евмен ни о чем не догадывался. Они ладили меж собой, понимали друг друга, хотя и жили не совсем так, как живут женатые люди, по крайней мере, не так, как принято жить в деревне, разбросанно, сумятливо, все рывком, все броском, словно стремились от чего-то убежать, что-то или кого-то догнать. Словно знали...

Ольга росла и воспитывалась в детском доме, не знала, что такое семья, не очень вроде заботило ее, каким будет день грядущий. Все ей надо было сейчас, сегодня, все ей надо было немедленно изведать, испробовать, все для нее было в новинку, все впервые. И вся она была как настороженный лесной зверек, как тот лисенок, которому все еще интересно и все страшно. Маленький, а потому нескладный, проказливый лисенок, который остался один в норе. Мать ушла на промысел, а он сидел, ждал, ждал ее и не дождался, выторкнулся из норы мордашкой, прижмурился от ослепительного солнечного света, испуганно тявкнул на солнце и снова в нору. И снова из норы. Любопытство сильнее страха. В нем больше доверия, нежели настороженности, опасливости, потому что его еще не травили собаками, по нему еще не стреляли из ружей, он еще не испытал полной мерой, что такое опасность, голод, холод. Живет так, как и должен жить зверь на воле — инстинктом, а не разумом, не своим еще разумом, а унаследованными от родителей предусмотрительностью и недоверием. И эта унаследованная предусмотрительность, извечная опаска предостерегают его, сберегают. Но возможно ли от всего предостеречь, все предусмотреть, если ты сам десятки и десятки раз не обожжешься, пока не заимеешь своего ума, не наберешься своего опыта. К тому же надо сказать, что Ольга не очень стремилась приобретать этот житейский опыт и разум. Евмен вынужден это признать, она была более безрассудной, но и более стойкой, чем он, спокойно принимала и перено-сила житейское безладье. Там, где он уже отчаивался, она лишь посмеивалась. И это было удивительно, непонятно, необъяснимо. Откуда такая жизнестойкость, прочность? Как та груша, которую он посадил в лесу, принялась, укрепилась в чужом городе. Без отца, без матери, без своего угла, на глазах у всех живет с ним. Все ветры дуют на нее, а она гнется, но не ломится, опять-таки как та грушка.

Тетка, единственная на свете ее родня, которой она написала о своем замужестве, прислала ей вместо благословения проклятия. Те , же подруги, которые когда- то свели Ольгу с Евменом, сейчас обходят ее стороной, не пара вы, не пара, не будет вам жизни. А она смеется им в глаза: яловки, передойки.

Денег не хватает на прожитье, многого не хватает, а главное -— слова ободряющего, ласкового, которое так необходимо и живет, живет в его сердце, но не выговаривается, не всегда прорезается даже в ласке, потому что в этом неожиданно обвалившемся на него счастье что-то не дает ему покоя, забивает голову, стучит-стучит в голове молоточками боязнь. Евмен огорчается, тоскует, а она дурашливо, но крепенько, ощутимо дает ему по ребрам: все хорошо, все будет хорошо, пока мы есть. И в то же время способна разбушеваться, закипеть, что тот холодный самовар, из-за мелочи, из-за ничего, на ровном, как говорится, месте. Вот и пойми этих женщин. Хоть разбирай ее на части, дознавайся, что у нее не так, как у него, почему она всегда такая разная. Его Ольга обведет вокруг пальца, перемудрит самого черта, потому что она сама и черт, и бог. Помогла ему добыть то, что украли у него, чем обделили его бог с чертом: голос, язык. Женщина, его маленькая Ольга, перехитрила своей женской природой ту, высшую природу, саму судьбу. Обжигает сердце, рвется с его губ слово, катится, катится в ночи слово его, незаемное, он забывает о своей немоте, чувствует себя человеком полноценным, каким и должен быть человек, кричит в голос и шепчет. Кто еще, кроме женщины, кроме его Ольги, способен свершить такое? И цепкость ее житейская, и доверчивость к живому тем и объяснимы, что она и есть сама жизнь: корень ее, ее начало и ее основа. И за чтобы она ни стояла, всегда стоит не за себя, а за жизнь, которую ей поручено самой природой оберегать, нести и продолжать. Она, женщина, а не он, мужчина, есть и будет хранителем и продолжателем людского рода, потому что в ней сокрыта великая тайна, не познанная, не раскрытая еще никем на свете, потому что только она, женщина, может так, до полного самозабвения, до самоотречения любить все живое, даже такого, как он, любить, любить и жертвовать всем ради того, кто есть, ради того, кто будет.

В этом Евмен убедился сам, понял это на третьем или четвертом месяце жизни с Ольгой. На том третьем или четвертом месяце Евмен приметил, что Ольга вдруг стала какой-то безразличной, после смены куда-то неожиданно исчезала, приходила задумчивая, пришибленная, но ничего ему не объясняла, не говорила, где была, кого видела. Он перестал узнавать ее, с неделю мучился, не знал, что и подумать, пока Ольга не сказала ему:

— У нас будет маленький... Ты рад?

Он был до того рад, что впору хоть о камень головой. В первую минуту Евмену и почудилось, что он грохнулся о камень головой, треснула голова, трещина пробежала через затылок, лоб, надвое раскололись и голова, и тело, и раскол тот все ширился, ширился, до тех пор, пока из него, единого, цельного до этого времени, не образовалось два человека. Один из них был счастлив, второй обливался кровавыми слезами, один дрожал от счастья, что у него будет ребенок, второй содрогался от горя, что ребенок тот будет таким, как и он, Евмен. И Евмен придушил того, счастливого, в себе.

— Нет,— сказал он,— у нас не будет ребенка! — И отвернулся, чтобы не видеть того, что она ответит, чтобы не видеть ее лица, оскаленных от боли, удивления зубов. Вперился бездумным взглядом в окно-амбразуру, таким маленьким было это окно, из которого ничего не видно, только небо, не по осени высокое и чистое. Небо, по которому скорбно плавала паутина. Нити паутины были очень длинные и распрямленные, как перетянутые струны, как та леска, на которой ходит, бьется схваченная крючком рыба.

Ольга закрыла небо, паутину и окошко-амбразуру своим телом.

— У нас будет маленький... Не закрывай глаза, не мешай мне. Я была уже у доктора...

— Ты пойдешь к нему снова... Пойдешь...

— Нет... Ты можешь отвезти меня туда, связать, затолкать только силой. Сама я не пойду... Может случиться так, Евмен, что у нас больше никогда не будет детей.

— Он будет глухонемой. Я тоже ходил по докторам.

— Может быть, а может, и нет...— Ольга замолчала, а он напрягся, подался к ней, ждал, умолял, чтобы она говорила еще и еще о том «нет», ждал какого-то излечивающего слова, которое, может, ведомо ей, которое ведомо одной только женщине и которое бы избавило его от того, другого, что сейчас убивался и плакал. А Ольга молчала, тоже ждала ответа. И он ответил:

— Нет!.. Проклянет нас с тобой. Если и не он сам, если ему выпадет счастье родиться не таким, как я, дети его могут проклясть нас, внуки.

— Ты трус. Боишься риска, боишься потерять даже малую часть того, что имеешь. А счастье ли это, синицу ли ты держишь в руках, за журавлем ли ты гонишься? Счастье ли это, когда изо дня в день одно и то же, одно и то же... Ты да я, ты да я, четыре стены да работа, работа. Вол ты, вол... Что тебе надо, зачем тебе я? Не без голоса, не безъязыка тебе бы родиться, и был бы ты счастливый и всем довольный. Ничего бы тебе не надо было...

Нет, ее слова не обидели и не оскорбили его. Они не смогли его переубедить, но и обидеть не смогли. Для него уже не было большей обиды и оскорбления, чем по¬нимание того, что он, сильный, могучий, в самой поре мужик, хочет иметь ребенка и не может позволить себе этого. Не может правдиво ответить даже самому себе, чего он больше добивается: чтобы Ольга согласилась с ним, с его словами или настояла на своем, не поверила ему. Любит он ее сейчас или ненавидит? О, если бы можно было иметь то дитя... Прости, прости меня, Ольга, если бы ты даже умерла при родах, и тогда можно было бы убежать хоть к черту в зубы от людей и растить то дитя одному, одному отвечать за все, взять все на себя: ответ перед людьми, перед сыном

его будущим, ответ перед сыновьями его, чтобы Ольга не изведала тех мук, той боли, что изведала его, Евмена, мать...

Не хотел он в ту минуту видеть Ольгу и очень боялся потерять ее, чувствовал, что уже теряет. Ольга плакала на кровати, а он отрешен¬но и неподвижно сидел на стуле, смотрел в окно. Там все так же густо летела паутина. Прошло лето, прошло обманчивое бабье лето — день-два тишины, солнца, покоя, и дожди, холода, а там и зима. Он хотел и не мог подойти, приблизиться к Ольге, утешить ее, потому что был расколот надвое.

Ощущение этой расколотости осталось в нем и после того, как он забрал Ольгу из больницы. Ничего в их жизни, на первый взгляд, не переменилось. Были все те же заботы о хлебе насущном, та же суета и то же безладье, неустроенность. Но все это не приносило уже, как раньше, ощущения жизни, семьи и счастья. Евмен, кажется ему, как и прежде, любил Ольгу, но трещина, что была до этой поры только в Евмене, пробежала и в отношениях между ними, разбросала их в разные стороны, отторгла друг от друга. Они не могли выдержать уединение, а выйти на люди не отваживались. Евмен больше не видел в Ольге печати той высшей мудрости, что одновременно пугала и притягивала его. Ночью они почти не спали. Ольга иной раз плакала, а он лежал с открытыми глазами и в темени, окутывающей комнату, не мог разглядеть ее лица. С ними по-прежнему жила еще одна пара молодоженов, невозмож¬но было зажечь свет и поговорить. Но как-то они остались на всю ночь одни. Та, другая пара на субботу и воскресенье поехала к родным в деревню. И можно было выговориться. Но разговор долго не налаживался. Они разучились понимать друг друга, словно между ними никогда ничего и не было, словно встретились они впервые.

— Съездил бы ты к своей матери в деревню, проведал ее,— пред-ложила Ольга.— Извелся весь.

— Ты прогоняешь, гонишь меня?

— Нет, Евмен, нет, я отпускаю тебя.

— Лучше бы сама взяла отпуск.

— А куда мне податься, куда ехать? Суди сам, матери нет, тетка прокляла. Детдом? Поезжай уж лучше ты. Я отпускаю тебя...

Евмен и сам понимал, что ему надо куда-нибудь исчезнуть, что долго они так не протянут, что сейчас, живя рядом, они только множат боль. Все это он понимал, но так и не осмелился уйти из общежития на глазах у Ольги, сбежал от нее, как вор, когда она была еще на работе. Сбежал, и с той минуты, кажется ему, как только ступил он за порог своей комнатушки, онемел, потерял голос весь белый свет, у всего живого вырвали язык. И он, немой, сам живет в онемевшем мире, не слышит голоса земли, голоса деревьев, не слы-

шит голоса своей груши. Слышат ли голос земли, голос деревьев, понимают ли язык птиц, зверей, рыб другие люди? Есть ли понимание между людьми и всем другим миром? Что если не только он один немой в этом мире, что если только старики, деды, его пра-пра-пра, те, что обсаживали грушами- дичками дороги, улицы, свои избы, понимали, зачем это они делают, понимали этот огромный мир, каждого, кто в нем живет. Ведь его дед или прадед посадил грушку, отец срубил ее, а он...

Евмен на коленях по влажной прелой земле ползет к комлю груши, обнимает ее, прижимается лицом. И груша отзывается на его тоску, вскидывается под легким ветром, шумит, лопочет листом и цветом. Дерево кажется Евмену живым, теплым, он сквозь кору чувствует струение соков в нем. От коры, цветов, молодого листа исходит, щекочет глаза, сжимает грудь запах того, что он отринул, пробовал отринуть. Ольга встает перед ним. Он еще крепче, обдирая кожу, прижимается лицом к дереву, к мягкому цепкому белому мху, космами наросшему на комле, прижимается так, что, кажется, сливается, срастается с грушкой. И постепенно Евмен забывает о своей боли, она отходит, отпускает сердце. Он вытягивается, дышит все спокой-нее, все ровнее. И засыпает. Но перед тем, как уснуть, в неуловимом, зыбко дрожащем промежутке, который всегда существует между сном и явью, Евмену кажется, что его нет на свете, есть только грушка-самосейка. Во сне он снова охотится за карпом, идет с удочкой на плече берегом канавы, что прорыта возле его деревни, идет по песку, белому и крупному, рассыпчатому. И неожиданно песок этот исчезает, исчезают лес, канава, деревня. Он в городе, в том самом большом городе, где осталась Ольга. Они стоят на тротуаре, тротуар изрыт, перекопан траншеей, чтобы идти дальше, траншею эту надо перепрыгнуть. Он перепрыгивает, но уже, кажется, не с Ольгой, а может быть, и с Ольгой. Тот человек рядом с ним, другой, в неком тумане, видит его Евмен тускло, знает только, что есть он рядом. И стоит с тем человеком на самом краешке траншеи, почему-то не на асфальте, а на кирпичах. Кирпичины шатаются, цемент еще не успел их схватить, связать, осыпается земля, и Евмен потихоньку сползает в траншею. Кто-то подсказывает Евмену, и Евмен знает это сам: ему надо сделать всего лишь один-единственный шаг, и снова он будет на устойчивой, не уходящей из-под ног земле. Евмен не решается на этот шаг, потому что он — не он, груша, а у груши ведь не бывает ног, груши ведь не могут шагать. Он видит свои ноги и не способен заставить их шагнуть, такая в них тяжесть, так глубоко они вросли в землю. Кто-то невидимый делает за него этот шаг. Евмен снова на тверди. Только твердь эта какая-то непрочная, ненадежная. И кирпичины уже не кирпичины — глина, торф. Он ступает по этой глине, торфу и снова проваливается. Ноги засасывает что-то липкое, густое. Но уже виден впереди асфальт, видна улица, зеленая, обсаженная Деревьями. По улице быстренько, словно жуки, ползают взад-вперед раскрашенные ма-

шины, тяжело продвигается троллейбус, за машинами, троллейбусами просматриваются многоэтажные дома, а меж этими домами и улицей вода, пруд, на берегу которого растет грушка, под грушкой выбрался из воды, разлегся, нежится карп, двигает губастым ртом, что-то пытается сказать ему, Евмену, Евмен поджимает ноги, чтобы ступить на асфальт, перебраться к карпу, и... просыпается. Долго лежит в неподвижности, бессмысленно хлопает глазами. Не¬доумевает, что за удивительный сон привиделся ему, гадает, с кем это шел он тем непрочным шатким тротуаром, что хотел сказать ему карп. Какой-то непонятный и, жалко, не до конца досмотренный сон. Но непонятность эта и оборванность недолго занимают его, он бодр и свеж, радостно постукивает ладонью по стволу груши, встает, выдирается из ветвей, из колючек на простор, не оглядываясь, шагает от груши к канаве. Его, его сегодня будет карп, вот тогда он и спросит у карпа, что же тот хотел ему сказать. Шагает быстро, ступает легко, но лицо у него застывшее, каменное, такое же, каким было в тот вечер, когда он впервые взял Ольгу за руку и вывел из общежития.

Подойдя к воде, Евмен не торопился разматывать леску. Как со-хатый, что при¬шел на водопой, притаился на некоторое время в кустах, трогал горбатым и чутким носом, втягивал в себя воздух, присматривался, слушал ногами, телом, что происходит вокруг. Где-то далеко, за прудами, возле складов ревели грузовики. Земля передавала ему их движение. Все утро возили к складам комбикорм, чтобы кормить карпов в прудах. Водителей этих грузовиков Евмен не боялся, остерегаться их, понятное дело, надо, а бояться... Чего бояться своих людей, таких же работяг, как он сам. Тянуло от прудов все тем же дымком и ухой, и запах водочки все так же вплетался в этот дымок. Легковушек, черных «Волг» сейчас он, правда, не видел. Их и нельзя было усмотреть с того места, где он стоял, «Волги» скрыты были от его глаз прошлогодними сухими и бурыми зарослями камыша. Но земля передавала ему звуки выстрелов, что гремели над этими зарослями. Охота на уток продолжалась. Время от времени земля вздрагивала и на Евмена вылетали по одной и парами, и стайками утки, испуганно тянули в лес, на болото. Он задирал голову до ломоты в затылке, до рези в глазах провожал их взглядом и радовался, что уткам повезло, вырвались из того пекла в зарослях камыша, улыбался вслед им, махал рукой, желал им счастья, чтобы они не только убереглись от смерти, но и умножились, вывели утят, научили их плавать, добывать корм, отлетели с ними по осени в теплые края, а весной не заплутали нигде, снова вернулись сюда, к нему. Злой осой загудела на дороге, что была проложена по дамбе на другом берегу канавы, машина. Это ехал проверять свои владения сам директор рыбхоза. Мотор его газика был специально поставлен так, чтобы не слышать гудения, работал легко, и ход у газика был лег¬ким, земля не выдавала присутствия машины. Директор рыбхоза, благодаря своему хитрому газику не раз и не два прихватывал деревенских мальчишек-удильщиков у

канавы, ломал их ореховые и лозовые удилишки, прихватывал он и Евмена. Может, и сегодня подловил бы его, но машину выдало солнце. Солнечный зайчик отбился от лобового стекла газика и выстрелил в глаза Евмену. Он мгновенно сообразил, что к чему, ссунулся с насыпи вниз, присел в кустах. Газик проехал. Евмен поднялся, радостно помахал ему вслед рукой, а газик, а был он как раз на повороте, ответил ему, притишил ход и трижды подмигнул красным глазом: знаю, мол, не проболтаюсь. Евмен засмеялся, появлению директора рыбхоза он был искренне рад: пусть погоняет рыбаков, отпугнет от канавы, все больше шансов, что тот карп достанется ему.

Слева, с той самой стороны, откуда нелегкая принесла директора, густо поплыл дымок. Евмен повернулся навстречу этому дыму, но в нем был только запах смолья, горящей ольхи, несло тиной от болота, которое сейчас заполнено паводковой водой. И Евмен догадался, что костер там не охотничий, его разожгли сторожа, чтобы не так тянулось время, не так грызла их мошка. Директор рыбхоза заставил сторожей охранять болото, считал, видимо, что карп, сбежавший с прудов, скорее всего, пойдет гулять в это паводковое болото. Но карп не дурачок, пусть сам директор забирается и гуляет в той грязи, тине, в том буреломе, а он будет бегать по чистой воде, в болоте же только лягушки да карасики с ноготок, да плотвицы-сухоребрицы, да маленькие прожорливые окушки — детская радость и утеха.

Припаривало. Надрывались, кричали на болоте и в прудах лягушки. Евмен не слышал их крика, но видел, как лягушки сбиваются в кучу, сидят одна на другой, тянут из воды сверкающе зеленые влажные головки и, словно беспрерывно глотают что-то, раздувают и раздувают резиновые горлышки. Приближалась гроза, и она была весьма кстати. В грозу карп снова подойдет к тому месту, где он бросил прикорм, в грозу он не такой пугливый, не такой осторожный, гроза возбуждает, выводит из равновесия и рыбу, так же как человека, как его, Евмена, выводит. Вот сейчас гроза где-то еще далеко, а все в нем уже дрожит, все натянуто, напряжено, он не принадлежит себе, кто-то невидимый и всесильный стоит над ним и повелевает, заставляет бежать, двигаться, что-то делать. И в руках и ногах такая сила, что, кажется, без натуги мог бы вырывать с корнями столетние дубы, и в то же время легкость в теле. Ступи сейчас в воду — заскользит по ней комаром-плавунцом. Его прямо-таки тянет туда, где он уже был, где у него уже брался карп. Евмен с трудом сдерживает себя: пока не пришла гроза, никуда он не пойдет, нечего дурочку пороть, лучше посидит тут, осмотрится.

Евмен разматывает и забрасывает удочку, маскирует, прячет, на-, сколько это можно, в кустах удилище, чтобы не нависало над водой, не лезло кому не надо в глаза, забирается сам в кусты, ложится на спину, закрывает шапкой лицо и придремы- вает самую малость. Может, уснул бы и по-настоящему, когда уже лег, гроза клонила его ко сну, но что-то мешало забыться, как будто

стоял в ногах кто-то, стегал прутиком по сапогам и приговаривал: не спи, не спи. Он перевернулся на живот, припал лицом к земле и почувствовал присутствие человека рядом. Пахло потом, одеколоном и сигаретами. Евмен выполз из своего лежбища и носом к носу столкнулся с соседом, деревенским учителем. Тот шел тоже на рыбалку, на карпа, об этом можно было судить по рюкзаку, что висел у него за спиной. В Евменовой деревне, кро¬ме сеток, в рюкзаках ничего и не носили. На учителе был резиновый химический костюм. Предназначался он людям, которые проводили всякие там опыления, протравливания. Но односельчане Евменовы смикитили, что химкостюм этот вполне может сгодиться и им, приспособили для своих рыбацких, а точнее, браконьерских нужд. Вот в таком модернизированном костюме, с перетянутыми натуго веревкой штанинами, с алюминиевыми кольцами на резиновых сапогах, чтобы в сапоги не проходила вода, и предстал перед Евменом учитель. Смутился от нечаянной встречи. Евмен, хотя и сам был браконьером, не очень одобрял все эти бредни, остроги, сети, кольца, костюмы, признавал только удочку. Учитель знал об этом. Они были в дружбе. Может, не столько в дружбе, сколько чувствовали тягу взаимную. Учитель уважал Евмена за верность удочке, за удачливость, а еще и за то, что Евмен его одного выделял среди учителей местной школы, первым здоровался с ним. Евмен знал всякую работу.

За что бы ни взялся, посмотреть любо-дорого. И человека, когда у него на душе муторно, когда ему надо выговориться, мог выслушать и почувствовать его настрое¬ние так, как не способен выслушать и понять иной со слухом и голосом. И, главное, никуда дальше не шла эта твоя исповедь. Что же касается Евмена, то его просто тянуло к учителю, к образованному человеку, который к тому же был еще и физиком, мог настроить любой телевизор, любил, так же как и он, Евмен, возиться с железом, не брезговал водить с Евменом дружбу.

— На рыбу?— заулыбался Евмен, показал, какая рыбина гуляет по канаве.

А учитель еще не мог избавиться от смущения.

— Нет, нет, Евмен,— отнекивался он,— Не в рыбе дело. Там учительницы, понимаешь, ну, эти...— учитель приставил руки к груди,— девочки молодые, пять их, пять, направили в прошлом году в нашу школу, пришли на канаву с удочками, поймали двух окушков маленьких, вот таких. Ведро воды, и уху варят... Помочь им надо, понимаешь...

Евмен поддакивал, кивал головой, он понимал, все понимал. У учителя четверо детей, а хозяйством обзаводиться в чужой деревне пришлому человеку не очень-то легко. И не только физик, но и все другие учителя пробавлялись рыбхозовскими карпами. Настоящим асом был среди них физкультурник, ему и принадлежал костюм, в который сейчас облачен физик.

— Не ходи на болото,— предупредил Евмен.—Там эти... ав-ав-ав,— Евмен передразнил Драймана.

Учитель втянул в себя дым, что курился над болотом, кивнул: понял, мол, понял. В нем уже не было ни растерянности, ни смущения. И учителю, и Евмену стало приятно, что они, как им было ни трудно, неловко, о чем-то договорились.

— Ну, что, может, выпьем по такому случаю? — учитель вытащил из рюкзака бутылку. Они отошли от канавы, сели за бугорком и попеременно осушили пря¬мо из горлышка бутылку «плодововыгодного». И снова кто-то шел берегом. Евмен с учителем подняли головы и приметили двух мальчишек, учеников, с остями на плечах. Мальчишки их не видели. Евмен посмотрел на учителя, видимо, ждал, что тот окликнет, предупредит об опасности, как только что сделал Евмен. Но учитель опустил голову, спрятал от Евмена глаза и молчал. Евмен замычал, сделал руки крестом. Мальчишки поняли его и, не интересуясь, с кем это там Евмен сидел и что они делали, по крайней мере, не выдавая своего интереса, усмотрели, видно-таки, учителя, потупившись, повернули и пошли назад. Евмен снова сел на землю и с осуждением посмотрел на физика. Тот быстро-быстро покусывал травинку и не от¬рывал глаз от земли. Евмен потянулся к бутылке, но она давно уже была пуста.

— Ммм,— покачал головою немой.

Что он хотел этим сказать, было неясно. Но учитель, видимо, сообразил. Быстренько бросил за спину рюкзак и, выдавив:

— Извини,— исчез в лесу.

Евмен остался один, и было ему неловко и тоскливо, вино не принесло веселья. Он подтянул к подбородку колени, сложил на них руки и затих. Голые руки его и лицо сразу же густо облепила мошка. Гроза была где-то уже рядом. И гнус, мошкара, комары из кожи лезли, грызли все живое. Нахрапом заползали в уши, глаза, нос. Евмен не обращал на них внимания, не дергался, не отгонял. Может, он спал с открытыми глазами, может, думал о чем-то потаенном, а может, его и не было сейчас здесь, на берегу, в центре Полесья, а находился он где-то в другом месте, может, и там, где била громами в вершины вековых дубов, слепила землю молниями гроза. В серой, выцветшей от дождей и солнца фуфайке, в выбеленной солнцем шапке с каплями застывшей на ней смолы-живицы, он сидед, как сидели в земле пни, что остались от сосен, которые были срублены давным-давно. Эти пни были также выбелены солнцем, промыты дождем, бурые и желтые от давних потеков смолы, и от той смолы, которая еще припрятана в них, притаилась, загустела, которую еще и сегодня в очень жаркие дни сочит дерево. Из-за кустов выбежала собака, уста¬вилась на него выпученными удивленными гдазами, закрутила, замотала хвостом. И, хотя собака стояла перед самым носом Евмена, он ничем

не показал, что видит или чувствует ее присутствие, был неподвижен, как и раньше. Собака качнулась к Евмену, доверчиво ткнулась в его руки лобастой головой, слизала с них мошкару и кровь. Евмен не пошевелился. Собака склонила свою голову к голове человека, словно прислушиваясь к нему, вызнавая, живой ли это человек и человек ли? Человек молчал и не шевелился. И собака не выдержала, отпрыгнула от него в сторону, оскалила пасть, вытянула к небу морду, взвизгнула и завыла, завыла с той же безысходностью, смертной тоской и отчаянием, сквозящими в молчании человека. Завыла и скачками понеслась по лесу.

На крючке Евмена сидела плотвица, ладная, с ладонь, но очень уж какая-то измученная, ободранная. Такой измученной была вся плотва сейчас, она только что отнерестилась и еще не пришла в себя от этой многотрудной работы. Евмен удивился, как плотвица, такая сухоребрица, отважилась подойти к его крючку-крюку, взвесил ее на руке и без сожалений бросил в воду. У плотвы, видимо, не было и силы для того, чтобы удирать. Она медленно, едва-едва пошевеливая плавником, поплыла по верху воды, скорее даже, не поплыла, ее понесло течением. Туча прикрыла солнце, отблеском вспыхнула на небе молния, грома же не было слышно, гроза приблизилась, но была еще далеко. Ветер уже стих, но птицы еще не торопились прятаться. Низко над водой проносились ласточки, спешили до дождя, до непогоды подхар- читься. Будь у Евмена слух, он бы оглох от того птичьего разноголосья, что висело сейчас над лесом. Ожили деревья и кусты, с каждой ветки кричало и пело что-то живое, приветствовало и весну, и май, и человека. Казалось, каждый листок имеет свой голос.

По дороге, по дамбе, ехали навстречу друг другу на велосипедах двое. Евмен присмотрелся и узнал рыбхозовских сторожей: Едрит-твою-налево и Едрит-твою-направо. Два друга, водой не разольешь, дружили с детства и с детства спорили, не могли договориться, в какую же сторону им идти. Не могли договориться даже в том случае, когда им выпадала одна дорога, к примеру, отсюда, от прудов, к конторе рыбхоза, в кассу за получкой. Евмен хотел сначала спрятаться от них, податься в лес, но передумал — ничего ему эти сторожа не сделают. Съедутся и станут переругиваться. Один скажет: «Едрит-твою, направо надо...» Второй же упрется, как бык: «Нет, едрит-твою, налево...» И забудут о нем, Евмене, браконьере, зло разминутся, разъедутся — один направо, второй налево. А дорога у них колесом, по кругу. И вскоре они снова встретятся и притворно удивятся: «Тю, едрит-твою, ты же налево...» «Тю и на тебя, едрит-твою, ты же направо...»

Сторожа съехались, спешились и — диво дивное — ссориться меж собой не стали. Они согласованно, как хорошо вымуштрованные солдаты-первогодки, выбросили вверх сжатые кулаки и погрозили Евмену. Тот только пожал плечами, посмотрел на дорогу, туда, где была центральная канава, и все

понял. Там, у центральной канавы, стоял зеленый газик директора рыбхоза, и возле газика суетились люди — ладони козырьками ко лбу и смотрели в его, Евменову, сторону. У одного из тех людей, скорее всего, у самого директора, в руках был бинокль. Евмен подхватил удочку и без лишних слов с глаз долой, в лес. Для видимости прошелся немного лесом и снова выбрался к канаве. Но только устроился, закинул удочку, как на другой стороне остановился газик, стукнула дверца, взрябила воду, побежала вглубь рыбья мелюзга. Евмен поднял голову, из кабины газика тяжело выдирался пожилой мужчина.

— Пре-кра-ти-те ловить рыбу!

Голоса и слов этих Евмен, конечно, не слышал. Но он хорошо знал директора рыбхоза. Знал, когда, кому и что тот может сказать. От возмущения, а может, и по какой-либо другой причине слов у директора рыбхоза всегда не хватало. Он выходил из себя, пыхтел и кипел, когда видел деревенского рыбака у канавы, но на словах был предупредительно вежлив: «Пре-кра-ти-те ло-вить ры-бу». Евмену, откровенно говоря, было жалко этого человека. На канавах, возле прудов он видел директора чаще, чем директор его. Директор с рассвета и до ночи не оставлял своего газика, канавы, прудов, словно был еще одним сверхштатным, но до невероятия работящим и въедливым сторожем. С утра и до вечера только и звучало над водой его: «Пре- кра-ти-те ло-вить ры-бу».

Директор еще не вылез из газика, а Евмен был уже далеко. Он не испугался директора. Что тот мог ему сделать? Евмен боялся за себя, боялся, что он заглянет в глаза директору и они окажутся такими, как и у Драймана. И ничто тогда уже не остановит его, Евмена, потому что не будет у него ни к кому уважения. А без этого ведь нельзя жить на свете, нельзя, чтобы не было в тебе никакого закона. Каждый ведь должен иметь свой закон, видеть всегда перед собой черту, которую нельзя преступать, потому что, преступив ее, ты отрекаешься сам от себя, от человеческого в себе.

Он снова прошел немного лесом и выбрался на чистое. И, как только оказался на этом чистом, все кругом нахмурилось, стало сумеречным, потянуло влагой. Солнце укрылось тучами, тучи укрыли лес и воду. Лес и вода зловеще притихли, онемели мгновенно птицы, а деревья в этой тиши словно подросли, стали выше. Не сжались, как должно было статься, в ожидании и преддверии нового грома, в преддверии, может быть, и смерти, что таилась для некоторых деревьев в громе и молнии, а распрямились, вольно раскинули ветви. В воздухе не ощущалось уже парного, нездорового, липкого тепла, воздух посвежел, стал ядреным до звона, исчез, зашился в траву, в кусты, втоптался в землю гнус. И без дождя еще, почти одновременно со вспышкой молнии прогремел первый гром. И родился ветер, такой ветрище, что загудело все, застонало, заходили ходуном земля, деревья и кусты, забурлила, заби-

лась о берег вода. И все это отозвалось и в Евмене, и в той сосне, под которой он стоял, опершись на ее медный литой ствол. Подхваченный вихрем, поднялся, полетел, закружил мусор — прошлогодний черный лист, пересохшие иглы хвои, веточки, пыль, песок. Из этой пыли, песка, отмерших ветвей и прошлогоднего листа ветер собрал и вырастил дерево. Удивительное дерево, которое росло вниз головой, в землю верхушкой, без корней, без ствола — только почерневшие, давным-давно отмершие ветви и листья. Дерево раскачивалось во все стороны и вверх, стремилось припасть вершиной к земле, уцепиться за землю и, остановись, наверно, укорениться, стать таким, как и все деревья. Но именно оттуда, куда оно метило верхушкой, и исходил ветер, там и рождался вихрь, дул в самую макушку дереву, не давал ему коснуться земли, раскручивал, вздымал в небо то, что когда-то принадлежало дереву. А по верхушкам живых деревьев уже бежал, пришепетывал в майской молодой листве легкий прозрачный дождь. Неслышно, будто на цыпочках, подкрался к вихрю и обрушился на него ливнем, втоптал, вбил в землю выращенное им сухое дерево, уничтожил и сам вихрь, залил его, успокоил, унял ветер.

Евмен отвалился от сосны. Приспела его минута, пробил его час. Он, не таясь, как хозяин, вышел к канаве и душою был там, где не так уже давно брался на его удочку карп. Но тут со стороны прудов, из прибрежных зарослей канавы высунул голову Драйман. Евмен от неожиданности и досады даже сплюнул себе под ноги. Делать было нечего, снова надо отводить сторожа от своего заповедного места, и Евмен опять, не таясь, не оглядываясь на шипящего что-то ему вслед Драймана, пошагал берегом. Отошел с полкилометра, остановился, размотал удочку и только ее забросил, возле поплавка бултыхнулась в воду коряга. На другой стороне канавы стояли, мокли под дождем нахохленные Едрит-твою-налево и Едрит-твою-направо. Евмен подивился, что это выгнало их из-под крыши в такую непогодь, сочувственно улыбнулся им, но те никак не ответили на его сочувствие. Искоса взглянули друг на друга, затопали, замахали зло руками. Иди, мол, отсюда, некогда нам с тобой зубы скалить.

И он пошел по дождю, по грязи, которую уже развез дождь. Сде-лал добрый крюк, прошел едва не всю канаву. Но, где бы он ни останавливался, где бы ни примеривался забросить удочку, тут как тут были, словно из-под земли вырастали, то ли Едрит-твою-налево, то ли Едрит-твою-направо, то ли Драйман, а то и сам директор рыбхоза. Грозили ему, крутили пальцем у висков. Евмен ничего не мог взять в толк, в такую ведь погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит... И ведь знают все уловистые, насиженные рыбацкие места, будто сам черт их наводит на эти места, на него, Евмена. «Да они же меня пасут,— понял он, когда уже во второй раз столкнулся с Драйманом,— Они же меня взяли в кольцо, зажали, обложили со всех сторон и пасут». Дождь стал уже тише, но не останавливался, вошел в силу и поливал,

поли¬вал, как и раньше, громыхали над лесом и прудами громы, вспарывали небо молнии. Евмен стоял возле груши, но не своей — самосейки. Груш этих, дичков-самосеек, здесь, по лесу, не счесть. Где в какую-то неотложную минуту приседали под кусти¬ками мальчишки, там вскоре пробивались и росли грушки. Та же, под которой сейчас стоял Евмен, клонилась к сосенке. И грушка, и сосенка, хотя и крепко сплелись меж собой, соперничали друг с другом густотой своих крон, не смогли спрятать Евмена от дождя. Дождь прошивал насквозь листья, цветы и иглы, прошивал насквозь и его. Но, несмотря на то, что Евмен до этого успел вымокнуть до нитки и сейчас его прошивало насквозь и было прохладно, он чувствовал жажду. А сосна и грушка, словно прознав что-то об этом его желании, дразнили, раскачивали, как на качелях, под самым носом на листьях, цвете и иглах прозрачные капли воды. Некоторые из этих капель, вдруг мелко задрожав, словно зайдясь от смеха, срывались и падали на лицо, на губы Евмену, щекотали лицо и губы. И Евмен не удержался, стал слизывать губами, языком капли дождевой воды с хвои, листьев, цветов. Он слизывал, глотал их и чувствовал, как отходит жажда, тело успокаивается, прибывает в нем силы и решимости. Никогда в жизни не пробовал он такой воды, из какой бы криницы ни брал ее, она не так утоляла жажду, как эта. И ничего на свете нельзя было придумать такого, с чем можно сравнить эту воду. Были в этих небесных каплях гром и майские горячие молнци, они не только охлаждали, но освещали, озаряли его белым смехом груши, искали и находили, вызывали ответную улыбку, пробуждали придавленную радость. Радость детства, счастливых снов, мощи, всесильности, сотканного из красок цветов счастья. Евмен напился, собрал с игл и цветов горсть воды и этой водой с плавающей в ней пыльцой, с серебряным налетом смолы охладил, вымыл лицо и, помолодевший, легкий, ловкий, бегом, галопом бросился от своего стойбища к канаве. Он знал, что надо делать, знал, как обманет, обведет вокруг пальца и сторожей, и директора рыбхоза, самого господа бога оставит на бобах. Гроза и цветочная майская вода придали ему дерзости, отваги, скорее всего, даже некой безрассудной удали, лихости. И план его был отчаянно дерзок и рисков, такой, что может родиться только в бесшабашной забубенной голове, когда уже действительно море по колено. Но Евмен ни на минуту не сомневался, что исполнит, осуществит его. Это обойдется ему, в лучшем случае, в двадцать пять рублей. Но что те двадцать пять рублей... Деньги — вода, есть и нету. Что из того, если и намнут ему бока доведенные до крайности сторожа. Зато ведь он поймает карпа. Такого карпа, какого еще никто в деревне не ловил.

Евмен, как был в одежде, в фуфайке, перешел канаву, вылез из воды, отряхнулся по-звериному, вскинувшись всем телом, осмотрелся. Кругом было пусто. То ли все же дождь загнал их в избы, под навес или они оторопели от его нахальства, так подумал Евмен и в открытую зашагал к прудам. К самому

дальнему из прудов, красть карпов в котором могло прийти в голову только последнему дураку. Но именно на этой кажущейся, очевидной глупости и держался весь план Евмена. Кто может подумать, что взрослый, умный человек среди бела дня пойдет вот так, в открытую на воровство, кто по своей доброй воле возьмет и выбросит ни за что деньги. И сам Евмен шел и смеялся над собой, смеялся и приближался к прудам. И ему нисколько не жаль было тех денег, которые вот сейчас выбросит. Ему нравилось быть безрассудным, глупым и глупо щедрым, быть мальчишкой, над которым и самому посмеяться можно, мальчишкой, который все так ловко придумал.

Драйман, правый и левый Едрит-твою и еще какие-то незнакомые люди устре¬мились к нему как только он подошел и остановился у пруда. Евмен, приветствуя, помахал удочкой, потом спокойно на их глазах забросил ее, подождал, пока они приблизятся, удостоверятся, что он действительно всерьез браконьерничает, ловит карпов, но еще ни одного не поймал, торба у него пустая. С двадцатью пятью рублями

Евмен уже распрощался, а лишних денег не хотел выкладывать — за каждую рыбину, пойманную в рыбхозных прудах, кроме основного штрафа надо было платить еще и по три рубля. И вот этих трех рублей уже по-настоящему стало жалко, глупо же вводить себя без надобности в пустые расходы. И, когда директор и сторожа были уже почти рядом, показал им пустую торбу, потряс и вывернул ее, дескать, пусто у меня, ничего я не поймал, и бросился наутек.

— Стой, едрит-твою-налево!

— Стой, еДрит-твою-направо!

— Пре-кра-ти-те ло-вить ры-бу!

Слова эти и возгласы били ему уже в спину, но он ничего не слышал и не способен был услышать. Он был счастлив, легок, знал, что карп уже его.

И карп не волынил, не заставил себя ждать. Только успел спуститься в запарив¬шую после недавней грозы воду осокоревый поплавок, как карп тут же клюнул, и не как-нибудь осторожно, боязливо, а жадно, смело, с той же решительностью и безрассудностью, с какими он, Евмен, только что влез в рыбхозовский пруд. Клюнул и сразу утопил поплавок, потянул удилище, потянул за собой Евмена. Тот был разочарован. Он думал, что борьба будет долгой и упорной, что карп будет хитрить, брать в рот, сосать и выплевывать комбикорм и он, Евмен, потешится, наблюдая, как ходит кругами рыба, трогает насадку, как подергивается и ложится набок и подни¬мается снова поплавок, зайдется не раз сердце, обомрет не раз он сам, вытаскивая из воды пустую удочку, будет посылать небу молитвы и проклятия водяному карпиному богу. И в конце концов, когда уже полной мерой изведает отчаяние и радость, горе и счастье, подсечет карпа и забудет про все на свете, забудет о

двадцати пяти рублях, что завтра или послезавтра придется выбросить ему, о своей немоте, забудет даже про Ольгу. Пустится в пляс на берегу, закачает карпа на руках, как ребенка. А все произошло до слез просто и жестоко.

Карп с первого же заброса заглотал насадку, заглотал свою смерть, покорно согласился умереть, спалил, обжег этим своим уми¬ранием, покорностью и обре¬ченностью человека, словно оба оци в одну минуту сговорились, осудили себя на смерть. Карп утащил человека в воду, на это у него еще хватило мощи, но дальше он начал сдавать, слабеть. Между ним и человеком все еще сохранялась видимость игры, но только очень уж простой, как перетягивание каната. И в этом перетягива¬нии победил человек. Карп стащил его с берега, с земли, заставил сделать два шага к себе, к воде. Только два шага. Но и в воде человек был все же на земле, чувствовал ногами землю и прочно стоял на ней, держался за нее. И вода не мешала ему, а помогала, была союзницей человека, он уперся в воду и землю и медленно, сантиметр за сантиметром повел карпа за собой из воды. Тот противился, бился, плескался, взбурливал воду плавниками и хвостом, а человек тащил и тащил его из канавы железной рукой. В нем в то мгновение все было железным — и тело, и мысль. Все было направлено к одному — победить, вытащить. Но в то же время в его железном негорючем теле пылал уже огонь. Огонь, выжигающий, испепеляющий все — сердце, жалость, сочувствие живому. И в ту минуту, когда борьба кончилась, когда карп, побежденный уже, отторгнутый от своей родной стихии, но все еще мощный, неукрощенный, оказался у ног человека, человек опустился на землю, сильный, вроде бы счастливый, но опустошенный, выгоревший дотла внутри. Карп посопротивлялся еще, подрыгал на песке и стих, судорожно задышал, обессиленно зачмокал огромными желтыми беспомощными губами. Евмен попытался поднять его, но на руки, на ноги ему брызнула золотистая ленточка икры, обвила руки, ноги. Евмен ополоснулся в канаве, намочил торбу, затолкал в нее карпа.

Дождь давно уже кончился. Гроза прогремела над деревней, над прудами, лесом и пошла дальше. Снова светило солнце. Снова в высоком небе кружили ласточки. Земля, казалось, потягивалась, она жадно пила, вбирала в себя свежую дождевую воду, запасалась до будущей грозы, до нового дождя, который бог знает будет когда, а еще ведь не все взошло, не все расцвело. Еще лежала в земле без всходов картошка, еще только готовилась выбросить цвет калина, еще даже на березе не во всю красу, не во всю силу развернулся лист. Не набрал еще зелени, не дал еще листа и глухой дуб, что растет в одиночестве, на отшибе и долго не верит пересмешнику маю, капризному и своевольному, у которого семь пятниц на дню, маю, который падок холодами на первоцвет, может, даже специально следит за всеми этими яблоньками и грушками, вишенками, привораживает, зачаровывает их солнцем, теплом, принуждает зацвести, а потом берет в белые обручи заморозков и губит во всей красе.

Евмен возвращался с рыбалки домой. Шел с прибытком, с уловом, с такой ры¬биной, какой до этого никому не удавалось поймать в его деревне, но ноги не очень несли его. Карп, правда, весил что надо, к тому же он был еще живой, а все живое, давно известно, куда тяжелее мертвого, неподвижного. Возле шлюзов, на перекрестке лесных стежек и дорог, он встретил Едрит-твою-налево. Сторож на велосипеде тоже возвращался домой. Евмен хорошо знал, что его рабочий день уже закончился, и не стал прятаться, не потрудился даже уступить дорогу. Стежка была узкой, и сторож вынужден был остановиться, спешиться. Остановился и Евмен: как бы там сегодня ни было, Едрит-твою-налево Евмену всегда был по душе. Ко всему же этот Едрит-твою-налево считался самым богатым в их деревне на детишек. И Евмен не только уважал его, но и завидовал. По какому, уж не помнит, делу или задelью он зашел в хату к сторожу. Хозяин вместе со своим выводком как раз завтракал, и в избе не нашлось свободного стула, чтобы усадить гостя, тесно было и за столом. «И это все твои?»— вытаращил глаза Евмен. «Много?» — обрадовался удивлению гостя хозяин. «Много»,— покачал головой Евмен. Хозяин вскочил с лавки, с улыбкой забегал вокруг стола. «Покажи, покажи, который лишний, сейчас же выброшу...»

Улыбка и сейчас была на его лице, но только грустная.

— Поймал все же, едрит-твою-налево, добился своего,— сказал с упреком сторож.— Ну немчура, ну немчура...

— Поймал, поймал,— обрадованно закивал головой Евмен, прищурил глаза от счастья.

— Дурак ты, ох, до чего же дурак. Завтра же принесут премию. Двадцать пять рублей уже выписали тебе...

Евмен в ответ все так же радостно покачивал головой, радостно ухмылялся.

— Что ж, нисколько не жалко двадцати пяти рублей? Детей у тебя нет, богато живешь, дурные гроши имеешь...

Евмен ухватил сторожа за полу фуфайки, подтянул к себе, перебросил со спины на грудь торбу, замычал: посмотри, мол, посмотри, какой карп, какая рыбина, что мне деньги. Сторож отбивался, рвался из рук Евмена, отталкивал его от себя, закрывал глаза, приговаривал:

— Что ты, что ты, человече, зачем? Не надо мне этого видеть. И не вижу я ничего. Ничего у тебя нету. Пустая, пустая торба...— А сам невольно то одним, то другим глазом заглядывал в торбу. И так же невольно цокал языком. Евмен отпустил сторожа, тот прыгнул на велосипед, обдал Евмена ветром, помчался по лесу. Отъехал метров на пятьдесят, остановился, обернулся и, не слезая с велосипеда, прокричал ему издали, в спину уже, сочувственно, с

болью:— Чуешь, немое дурило, не видел я ничего и на том стоять буду, ничего не знаю, не встречались мы с тобой. Драйман тебя возле хаты сторожит.

Слов этих Евмен, конечно, не слышал, и в голову ему не могло прийти, что кто-то подстерегает его в деревне, возле его же хаты. Но сразу после встречи с Едрит-твою-налево в деревню почему-то не пошел. Стежкой вышел из лесу на большую дорогу, на последний перед тем, как пойти избам, мостик, с которого вся деревня была перед ним как на ладони. За мостком там и сям еще стояли деревца, пробовали расти не только кусты лозы, ольхи, а и ясени, даже дубки, но, именно глядя на эти ясени и дубки, каждому сразу становилось понятно, что царство леса здесь кончилось. Кажется, никто и ничто не мешало расти деревьям возле села, а они почему-то не росли, кособочились, высыхали, хотя и земля была хорошая, и простора и влаги им хватало. Не росли. Сколько себя помнит Евмен, все вот такие кустики, кустики, ни богу свечка, ни черту кочерга. Ольха игрушечная какая-то, из года в год одна и та же и цвета одного и того же, все неизменно, как и избы среди песка, что видны от¬сюда. Неизменен испокон веков песок, неизменны избы. Одни закапываются в этот песок трухлявыми грибами, чернеют, другие разгребают его, моло¬дятся окнами, стенами, крышами, но в целом картина почти не меняется. И веселые избы среди грустных грустны. Выделяется, выбивается из этого одна только школа, двухэтажное здание из белых панелей и красного кирпича. Бетонными панелями и кирпичом были выложены и дорожки школьного двора, огороженного крашенным в зеленое забором. На школьном дворе не копошились куры, не перекапывали его свиньи, и он тоже был зеленым, веселым. Некий вызов исходил от этого веселого двора, школы, вызов тихим, опечаленным, хотя и в майском цвету садов избам, опечаленным и тихим далям и просторам, распахивающимся перед каждым, кто смотрел на дерев-ню отсюда, с мостка. А просторы и дали раскрывались такие, что даже у человека равнодушного и слепого на один глаз щемило сердце. Что-то извечное и непорушное открывалось каждому глазу, каждому сердцу в этих избах за их молчаливостью, молчаливостью садов, белой и розовой сирени, склонившей голову над заборами, за высоченными грушами-дичками, которые самой древностью, белым седым шаром висели над гумнами и журавлями колодцев; за той водой, которая начиналась сразу же за деревней, за последней избой, водой, которую полностью нельзя было охватить и глазом, потому что там, за горизонтом, где едва-едва угадывался лес, она была затянута маревом, дыханием иной, незнакомой жизни, дыханием незнакомых, новых краев, дымкой бесконечности жизни и земли.

Все правильно. Едрит-твою-налево не обманывал. Драйман ждал Евмена у его избы. До поздних сумерек, считай, до первых петухов сидел на завалинке, словно у него не было никаких дел, не было своей избы, детей, хозяйства, одна лишь забота — ждать Евмена. И он дождался его. Бросил в темень папи-

росу, высветил песок, молодую траву, поднялся навстречу. Сошлись они под окнами Евменовой хаты. Окна были незашторенными, и свет из них лился яркий и чуть желтоватый.

— Ну вот, я тебя и изловил,— начал было Драйман и тут же осекся, приметив, что торба, висевшая через плечо у Евмена, пуста и в руках ничего нет.— Где? Куда сбагрил? — закричал сиплым голосом Драйман. Евмен стоял, смотрел на разъяренное лицо сторожа, и в глазах его, обычно напряженных, были покой и мысль о чем- то далеком и приятном, никаким краем не касавшемся этой встречи. А Драйман обежал Евмена кругом, ощупал со всех сторон и хотел уже, видимо, уйти, но Евмен вдруг словно пробудился, не дал ему скрыться, сгреб в обе руки, притянул к себе, замычал что-то приветливое, загудел, как ветер, бывает, гудит теплой ночью в молодом саду.— Ты что, ты что?.. Чокнулся? Отпусти, не трогай меня, меня нельзя трогать,— запричитал Драйман.— Что я тебе плохого сделал? Это же ты, ты спалил мое сено...

Евмен уже молчал, но и не думал отпускать сторожа, тянул его к себе, как не очень давно тянул из воды карпа Только сторож не упрямился, раза два лишь робко попытался вырваться, выскользнуть из его рук, понял, что не вырвется, и покорно обмяк, сник. Они скрестили дыхание, обожгли друг друга — Евмен сторожа запахом перебродившего уже вина, вечернего леса, смолы-живицы, воды; сторож его — запахом табака, прелого комбикорма, волной страха и потерянности.

— Ну что тебе надо от меня? Выродок...

Евмен пытался поймать взгляд Драймана, пытался поймать его глаза, а тот говорил, бормотал, сипел, сыпал словами, будто закрывался ими, городил из этих слов забор между собой и Евменом:

— Жить ведь надо. Все хотят жить. Вот ты пень пнем, колода безъязыкая, а тоже ведь хочешь жить, считаешь поди, что живешь. А я человек, должность собачья, но порядок все же должен быть. Кому-то и брехать надо, распустился народ, распоясался, нету кнута, бизуна не хватает. Ни черта, ни бога не боятся. Не вечно, не вечно такое будет. Объездят и тебя, бугай. Ишь, руки какие, шею какую наел, ничего, объездят, покажут, где раки зимуют, прижмут, возьмут в шоры, шелковеньким станешь. Придет, придет время, взнуздают. Распустились, только языком ляпать да водку глушить, да красть. Ум короткий... Ничего, ничего, поставят, вкрутят мозги на место, отвернут голову, новую пристроят, шелковеньким будешь, ходить по одной дощечке будешь.

Драйман выговорился. Но он так и не дал Евмену заглянуть себе в глаза. Замолчал, откинул назад голову. Евмен его уже не держал, отпустил и руку опустил, а сам как застыл. Что-то опять накатило на него. Драйман осторожно раскрыл один пугливый глаз, но увидел только луну на небе. Ему, видимо,

не верилось, что он так легко отделался. Он долго стоял возле неподвижного Евмена, потом бросился бежать.

В избе его уже давно ждали, на стол выставлена была бутылка водки. К Евмену еще на пороге бросился средний брат, ощупал торбу и недоуменно заморгал.

— По всему селу плетки плетут,— объяснила мать.— Ты карпа будто поймал, три пуда... Где же твоя рыбина, где он, карп?

— Либа, либа,— полз из-под стола к Евмену младший брат, бил в ладоши, пускал пузыри. Евмен усмехнулся, закивал радостно, подхватил его на руки, подбросил к потолку. И брат засмеялся, загудел. Евмен бережно и ласково пощекотал ему колючим подбородком щеки и лоб, поцеловал и опустил на пол, достал из торбы маленького окушка, дал в руки. — Либа, либа,— обрадовался брат.

— Это все? — снова спросила мать.— Это те три пуда?

Евмен молча снял торбу, бросил ее в угол, прошел к столу и налил себе стакан водки. Выпил не закусывая. Так же молча, но с недоверием и ожиданием посматривая на Евмена, налил водки и выпил средний брат. Мать поставила на стол тарелку с прошлогодними солеными огурцами и сама села меж сынов. Все трое сидели на лавке и молчали. И молчание это никого из них не угнетало. Хотя и был в избе четвертый человек, сидел сейчас на полу, гудел сам себе, хотя и мать могла слово сказать, все они привычны были к молчанию. Мать уже давно свыклась с тем, что изба ее немая. И при двух старших сынах не очень отличала младшего, чтобы не обидеть Рыгора с Евменом, чтобы, бога ради, не прогневить того, кто в конце кон¬цов все же смилостивился над ней, дал ей это дитя, радость и утеху. Сдерживала, глубоко прятала свое счастье, чтобы не спугнуть: еще ведь никто не знает, каким вырастет это дитя, что суждено ему в жизни, что дано ему сделать, кем быть. Но она уже и сегодня счастлива. Матери для счастья ведь немного надо — только б видеть свое дитя здоровым. А растет оно здоровым, никакая хвороба его еще не касалась. Жаль только, что муж-покойник, царство ему небесное, не слышал его голоса — не выдержало сердце, не дождалось, разорвалось. А стоит ли так рвать себя, какие ведь ни есть дети, всех жалко... Если та девка с головой, все будет хорошо. Она уже ответила ей, отписала все, чтобы не мучилась, не рвала себе и ему сердце, а ехала сюда. Поговорят с ней обо всем — женщина женщину всегда поймет. И она спо-койна за Евмена. А вот средний... Когда нет поблизости Евмена, выпьет украдкой, возьмет себе в голову что-то свое, немое, затоскует и, бессильный высказать, выплеснуть из себя это, ругает мать: зачем, мол, рожала меня, зачем на свет пустила таким...

Зачем, зачем, если бы она знала-ведала. Разве об этом думаешь, когда живешь, любишь, а главное, надеешься. Разве способен кто на земле прожить

жизнь и не укрепиться, не пустить корня, не дать поросли. Буслиху, которая за лето не вывела птенцов, буслы не берут с собой в теплые края, заклевывают. А она ведь не буслиха, не птица, человек она. Но что она могла народить после всего выпавшего на ее долю, после всего того, как три года ее расстреливали, жгли, выжгли все нутро. Как выжила, и сама не знает. За хатой под той срубленной сейчас грушей ее трижды расстреливал полициант. Поставил у грушки, прицелился, щелк курком, а выстрела нет. Но она и без того выстрела обмерла вся. А полициант ляп-ляп затвором, и снова только щелк... Минула тогда ее смерть, но отнялся язык, три года она молчала, хоть и кончилась уже война. И только когда Силку после фронта снова встретила, заговорила. А до той встречи сколько отгоревала на сплаве, как немо отголосила, отку- ковала кукушкой свою молодость среди мужиков, перетаскала, перекатала сколько колод, лесом грузила баржи, гоняла плоты по реке. И сейчас работает с сыновьями в лесу, подальше от людей, собирает смолу-живицу. Трудно, только птицы да зверье рядом, но никто не бросит слова злого в спину, никто не попрекнет, никто, кроме самой себя И есть у нее все же радость, есть утеха, ползает по полу, веселит сердце.

— Где же твой карп? — снова подступил к Евмену, залопотал, заразмахивал руками Рыгор. Евмен поднялся со скамейки и шагнул за порог. Плавает его карп, живет. Может быть, этой лунной теплой ночью пошел уже на нерест и дает жизнь новым карпикам. Отпустил его Евмен, не выдержал. Как лупанул ему карп на мостике по ребрам, как встрепенулся в торбе, дыхание перехватило, задышка пошла. Вытряс, зараза, выбил дух из него карп. Лупанул так, что даже возле пупа заболело. Заболело, застонало и отлегло что-то от сердца.

«Это сколько же он без воды, а все еще живой,— удивился Евмен.— Сколько же в нем жизни, как хочет он жить». И в торбе, в темнице, в неволе, за плечами у самой смерти бьется, сеет жизнь, мечет икру, делает все, чтобы вместе с ним не исчезло, не уничтожилось оно. Нет, поперек горла станет ему та еда. И Евмен бегом понес карпа к озеру. Не в пруд, не в канаву, не в бочажину, которые ближе были, в озеро, питающее водой канавы и пруды. И как он бежал к тому озеру, никогда в жизни так не бегал, словно на пожар, словно горела его хата. Запыхался, упал на берегу, бросил карпа в воду вместе с торбой и едва успел выхватить из воды эту торбу. Карп сначала нырнул, пошел на дно, спрятался в глуби, но вскоре вынырнул, будто вода его не приняла. Стоял возле Евмена, дышал трудно, сопел, будто человек, вздымались и опадали его толстые бока. И человек лежал и сопел, будто тот же карп, серой глыбой вздымалось и опадало на берег его тело. Евмен подполз в воде к карпу, ласково почесал ему спину, пощекотал задубевший желтый пятак носа. Карп вскинулся, фыркнул, но не отплывал, будто ждал чего-то.

— Иди,— сказал Евмен.— Плыви. Мы же еще встретимся с тобой? Я знаю, встретимся. Плыви. Я сам найду тебя. Пошел.

И карп пошел, отплыл на два-три метра от берега, весело ударил хвостом, будто пробовал новую воду, пробовал свою силу в ней, сломал воду и исчез. Евмен же просидел у озера до вторых петухов, все ждал: вот-вот выйдет его карп, выплывет с благодарностью и что-то случится, что-то произойдет такое, чего еще никогда на свете не происходило. Но карп не появился больше и ничего такого не случилось. Прыгала по воде мелочь, выскакивала из воды, загоралась золотом в лунном свете и гасла, остужалась, снова пряталась в воде, Припадали к влажному распаренному телу комары и мошки, в воде и на небе светили звезды, по небу и воде плыла луна.

Евмен поднял голову к посмотрел на небо, на звезды, на луну. И снова ожидание чего-то необычного охватило его. Что-то доброе, чистое выспевало под этими молодыми майскими звездами. Чего-то ждали тоскующие в ночи избы, молчаливо уставившиеся в небо журавли у колодцев. Что-то должно было случиться. Остро пахло весенней цветенью садов, цветенью груш. Запахи эти наплывали волнами, словно кто-то шел к нему, был уже совсем близко, давал знать о себе.

Содержание